

С.С. Лихачев



Сергей Лихачев. Самара

Сергей Лихачев

НАПЕРЕГОНКИ СО СМЕРТЬЮ

РОМАН

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ,
ПЕРЕРАБОТАННОЕ

Самара · 2021

ББК 84 (2Рос-Рус) 6
Л65

Лихачев, С.С.

Л65 Наперегонки со смертью. – Самара: ООО «Принт-ру», 2021. – 256 с.

ISBN 978-5-6044418-7-9

Бывший детдомовец, а ныне хирург Иван Ямщиков организовал в Самаре частный Центр реанимации. В нём команда молодых врачей и учёных создала уникальный и очень эффективный способ выведения «безнадёжного» больного из состояния комы: мозг больного возбуждали зрительными образами, отражающими главные приоритеты в его жизни. Трудность заключалась в том, чтобы успеть за одни сутки, а лучше за часы, выяснить эти жизненные приоритеты больного, снять по ним фильм и полученную – чрезвычайно эмоциональную – «картинку» трансформировать в электрохимические сигналы и доставить последние в мозг больного. Для этого следует привлечь к процессу реанимации многих специалистов немедицинских профессий, привлечь родных, друзей и знакомых больного, нужно действовать сообща и очень жёстко, переступая через принятые в обществе нормы поведения.

Автор относит роман к литературному направлению «Новый русский модерн» (<http://newrussianart.wordpress.com>).

ISBN 978-5-6044418-7-9

ББК 84 (2Рос-Рус) 6

© С.С. Лихачев, 2021

Содержание

Глава 1	Неоконченный морфопортрет	6
Глава 2	Русский Линней	15
Глава 3	На лихом коне	25
Глава 4	Крыса.....	30
Глава 5	Алхимик	47
Глава 6	Отрывать от земли.....	62
Глава 7	Крейсер «Варяг»	70
Глава 8	«Предатели!».....	84
Глава 9	Панина.....	108
Глава 10	Загадочность русской души.....	125
Глава 11	Кеша Полонский	132
Глава 12	Коллективный врач.....	160
Глава 13	Приоритеты.....	187
Глава 14	«Мы с тобой одной крови»	206
Глава 15	Наложилось.....	225
Глава 16	Четыре в одной.....	246

Глава 1

Неоконченный морфопортрет

В занятой под кабинет гостиной комнате, в направленной полосе света от настольной лампы, опущенной на голый, выложенный крупной ёлочкой дубовый паркетный пол, на застеленном простынями диване лежал полураздетый крепкого сложения мужчина лет сорока. Он уставился на корешки томов академического собрания сочинений Пушкина за стеклянными дверцами громоздкого книжного шкафа и в телефонную трубку нарочито методичным и почти суровым тоном говорил:

— Правильно вам объяснили: нет вдохновения — к больному не подойдём. Не понимаете вы, девушка, чего просите... Сегодня в семнадцать часов бригада решила отдыхать трое суток, то есть новых больных не принимать. Дело не во мне... Какое тут вдохновение! Сегодня у нас больной... с летальным исходом. Вам повторить? С ле-галь-ным! Мне, девушка, через смерть этого больного переступить ещё надо — понимаете, о чём я? Чтобы не оборачиваться, прежде чем пуститься в новый забег... Нет, девушка, категорически нет: брать сегодня нового больного — ужасный риск для него! Бригада реаниматоров выдохлась, нужно остановиться, передохнуть — всем, включая меня. Я... Да, я пока что «неужели тот самый-растотсамый» Иван Николаевич Ямщиков, и всё же... Конечно вы не понимаете, поэтому просто доверьтесь спецу. Мы не в состоянии сегодня работать с должной отдачей — кончился заряд вдохновения... Ваши чувства мне более чем понятны и, сам не знаю, даже, может, по-особому близки... Простите, я должен прекратить этот разговор... Нет, заклинаю вас, не приезжайте...

Ямщиков опустил трубку, поставил аппарат на пол, рядом с большим жостовским подносом, на котором разноцветной пирамидкой громоздились бутылки с вином и соком, пузатенький графин из хрусталя, стакан и фужер. Он сел, опустив ноги на пол, ровно, строго, упёрши в стёртый паркет невидящий взгляд, и на минуту забылся.

— Невинность и отчаянье в голосе... — заговорил он, наконец, сам с собой медленно и глухо. — Пронзительное какое сочетание... Неслышанный тембр... Драма. Интонация, окраска звука... Козловский в роли юродивого: «Мальчишки отняли копеечку... Вели-ка их зарезать... Нельзя молиться за царя Ирода...» Кризис, явный кризис... — Ямщиков прикрыл глаза и покачал головой. — И братец её по нашей, кажется, части: черепно-мозговая... шесть суток без сознания... а утром сегодня — ухудшение... Летит девочка меня вдохновлять...

Ямщиков мыкнул и вновь отрешённо покачал головой. Он откинулся на спинку дивана и, уже нахмурившись, обернулся к полоске окна между шторами, напротив форточки. Стёкла в деревянных старых рамах будто раскачивались и мигали — в жёлтых бликах от шатающихся уличных фонарей. Порывы ветра с дождём остервенело и ритмично нахлёстывали в жалобно дребезжавшее окно. Шумели ветками и скрипели на улице деревья. Гудели в разной тональности две арки в доме напротив. Сорвалась с железной крыши ледяная глыба, пронеслась с низким свистом мимо окна, громяхая градом осколков от сосулк о поручни на балконах, сшибая не убранные на зиму корытца для цветов, и с грузным выдохом ухнула где-то внизу. Визг собачьей ссоры раздался было — и как оборвало. Шипели скатами по мокрому асфальту редкие машины. Загромыхал с привзвизгами, трогаясь и буксуя на подъёме, старенький трамвай...

В этот миг в дверь настойчиво позвонили.

Через минуту в комнате горел верхний свет, Ямщиков, одетый в домашнее, сидел за столом у включённого монитора. Когда вошла высокая девушка в очень открытом и как-то чересчур облегающем шёлковом платье ярко-малинового цвета, он поднялся навстречу, но не подошёл, а только буркнул госте: «Вечер добрый». В ответ девушка, потрясённая видом бутылок, мятой подушки лишь бессознательно закивала. С детским ужасом на лице, она неотрывно следила за Ямщиковым. Тот выбрал из стеклянной пирамиды графинчик с водочной

этикеткой, налил до краёв вместительный фужер и, пробормотав: «Ваше здоровье», с отвращением на лице выпил до дна, содрогнулся, а затем откинулся расслабленно на спинку дивана.

— Слушаю вас, — сказал Ямщиков глухо и как бы с досадою. — Вы, надеюсь, ворвались ко мне почти ночью не для повторения нашего телефонного разговора?

— Простите, что ворвалась... — залепетала девушка. — Я совсем не так вас... всё представляла... Я... но я... в вашей книге... — бормотала девушка, едва сдерживаясь, чтобы не зарыдать, и умоляюще глядя на Ямщикова.

Но тот исподлобья, осоловело, уставился на её живот и молчал.

Наконец, лицо её преобразилось. Уже и следа растерянности не осталось на нём, и только изломанные отчаянием брови ещё какие-то мгновения боролись с губами, которых наперекос то разжимало, то складывало едва сдерживаемое отвращение; но вот отчаяние взяло верх, и девушка со сжатыми кулаками шагнула к дивану, нарочно притопнув на гору бутылок, и почти склонилась над Ямщиковым:

— Спасти его можете только вы! А вы!.. вы!.. Надо температуру сбивать, а не водку пить, когда человек умирает! Как вам не стыдно!

— Я не халтурщик: свой профессиональный долг тщусь выполнять, — едва разжав губы, произнёс Ямщиков.

— Почему вы говорите со мною так? Чего вы хотите? Мне что — перед вами раздеться?! — вскричала девушка вне себя, пятясь в испуге от собственных слов.

Ямщиков пожал плечами и сделал неопределённый жест рукой.

— Живодёры! — уже совсем не сдерживаясь, выкрикнула девушка. Она ещё отступила, завела руки за спину и рывком растегнула молнию на платье. — Все врачи — живодёры! Правильно она мне сказала... Ваня лежит там... зелёный весь... трубки торчат, я видела, а вы здесь... — она, в остервенении, стаскивала платье через голову, но где-то зацепилось, трещало, и она не могла сдёрнуть его с плеч и поднятых рук и долго так, стоя на месте, ломалась всем телом, — а вы издеваетесь, живодёры!..

— Вам помочь?

— Платье не моё: у подруги оделась! — Девушка пыталась уже просто как-нибудь вырваться из своего платья, но оно

вдруг громко треснуло, девушка на мгновение замерла, а затем одним длинным и сильным движением надела его вновь. — Всё равно не уйду! — крикнула она, крепясь из последних сил. — А все врачи — пьянчуги и потаскуны! — неожиданно добавила она страстно-убеждённым тоном.

Ямщиков вздрогнул и испытующе поглядел в глаза девушки.

— Ой! — вскрикнула та в детском испуге. Она молитвенно сложила руки на груди и замотала головою. — Это не я, не я! Это подруга, честно, она так сказала, когда платье своё — это — советовала надеть, а оно мне малó. Это не я! — Девушка заплакала навзрыд. — Она сказала... сказала... он не старый ещё... действовать по обстановке... тогда не откажет... Ой, мамочка родная...

— Такого голотипа в нашем музее ещё нет. Надо бы описать.

— Я не вещь, чтобы меня описывать... — сквозь рыдания прошептала девушка. — И не голый тип...

— Мы собираем в музей человека интересные образы, важные для нашей работы образы... Опишу!

— Ах! — опять по-детски вскрикнула девушка, подавшись назад и ещё сильнее прижав руки к груди, когда Ямщиков резко встал и шатнулся к ней.

Она густо покраснела, вся как-то сжалась, перестав даже всхлипывать, и уже с настоящим страхом встретила воспалённый и тяжёлый взгляд Ямщикова. Он обхватил крепко её запястья, развёл ей руки, положил их на бёдра. Девушка сомкнула веки и губы, замерла. Ямщиков отступил и некоторое время молча смотрел на её фигуру. Потом, как бы через силу, с болью в голосе, заговорил:

— Её образ подобен ягоде-ежевике: восково-голубой, налитой ярко-рубиновым густым соком — и сладким, и кислым одновременно. Она молода, ей восемнадцать лет, и всё её тело дышит и светится заповедностью. Она высока, ладно сложена, развита, гибка, эластична. Пропорции её тела гармоничного типа — среднего по длине ног и ширине плеч. Ансамбль антропометрических точек сложен изящно и звучит изысканно. Козелковая точка на скуле лица в редкой по красоте пропорции с остальными лицевыми. Сосковая точка груди ещё не пала. Высота у талии, ягодичная точка... — в чудной гармонии. Всё её тело пружинисто, с хищно-подвижными частями — есть чем козырнуть в игре, где ставкой — мужчина осязающий. Её дамская тривизитка классична для славянок её роста: сто десять

— семьдесят — сто десять. Поэт, однажды увидев, станет её поэтом... Идеальный образец торжества эволюционных основ в устройстве любовного мира: поэты-мужчины воспевают почти исключительно таких, как она, мегалозомок субатлетического типа, наиболее пригодных для эротики и материнства, а мириады женщин иных типов конституции жизнь проживут и сгинут без своего поэта...

— А мне посвящали стихи, честно, — прошептала вдруг девушка, открыв широко глаза. — Не прикольные — лирические, признания в любви, вот так!..

Она смолкла, когда Ямщиков придвинулся к ней вплотную. Он обхватил её шею обеими руками и с таким видом, словно ему неприятно и больно, стал разглядывать лицо, волосы, шею.

— Её обильные волосы, — заговорил он, — зачёсаны вверх и собраны тяжёлой пирамидой. Волос средней толщины, тёмно-каштановый, вьётся. Здоровый блеск её волос унизит любую женщину, какая решится вглядываться в них.

— Мне всегда мамочка голову моет, — едва слышно прошептала девушка.

— Её шея обычно заботливо открыта. Ещё бы! Не терять же всей фигуре на виде сзади, где удлинённая шея берёт верхние ноты в восточном трио с лировидным задом и щиколотками ног...

Ямщиков поморщился, как от боли, взглянул на полки книжного шкафа и пробормотал: «Виде сзади задом... — Александр Сергеевич отдыхает...»

Он закрыл глаза и замер, беззвучно шевеля губами, потом со вдохом, как бы собираясь с волей, напрягся всем телом и сжал при этом непроизвольно пальцы на шее девушки; та отшатнулась, вцепилась в его руки и захрипела: «Больно... Мамочка родная...», а он, расслабив немного хватку, смотрел в её искаженное страхом лицо и слушал её прерывистый шёпот: «Ой, не надо... мамочка... не надо...» Затем он разжал пальцы и стал водить ими по её лбу и щекам, вокруг глаз. Девушка опустила руки и содрогалась всем телом.

— Скуловые кости её изящно гнуты и не широко расставлены. Лобная кость не широка, назад не скошена, а с плавной выпуклостью в срединной части, и потому лоб её высок и блистателен и придаёт всему лицу необычайно притягательную ясность. Челюсти её профилированы слабо, их рельефы ловко сокрыты мышцами и успокоены подкожным жиром. Прикус

зубного ряда щипцеобразный, отсюда полная сомкнутость губ и слабая волнистость щели. Вся костная архитектура её головы вкупе с небольшою впалостью щёк, чуть опущенными уголками глаз и узким носом придают лицу её устоявшуюся благородную форму...

— Да-да, я очень хорошая, честно! — горячо зашептала девушка. — Я слежу за собой, не надо меня обижать!

— Её глаза... — Ямщиков взял девушку за подбородок и приподнял её лицо; она смотрела против света, широко раскрыв глаза и стараясь не моргнуть, — нет, сейчас я могу видеть только радужку — цвет глаз сродни зеленовато-пятнистым кочкам верхового болота. Разрез её глаз родовой славянский. Такие глаза должны влажно, призывно блестеть на солнце и заманчиво мерцать при ночной летней луне: да, пожалуй, ночью на берегу воложки можно ожидать своеобразно манящее мерцание расширенных зрачков в отраженье полной луны от чёрной глади... Но объективно, глаза... — главное в образе... — объективно, нет, нужно ещё поработать: пусть мой образ останется пока непрозревшим... Её бровь как бы свита канатиком — тонкая, плотная, выпуклая — и узорной дугою скорбно приподнята в срединной части «мышцей боли и страдания» — первой прислужницей женского глаза в кокетстве. Нос её прям, высок, невелик, с неглубоким корнем, а ноздри по форме повторяют ушную раковину. Рот большой, узорный, откровенный и чувственный. Губы вызывающе яркие, естественно припухлы, спокойно завернуты, гладки и упруги. Ушная раковина маленькая и мочка удлинена, а это значит: образ мой не остроумен, зато глубоко мудр. Всё лицо её на редкость среднее для славянок...

— Среднее? — встрепенулась девушка. — Как хотите, конечно, но я самая красивая девочка в школе — все говорят!

— Естественный отбор любит средних: чем средней, тем, значит, краше. Все тянутся к среднему: высокие сутулятся, коротышки встают на каблуки. Цилиндр её шеи плавно изогнут, он высок и гибок и весь в налившихся синяках от моих пожатий. Кожа на шее, на плечах и груди тонка, бархатиста, подвижна, поры не забиты прокисшим кремом, дышат свободно. Пушкин волос едва приметен. Её руки плетистой формы, пальцы конические. Меднокрашенные ногти упакованы в опрятные кожные валики и выглядят наподобие обоймы пистолетных пуль, отлитых вручную старым оружейным мастером.

На безымянном пальце колечко. — Ямщиков снял кольцо, примерил на свой мизинец, вернул на место. — Кожные гребешки на подушечках концевых фаланг пальцев типа истинного завитка с двумя дельтами, и завиток весьма недурён — с таким неожиданным лабиринтом в центральном кармане! Позвоночная канавка её спины с мягкой влажной глубиной, и из любой её точки зримо исходят вниз веера прекрасных чистых линий и рисуют точёные лировидные бёдра. Её спина меж лопатками мучительно глубока, а глубина талии... — Ямщиков приставил ребро расправленной ладони к позвоночнику на талии девушки, — в полную ширину моей ладони! Хватит пока...

Ямщиков с силой развёл её руки и, не выпуская их, долго смотрел на дрожащее в испуге лицо, — и тогда воспалённый взгляд его помаленьку стал просветляться. Наконец он улыбнулся, отпустил руки девушки и быстро вышел из комнаты. Через пару минут вернулся, уселся перед монитором и, застёгивая на горле рубашку, заговорил:

— Здесь Ямщиков! Так, вижу, Кусков согласился меня заменить... Данные на больного... Саблин Иван Сергеевич... Двадцать пять лет... Диагноз: черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга в тяжёлой степени...

— Вы же пили водку, — со страхом полусказала-полуспросила девушка.

— В графине вода. Пил вино. Субарахноидальное кровоизлияние... Ушиб правой половины грудной клетки... Пневмогемоторакс справа... Шоковое лёгкое...

— Я сегодня нашла в интернете вашу книгу, умные люди посоветовали, — зашептала девушка. — Мало чего поняла, зато поверила. Вы — гений! Я в вас верю!

— Подкапсульный разрыв печени... Гематома в области поджелудочной железы... Разрыв брыжейки...

— Это хорошо, что вода. Я поняла: вы хотели меня испытать — достойна ли я ваших трудов.

— Операция: лапаротомия... Ушивание разрыва брыжейки кишок... Лечащий врач Котов, нейрохирург высшей категории... Так!

— Я тоже умная, вы не думайте! В пятом классе мотоцикл на перекрёстке сбил, ударилась головой об асфальт, но прошло.

— Ямщик! — на мониторе возникло мужское лицо.

— Привет, Волчок. Как смог так быстро получить диагноз?

— Коньяк, как обычно.

— Больной подходит нам по всем допускам?

— По всем. Я говорил с Котовым, он мой однокурсник: больной, по-хорошему, не транспортабелен, но нам отдадут на обычных условиях — под расписку родителей при нотариусе.

— Показание на трепанацию?

— Показания нет.

— Гематома мозга?

— Гематомы нет.

— Отёк мозга?

— Незначительный.

— Брюшина?

— Пока жизнеспособна, но ты знаешь брюшину...

— Значит, шокое лёгкое?

— Да, правое разбито в лохмоты, левое — ещё худо-бедно, воспалено. На аппарате пятые сутки, с небольшими перерывами. Но не только острый живот и лёгкое, Ямщик. Котов, по дружбе, вообще не советует нам братья.

— Как не советует братья? — Девушка подошла к спине Ямщикова. — Почему?!

— Ваш больной, девушка, физически истощён, в чём только душа держится, — продолжил Волчков, — таким поступил. Кот считает: запросто можем потерять больного ещё до начала основных процедур. А финансовая сторона решена?

Ямщиков поморщился как от боли и обернулся к девушке. Она затравленно, не мигая, смотрела ему в глаза.

— Так что ты решаешь, Ямщик? — настаивал Волчков.

— Больного берём — в нас верят... — глухо сказал Ямщиков, в упор глядя на девушку. — Собирай бригаду. Сам я не в состоянии сегодня... Хирургию начнёт Кусков, я буду ассистировать или кого-нибудь заменю.

— А мотив, мотив? Решили же передохнуть!

— Нужно мне лично! Скажи ребятам: поднимем больного Саблина — делаю предложение и, не отвергнут, женюсь. Раз в полжизни могу я бригаду для себя попросить?!

— Спокуха, Ямщик! Если для тебя, я «за»! Должен людей собрать: на улице — сущий ад, все залегли по норам — отсыпаться. Главное, чтобы «отдельные товарищи» не напились. А в графу «больная» вписывать какое имя?

— Не знаю пока...

— Ого, как у нас всё стремительно — зауважал! А нам гадай: с вершин интернета упала бездыханной к твоим ногам таинственная особа со шлейфом сплошь роковых и неоконченных романов? Или прелестнейший ягнёночек, пушистый, с большущими карими глазами и белым пятнышком на лбу, в непогоду от родителей отстал, к твоему загону прибился и жалобно блеет? Или гастарбайтершу, из протеста и вековой жалости русских к униженным и оскорблённым, подобрал ты у дорожной корчмы, но ещё не отмыл, чтобы по татуировке на землистой отмороженной ягодице подлинное имя прочесть? Впрочем, чего это я! Ягнёночек, конечно же, ягнёнок: знаем характерец-то!

— Знаете! Сегодня, Волчок, должно быть нам везенье! Как же мне прикажете вас звать?..

Ямщиков обернулся было к девушке, но взгляд его по пути застрял на корешках книг.

— Вы обо мне? — прошептала та. — Честно? Я Марья.

— «Я Марья»... Не совсем о вас — о символе... Нужен живой впечатляющий образ... Быстро умываться — и за телефон! И волосы причешите, переоденьтесь. Тряпки сейчас принесу...

Глава 2 Русский Линней

В волне старушечьих запахов они вывалились из трещины подъездной двери, грохнувшей вослед, и с ходу, толчками, перебросились через рябую от ветра лужу над просевшим, обледенелым асфальтом, поскользнулись, ахнули оба, но устояли.

— Таксист сбежал! — почти закричала Маша. — Бомбила! Что за люди!

Ямщиков обернулся на лужу. Невольно прошёлся взглядом по обледенелому козырьку подъезда с частоколом корявых и частью ломаных сосулек; по оторванным, распёртым языками льда отрезкам водосточной ржавой трубы, лежавшим тяжело на боку под самой стеной; по шахматке замеркших чёрных окон, плачущих жёлтыми отблесками мокрого стекла... Грохали на крыше железные листы, крутилась на балконе повешенная и забытая белая тряпка. В колодце двора фасады оштукатуренных сталинок и панелей хрущоб беснующимися миражами сваливались на редких прохожих. Сирая мгла слизывала верхушки домов. Шатало деревья, фонари — и с ними шаталась и дрожала вся городская мартовская склизь...

Ямщиков тряхнул головой, ухватил покрепче Машу, и они, тесно прижавшись и опустив головы, двинулись по тротуару. Сразу полы длинного плаща Ямщикова завернулись и заплясали от порывов кручёного ветра, то ударяя его по ногам, то бросаясь на бедро девушки. По углам двора — в жёлтом свете качающихся и поскрипывающих фонарей — взвивались и кружились полиэтиленовые пакеты и бумажки. Ветви клёнов и ясеней откидывались от родных стволов, шипели, били по проводам, по столбам и плафонам, охлёстывали друг друга со злобой, колебали, издёргивали причудливые тени по обледенелой грязи бутристого тротуара, по газону и клумбе, заваленным обломками

веток и проступившим из снега собачьим дерьмом, и по аспидно-жёлтой, истресканной и отошедшей местами штукатурке на цоколе дома...

— Ненавижу март! — сквозь зубы процедил Ямщиков. — Весна-красна, а вспоминаешь прокисшее собачье дерьмо...

Миновали помойку, вокруг которой, отогнав крыс, сновали тени псов-гастролёров: они спешно вытаскивали из баков и растрёпывали мешки свежего ещё мусора, пока сытая дворовая стая прячется от непогоды. Вошли в квадратную арку, перегороженную бетонным блоком от непутёвых машин. Здесь шум и вой перебивались уже тонким свистом. Ямщиков почти тащил Машу, обхватив её обеими руками, набычившись и волнорезом выставив левое плечо вперёд. Девушка привалилась грудью к его боку, левой рукой обняв за пояс, а правой вцепившись в отворот его плаща у самого подбородка. Ямщиков исподтишка поглядывал на девушку: на её лицо — слегка озверевшее и залитое дождём, на выбившиеся из-под красной вязаной шапочки мокрые космы и побелевшие костяшки пальцев.

Вышли, наконец, на длинную улицу. Стало тише. Однотипные домины обрисовали во мгле другое пространство для пляски стихий. Подсвеченные тучи параллельным сводом неслись над самой трамвайной линией. Под ногами, в грязи поверх льда, исчезал тротуар. Ямщиков отжал девушку от себя; она взяла его под руку, но шла в полуобороте, очень тесно, приноравливаясь к шагу, с силой прижимаясь грудью к его локтю.

— Хочу, Марья Сергеевна, сразу объясниться с вами...

— Ой, я всё-всё понимаю! Я очень умная, честно! Не беспокойтесь на мой счёт. Вам стыдно теперь за свои манеры, потому что вы полюбили меня с первого взгляда, а сами...

— Полюбили с первого взгляда... — как эхо, повторил Ямщиков. Он резко остановился и развернул Машу к себе лицом. — Я вас любил?!

— Полюбили! — с вызовом, не отстраняясь, выдохнула ему в самое лицо. — И не отказывайтесь даже. Только работа у вас жестокая. И скверная жизнь холостяка. Вы одиноки и несчастны: я сколько раз о таких мужчинах читала. А какие-нибудь приходящие девушки, чисто для секса, губят вас как личность и творца. Вам нужна любящая жена — прямо сейчас. И не отказывайтесь: я знаю, наверное!

— Определённо, Марья Сергеевна, вы из ряда вон. — Теперь уже Ямщиков крепко взял Машу под локоть и опять быстро повёл. — Одинок... — это пусть, но почему несчастен-то? Бывали времена и похуже. Как это приходящая для секса девушка может погубить творца... И жена — немедленно... Я всё же договорю. Мне, Марья Сергеевна... — эх, и до чего же мне понравилось звать вас Марьей Сергеевной! — мне, Марья Сергеевна, сейчас нельзя задерживать своё внимание на том... осмотре, который я вам учинил... Когда я в трубке услышал ваш голос...

— А-а-а, так это ещё с голоса началось? Услышали — и не смогли отказать?!

— Да, как сирена в уши пропела — и уже не мог поделаться с собой ничего. До смерти захотелось увидеть вас! Во что бы то ни стало увидеть вас! Есть, Марья Сергеевна, у мужчин моего склада один пунктик... Приехали: явный возрастной кризис, явный... Когда я услышал ваш романсовый тембр, эту вашу интонацию, идущую из полной и сухой грудной клетки, мне захотелось, чтобы...

— Я явилась?

— Да! Я, Марья Сергеевна, выпил совсем немного, очень скоро приду в себя и уже не осмелюсь этого вам сказать... Не перебивайте! Вы явились — и я, наверное, сошёл с ума: вы оказались той — какую именно хотел встретить всегда. «Не множеством картин старинных мастеров, — начал декламировать Ямщиков и обернулся к Маше, — украсить я всегда желал свою обитель...»

— Ой, значит, у меня будет настоящий роман со взрослым мужчиной! — Маша ещё сильнее навалилась грудью на плечо Ямщикова и уже почти мешала ему идти прямо. — С умным, с большим! Я ещё когда утром ваш интернет-дневник читала — ну как врач-реаниматолог домой не может идти, если его больной умер, — я плакала и влюбилась! Вы же о себе писали?

— Плакала и влюбилась?! — приглушённо вскричал Ямщиков. — Да это решает всё! Как хорошо... А что именно вы читали? Раннее моё, наверное, когда я ещё в Пироговке работал, откровеннее был.

— Мне врезалось: самое ужасное для вас — увидеть оскал навзничь лежащего ребёнка, которому от всей жизни остался один удар сердца. У вас там часто: ребёнок, лежит навзничь,

оскал, ребёнок, белый как бумага, последний вздрог... Так страшно! Расскажите: что за ребёнок?

— Сейчас соберусь... Во мне запечатлелся устойчивый образ приходящей смерти. Я тогда совсем молодым был, только после студенческой скамьи, на ночном дежурстве... Ребёнок один в отделение реанимации поступил — годовалый мальчик с большими синими глазами. Я один находился рядом, когда он умер. Слышал из коридора шаги, как двери закрывались, шумы больничные, даже смех, аппаратура рядом гудит, с улицы в окне огоньки цветные, машины бегают, реклама светит — жизнь кипит. Видел на экране этот последний удар сердца и ощутил рукою его вздрог при расширенных глазах... Родители, так вышло, умоляли меня присмотреть — вот и присмотрел, закрыл их первенцу васильковые глаза... Написал диагноз — документ своего поражения... Тело спустил в морг — остывать. Маме с папой — мой приказ — до семи утра не звонить: пусть для них ещё немножко побудет живым... После такого дежурства сразу домой не поедешь... Сначала в кабак, да в какой попроще — в забегаловку... Выпьешь там с чужими простыми людьми, и они деликатно не спросят, почему ты молчишь и только, через слёзы, смотришь поверх их голов куда-то в мутное окно... Проигравшим врачам домой сразу нельзя. Вы только что, Марья Сергеевна, сами видели, каково поверженному смертью хирургу возвращаться домой...

— Если хирург повержен смертью своего больного, его жена или подруга должна тихонечко стол накрыть, молча рядом сесть, руку взять, согреть, погладить и не смотреть вам в глаза, просто трогать, не оставлять одного.

— Потому-то, Марья Сергеевна, мне и нужно было получить от вас какое-то сильное впечатление — чтобы всколыхнуть себя, прибитого, или хотя бы зарядиться на несколько дней работы. Это обязательное для нас условие допуска к работе, ну и — может быть, затем, чтобы память осталась о вас, если скоро разминутесь бы. Я, наверное, и впрямь очерствел: не нашёл ничего лучшего, как устроить вам... осмотр морфотипа. Вот сейчас мне и кажется, Марья Сергеевна, — Ямщиков вновь остановился, развернул Машу к себе лицом, — ждал-ждал, кажется, берёг-берёг, образ тот свой берёг, а дождался — и чуть ли не обесчестил. Как мне теперь полюбить вас — ума не приложу. Скорей возненавижу.

— Вы так мечетесь, Иван Николаевич, потому что у вас нет ничего существенного за спиной.

— Нет ничего за спиной... — как эхо, отозвался Ямщиков.

— У меня дом за спиной, а у вас — впечатление.

— Вы изъясняетесь афоризмами, Марья Сергеевна, впору за вами записывать. И всё же, Марья Сергеевна, сотворите хоть какой-то лад во мне. Простите! Я определённо стремлюсь отличиться перед вами!

— Вы, Иван Николаевич, преувеличиваете моё бесчестие. И робеете.

— Робею перед вами?

— Перед пропастью между нами. Я — ангел во плоти, сами только сказали. А вы? Хотите, я стану вашим ангелом-хранителем? Хотите, я вас поцелую? Много-много раз!

— Не знаю... Я, кажется, действительно... оробел. Это странно и... радостно как-то. Я влюблён?! Кто бы мог подумать и сказать час тому назад... В последнюю четверть суток одну девушку отправил к анатому в морг, в другую влюбился...

— И я!

— Не понимаете вы, Марья Сергеевна, до конца, с кем готовы связаться. Индокитайские легенды, надо же, подтвердились в вашем морфопортрете: эти удлинённые дольки ушей... Бежим! До гаража триста шагов.

Они вновь быстро пошли.

— Теперь, Марья Сергеевна, о деле. Но сначала вставная новелла.

— В наш взрослый роман?

— Нет, не перебивайте. Жил-был мальчик. Жил и был он с папой-мамой, двумя братиками, одним чуть постарше, другим чуть помладше, с дедушкой и бабушкой. Дружной семьёй жили. И вот как-то так получилось, не знаю, как, — годкам к пятидесяти мальчик этот перечитал всю почти русскую классику, и впечатлительный его характер был потрясён, не выдержал Достоевского и других наших страшных писателей. Тут возьми и случись: ударил он как-то в сердцах кулачком в живот немощную свою бабушку, а та возьми, да и помри через несколько дней. Померла она от своих, конечно, хворей, но мальчик жалел-жалел, плакал-плакал, да — по несмышлению своему — записал бабушкину смерть на свой счёт. Принялся он после того читать медицинские книги, а пуще того — судебно-медицинские. Читал, надо думать, не много в них понимая,

но завораживаясь звучанием терминов и сюжетами, и очень скоро привязался душою к таинству жизни и смерти. У мальчика возник невроз. Он стал внимателен к бабушке и часто задавал ему, что называется, «странные» вопросы. Однако продолжалось это недолго: умер дедушка. Понял сразу начитанный мальчик: в их семье повторился гоголевский сюжет «Старосветских помещиков», а посему и бабушкину смерть отнёс на свой счёт. Десятилетний мальчик с фотографий стал глядеть испытующе и скорбно. Вскоре как-то летним вечером с улицы не вернулся его братишка — тот, что на год-полтора был постарше. Наутро какой-то дружок признался: они с этим братишкой играли в котловане, вырытом под фундамент нового дома, прокопали в отвесной песчаной стене котлована нору, братишка в неё забрался, а стена-то и обвалилась. Дружок убежал и, забоявшись взбучки от родителей, никому не сказал. Когда тело мальчика наутро принесли в дом, наш герой спросил, а почему это волосы у братика стали какие-то белые. И один дядя-доброхот разъяснил ему, что братишка его, наверное, всю ночь пытался вылезти из мокрого песка и жил часов десять, не меньше, потому что тёплый ещё, вот оттого-то и поседел; не белые, а седые волосы у него, пигмент такой в волосах пропал — от ужаса перед смертью. И добавил этот дядя: зачем это его братишка вообще пошёл играть в котлован, во дворе играть негде, что ли? Тут наш мальчик и припомнил, как вчера вечером пожадничал: не уступил братишке велосипед покататься, тот и подался со двора. Тогда уже мать нашего героя принялась болеть, слегла, и детьми стал заниматься отец. Вот однажды собрались они в кино, опаздывали на сеанс, папа второпях побрился и тут заметил в зеркале, что у него из ноздри противная такая волосинка торчит: взял он ножницы, хотел отрезать, а наш пацан дёргает его за локоть руки, в которой ножницы, торопит: папа, ну чего ты! Ну, папа тогда пальцами другой руки лихо так волосок досадный выдернул, и побежали в кино. Через три дня папа умер от заражения крови. Мальчик кричал на руках у матери: лучше я умру! Но мама рассудила иначе: умерла вскорости сама. На суде, когда решалось опекунство...

— Можно я заплачу, на минутку, — искательно воскликнула Маша. — Мамочка всегда говорит: всплакнёшь — и легче станет.

— Нельзя! Улыбнитесь через силу, скальте зубы — пройдёт! Опекунскому совету мальчик сказал: не буду ждать, когда и мой

младший братик умрёт, не смогу, лучше сразу убью его своею рукой! Попечители и судья поверили двенадцатилетнему мальчику: братику его изменили фамилию, имя-отчество, и он тоже канул в своего рода небытие. Двоюродные родственники забоялись взять к себе мальчика. И тогда отдали его на воспитание одному бездетному детскому психологу. Тому, видимо, не хватало материалов для диссертации. По крайней мере, мальчик рос в семье папы-психолога, чувствуя к себе не родительский, а профессиональный интерес. От такого жития в душе мальчика образы умерших родных покрылись ореолами святости и мученичества, и мальчик стал мечтать всей своей дальнейшей жизнью искупить вину перед убиенными им, как он считал, родичами. Он поначалу решил было для себя: за каждого из них он лично должен спасти от смерти по миллиону людей, потом чуть подрос — и уменьшил до тысячи, а годам к семнадцати — до ста, но уж от этой цифры спасённых положил себе не отступаться. Папа-психолог приветствовал и даже, может быть, разжигал эту страсть и, надо отдать ему должное, весьма основательно готовил приёмышу к её претворению. Но ко дню окончания средней школы юноше уже нечему стало учиться у папы-психолога, и он покинул его навсегда. Молодой человек получил поддержку от Фонда Аршинова и поступил в два университета, апока учился, жил отшельником и, посоображениям скорейшего достижения своей цели, запретил себе личную жизнь и даже оставался девственником.

— Как же тяжело ему было — при его-то страстной натуре! А вот подруга моя, чьё платье, — Маша тряхнула пакетом, — она в новогоднюю ночь не сдержалась и пустила... в своё лоно, хотя не такая уж она и страстная. Сейчас и меня склоняет попробовать... Всё-всё, молчу! — испуганно прошептала Маша, когда Ямщиков свирепо взглянул на неё.

— Чтобы спасти людей, нужно самому быть подле смерти, и молодой человек, получив дипломы, занялся покушителями на самоубийство. Женщины пачками покушались, но, кроме самых молоденьких, едва ли не все оставались почему-то живыми-живёхонькими, и при этом, как выяснялось впоследствии, многие из них позиционировали свои покушения со значительной для себя выгодой. Пришлось молодому человеку стать разгребателем грязного белья, причём исключительно дамского. Совсем по-иному было с мужчинами и подростками: они за помощью к нашему психотерапевту и психологу

не обращались. Они так: вдруг решился — и сразу выноси его ногами вперёд; наш молодой человек с помощью редко к ним успевал. Года через три назрел перелом. Одна министерская дама написала жалобу: мол, наш врачеватель человеческих душ с настойчивостью, далеко выходящей за рамки служебных обязанностей, допытывался от неё признания — почему она не добрала так явно дозу, когда травилась, и чуть ли ни хотел склонить её к повторному отравлению, но уже вымеренной им самим дозой. Молодой человек подал на неё в суд. Он доказывал, что эта особа с помощью друзей-медиков умело организовала демонстративно-шантажное покушение на самоубийство, имея целью устранить своего начальника и занять его место, что и случилось в самом деле. Доказал. Справедливость, как говорится, восторжествовала: даму уволили. Но двадцатипятилетний наш герой вскоре был избит металлическими прутками и попал в реанимацию, в Пироговку, где я тогда работал, дорабатывал последние дни.

— А бандитов нашли?

— Не важно. Так вот, я был его лечащим врачом и, на счастье, смог поднять его от земли. Но когда он как-то в полубреду рассказал мне свою историю... я решил: либо подниму его на ноги совсем, либо... не знаю что. Уйду из медицины! Думал-я-думал, думал-я-думал, ну не осталось в жизни моего больного никакого авторитета, того — как вы, Марья Сергеевна, говорите — «за спиной»: ни человека, ни дела, ни веры, ну совсем никакусенького авторитета, к которому можно было бы, подняв, прислонить и хотя бы выиграть время, пережить те переломные дни. Тогда я собрался и сказал ему: давай побратаемся кровью! Я, Марья Сергеевна, сам фондовец, аршиновец, у меня, кроме фонда и нашей бригады, никого...

— Ой, простите, простите меня, Иван Николаевич! Вот сроду я так: лягну, а потом...

— Да не извиняйтесь, вы правы: у меня за спиной действительно, в основном, одни впечатления. Просто боялся я так жёстко это для себя формулировать, боялся, потому что нельзя мне сейчас оборачиваться назад — специфика работы, профессиональный долг не позволяют озираться назад, как всем людям. А вы пришли — и обернули... Не перебивайте! Рассказал я ему про наш способ реанимации. В те дни, а было это четыре года тому назад, мы довели его как раз до стадии клинических испытаний и готовились все поуваляться и съехаться в частном Центре реанимации,

аршиновский фонд построил. Сама идея преобразователя героя моего рассказа чрезвычайно заинтересовала. Он обещал подумать на предмет «что-то здесь, правда, не то». Буквально через неделю заявил: мы недооценили личностную компоненту в своём способе, и надо не просто бомбардировать мозг электрохимическими сигналами, преобразованными из зрительных, но и привязать последние к самым ярким событиям в истории жизни больного. Я сразу понял: он станет нашим соавтором. Тогда созвал бригаду, держали совет, и вот мы, тогда двадцать семь молодых ребят — эх, вот было время! — мы в серо-голубых новеньких халатах с эмблемой Центра вошли разом в его палату и предложили работать с нами. Мы так «вошли» — я уж об этом позаботился! — что он не согласиться не мог. Чураюсь любых церемоний, но я сам торжественно вручил ему халат под номером двадцать восемь.

— А кровью?

— Кровью — нет, от братания со мною кровью он до поры до времени отказался: посчитал это поблажкой для себя. Мы стали духовными братьями. В два года мы с ним создали технологию... как попроще... способ обнаружения и возбуждения ключевых объектов памяти. И вдруг он сделал доклад «О типологии людей славянской расы для целей реаниматологии». Мы были потрясены открывающимися перспективами. В тот самый день мы прозвали его Русским Линнеем и постановили: ввести его разработки в наш преобразователь. Мой брат, стало быть, шагнул к больному. И тут я, Марья Сергеевна, никак, ну никак не ожидал, что этот шаг настолько потрясёт его. Я не учёл: он — врач-то больше языком, а не глазами и руками, как почти все мы, кто работает у стола. Вот увидел он брито трепанированный череп и от покойного тела всякие отрезки, увидел тот оскал, к какому и я-то за десять лет практики привыкнуть никак не могу, увидел, как умершему больному, по заведённому в бригаде ритуалу, закрывают глаза, если были приоткрыты, залепляют воском нос, уши и склеивают губы, вот увидел он всю эту атмосферу нашей работы и сказал, — не сразу, конечно, потом, когда пришёл в себя, месяца через два, — сказал примерно так: «Человек в состоянии комы — это кандидат в человеки, как утробный плод, это потенциальный человек на совести и умении не только врачей-медиков, но и тех людей, кто мог бы поделиться с ним частью своей жизни, своих жизненных сил...» Стоп... — начал уже от себя добавлять. Но это всё к делу. А дело в том, что не умеет прекрасный наш

человек делиться своими жизненными силами с ближним своим, не обучен делиться своей жизнью. Потому и приходится нам, именно команде Линнея, буквально отбирать у ближних людей кусочки их жизней, чтобы залатать ими прореху в жизни больного. Да нет: неудачное сравнение привёл, но не важно. Так вот, Марья Сергеевна, для чего, вы думаете, рассказал я вам о духовном своём брате?

— Чтобы возбудить во мне уважение и доверие к нему!

— Полное, Марья Сергеевна, абсолютное доверие, как к родной мамочке. Вам предстоит стать поводырём и секретарём Линнея в смысле информации о семье Саблиных и об их окружении. Успех дела могут решить какие-то часы, церемониться будет некогда — это помните всегда. Ваше участие сэкономит нам время — немного, но вам может стоить нескольких лет жизни, будьте готовы к этому. Как работает Линней — это неизбежно, даже с моим предупреждением, — может показаться вам неэтичным и даже безнравственным, а я не смогу оберечь вас.

— И не надо меня беречь! А то мы успокоились больно дома — не плачем уже даже. Мы, домашние, как-то привыкли за эти дни: Ваня в больнице — лежит при смерти. Теперь даже кажется: он там век пролежал, и это уже как бы так и должно быть. Я тоже болела, год школы пропустила — ну и что? Вот и пирог с мясом-рисом испекла мама сегодня, как ни в чём не бывало. Я за всё это так негодую на себя! Пустите меня к Ване: буду рядом — не дам ему умереть!

— Будете, надо быть рядом! Всех вас — самых близких ему людей — начнут сегодня же учить: как быть рядом с больным.

Затренькал сотовый. Ямщиков на ходу слушал, задавал вопросы и время от времени бросал тревожные взгляды на свою спутницу.

— От стартового состава бригады не нашли пока четверых, Линнея в их числе. — Ямщиков опустил телефон в карман плаща, на минуту задумался. Потом забормотал — больше для себя: — Странно, даже по спутниковой связи не отозвался. Куда мог деться? Сейчас запросили вокзалы и аэропорт Курумоч — у нас там блат. Сподобился улететь до шторма? А дублёр Линнея организует дело за рубежом, и ещё трое ребят с ним... Если его не найдут, — он остановился и прежним, воспалённым и невидящим, взглядом прошёлся по Маше с головы до ног и обратно, — тогда я сам...

Глава 3 На лихом коне

Когда выехали из гаража, Ямщиков включил ноутбук:

— Прошу стартовому составу бригады зарегистрироваться. — Ямщиков скосился на экран монитора. — Так... Геофизик будет через час-полтора. Линнея и молекулярного биолога пока не нашли. Колычёв... — перезвонить позже. Волчок, а что с Колычёвым?

— Похоже, опять скандал с женою, — ответил Волчков. — Перезвонит через час. Серьёзно, Ямщик: тебе бы за ним заехать и выдернуть. Сделай крюк, твоя машина ближе всех. А то и три, и четыре часа потеряем.

— Заеду. Но если у него опять с женою, заторчу. Внимание! Затребовать всю биомедицинскую информацию о больном. Мороз, приступаем к распознаванию фенотипа по третьему алгоритму Линнея — включай!

— Включено: машина к приёму фенотипной информации готова.

— Первая версия фенотипа больного Саблина, — отстранённым тоном сказал Ямщиков и пальцем указал Маше на монитор. — Источник: родная сестра больного, восемнадцать лет, школьница. Марья Сергеевна, сначала ответьте на вопросы нашего стандартного теста, вот — первый вопрос уже на экране. Быстро и честно отвечайте, ко мне за помощью не обращайтесь...

Некоторое время ехали молча. Ямщиков надел наушники, слушал, временами косился на экран монитора. Когда машину заносило, всецело захваченная печатанием Маша приваливалась к Ямщикову и тогда неосмысленно бормотала: «Простите», а он плечом отваливал её от себя.

— Пристегнитесь, — сквозь зубы проговорил, наконец, Ямщиков, и снял наушники.

— Сейчас-сейчас: вот последний добыю... Ну и вопросики!
— на выдохе вскричала Маша, откидываясь на спинку сиденья.
— В жизни не думала, что могу на такие ответить! Только... а Ваня не узнает? Обидится ещё.

— Не узнает. Наш Центр гарантирует тайну информации о больном. Пристегнитесь. Теперь поговорим вольным стилем. Так каков же ваш брат?

— Самый лучший! Жизнерадостный такой, жизнелюбивый, очень весёлый и шумный. Знаете, он придёт с работы, дверью в прихожке нарочно посылнее хлопнет и как рявкнет: «Народы!» или: «Эй, краснокожие, встречайте своего вождя!», или свистнет как Соловей-разбойник, так все, кто дома есть, все бежим его встречать-целовать. И всегда чего-нибудь принесёт: вкусенького, или необычного, или новость какую сногшибательную. А когда уезжает — мы все увядаем как-то, скучаем ужасно, и всё время в доме звонки — «Где? Куда? Когда вернётся?» — нам объяснять приходится, и ещё грустнее становится... Я правильно рассказываю?

— Правильно, только определений побольше. И модели характерных поступков нужны.

— Смелый он, заботливый, отзывчивый: Ваню, что ни попроси, всё сделает, всем поможет. Ещё откровенный, артистичный, потешный, разыгрывать всех любит...

— Откровенный — это ценно для нас. А что ваш брат считает самым важным в своей жизни?

— Самым важным? А разве человек должен это обязательно знать и определять? Я о себе подумала: в университет поступить, хорошего человека полюбить, замуж выйти, родить?..

— Я вот что имею в виду. У человека сильно выражена какая-либо черта или совокупность черт. А любая черта имеет биологическую основу, её ничем не изменишь — ни воспитанием, ни образованием, ни запретами, ничем. Из этой доминирующей черты и произрастает его понятие о приоритетах жизни...

— Ой, поняла-поняла! Главное для брата — первым быть. Он и в школе командовал, и в университете, и сейчас самым важным отделом в большой страховой фирме руководит. Он не стал, не стал со временем, а родился таким — с этой, как вы сказали, чертой определяющей. «Только вперёд!» — так он советует другим, а сам только и живёт по этому принципу.

— «Только вперёд!» А с каким оттенком?

— Если честно, его клич: «Морду клином — и вперёд!» Вот так!

— «Морду клином» — это существенная характеристика...

— Он, понимаете, Иван Николаевич, с такой удачью несётся по жизни, с такой удачью, мне аж завидно иной раз! И никогда не оборачивается назад. Он человек, мне кажется, недостаточно ценящий прошлое своё. А я, напротив, очень даже прожитое своё ценю.

— Хорошо. Клички у вашего брата есть и были?

— А клички-то зачем? Несерьёзно!

— Клички дают, как правило, близкие друзья и заклятые враги, а они лучше всех знают: к чему склонен человек, на что годен.

— Лучше отца-матери?!

— Гораздо лучше. Человек в своём доме таится — даже самый откровенный или безразличный. Заводит себе угол — в прямом ли, в переносном смысле — и таится в нём. Не раскрывается он дома никогда до конца — из чувства самосохранения.

— От кого же дома охраняться? Свои все!

— У вас есть свой угол?

— Нет! Или... Трельяж, где косметика — это не угол?

— Ладно, оставим угол. Но бьюсь об заклад: парни, за глаза, кличут вас Мадонной.

— Ой, угадали! А честно: хочется мне походить на Мадонну, ту — видели? — с алтаря Владимирского храма в Киеве.

— Перечисляйте клички и комментируйте.

— Когда Ваня учился в университете, его прозвали Чапаем: «Чапай на лихом коне». Он артист, я говорила, он в студенческом театре как-то Чапаева играл. Мамочка тогда ему прадедушкину будёновку дала, брюки галифе, португеею дедушкину, гимнастёрку с ромбиками и даже исподнее — у нас всё сохранилось, только оружие ещё до Хрущёва отобрали: и шашку именную, и наган, штык трёхгранный. И по сию пору, когда друзья университетские звонят — спрашивают: «Чапай дома?»

— Ещё клички.

— Девушка одна, бывшая подруга Вани, прозвала его Рыцарем беспечного образа. Несправедливо, даже слышать обидно. И вовсе не беспечного. Наоборот: он заботливый, быстрый только, порывистый.

— Но кличка прижилась?

— Да, как ни странно. Но Ванюша не обижается. Он, в отличие от меня, вообще не обидчивый, я даже как-то выговаривала ему за это.

— Координаты той девушки вам известны?

— Ой, зачем она вам? Я же лучше Ваню знаю.

— Вы, Марья Сергеевна, лучше знаете Чапая на лихом коне, а она — Рыцаря беспечного образа.

— Её Наташей Паниной зовут. Она замуж вышла недавно. Ваня письма её на диске сохранил, и бумажные, кажется, есть.

— Вся любовная переписка, все личные записи брата — за вами.

— Взять без спроса?!

— У кого же спрашивать, Марья Сергеевна? — Ямщиков проглотил таблетку, запил, передёрнул плечами, поморщился.

— Большой личные записи какие ведёт или вёл ранее?

— Никогда не вёл. А над моим дневником всегда смеётся и дразнится.

— Дневником? А говорили: угла своего нет.

— Дневник — свой угол? Значит, и я таюсь? Меня мамочка с шести лет приучила дневник вести, а Ваню — не смогла. Кто читать не любит, того и писать не заставишь, а он отродясь книг не читал — одни документы.

— Есть ли у вашего брата заветная мечта?

— Мамочке кунью шубу купить! Ой, нет — глупость, что я. Начальником крупным хочет стать, во главе солидного дела, где много почёта и денег.

— Какого дела?

— Не знаю: какого-нибудь. Он и сейчас руководит, но масштабец, говорит, мелковат.

— Это не то. Заветная мечта нужна, заветная. Или непреходящее желание, навязчивая мысль. Одержим ли он какой-нибудь идеей? Или отсутствуют таковые — всё преходящее?

— Не всё — он вам не флюгер, вот так! Ваня давно уже мечтает построить большой дом, чтобы нам всем в нём жить и не разъезжаться, когда он женится и я замуж выйду. Он, если хотите знать, многого хочет, о многом сразу мечтает. Сколько себя помню, всегда он хотел правой стать и пошире в плечах раздаться: он же тощий такой и долговязый, уже и сутулиться начал. И это пустяки для вас?

— Не пустяки. Многие полководцы левшами были. Ещё что? Сокровенное дайте, Марья Сергеевна!

— Сокровенное... Только не выдавайте меня, Иван Николаевич, это, наверное, семейная тайна, я не знаю... В общем, мечтает он прославиться во имя Отечества, чтобы улицу в городе его именем назвали или площадь.

— Вот! А при жизни рассчитывать на это не приходится...

— О чём это вы?!

— А про смерть он не заговаривал, про свою смерть, геройскую — пусть даже шутивным тоном?

— Да что вы?! Никогда! Говорю же: жизнерадостный он у нас, никакого сходства с вашим Линнеем. Никогда про смерть не заговаривал!

— А из чего вы решили, что прославиться он хочет во имя Отечества?

— Он сам говорил, и не раз, в застолье: мол, не пощажу, говорил, живота своего за Россию, чтобы стала первой в мире державой, и всё такое. А сам он... — ну вот этого, кажется, вслух он не говорил никогда, но почему-то мы, все домашние, подразумеваем, — что сам он — только не смейтесь! — сам он должен быть во главе российского воинства, на белом коне, с саблей наголо! Да-да! Я почему-то всегда представляю себе его как маршала Жукова, с Парада Победы на Красной площади.

— Уже кое-что... Белые кони и пони у нас в фаворе... А приходилось ли вашему брату испытывать сильные потрясения, которые могли бы оставить печать, клеймо на его душе.

— Что вы! Нет, конечно! Мы очень хорошо живём, все говорят. А случись что с Ванюшей на стороне, вне дома, он бы рассказал тут же: ничего в себе не держит, с порога вываливает. А он... он и не может попасть под такое клеймо — вот что я сейчас уяснила. Потому что он широкий и быстрый по своей натуре: удары все отскакивают от него или проходят насквозь без видимых последствий. Да ещё какие ударчики!

— Иной раз удары накладываются... Так что же стряслось с моим тёзкой: несчастный случай?

— Не знаю... — всхлипнула Маша, сразу поникнув. — Никто не знает... Упал в лестничный пролёт в подъезде: у нас дом старый. Возвращался вечером откуда-то — и упал. Следовательно занимается...

— Мы у дома Колычёва. Конец связи.

Глава 4 Крыса

— Ваня! Голубчик! Господи!

Из лифта на цокольном этаже вышла дородная женщина лет семидесяти с добродушно-постным заплаканным лицом, в пуховом платке и незастёгнутом старомодном пальто, распростёрла широко руки, обняла за плечи подошедшего Ямщикова.

— Да что ж вы так, Галина Васильевна: как ни заскочишь домой к вам — всегда слёзы.

— Теперь уж это не мой дом... Теснит она нас во всём. Моложе была, думала: один Бог может меня сокрушить, а из людей — никто. А теперь немощна я победить её зло. Ненавидит меня, потому что я свидетельствую против её зла. За столько лет не приобщилась к семье. Сальница: не могу больше пятна за ней выводить — одолела. Омерзительная, как грязная мочалка. Сколько мы вынесли от неё злоречия! А голос потеряет, так шипит змеёй подкольной. Чувствую: недоброе может случиться, ой недоброе. Помогите, Ваня, Христом Богом молю: спаси Колю от потаскушки этой! Твой он выкормыш, ты его в люди вывел, тебе и спасать. Ученик не больше своего учителя. Увы мне! Если Коленька позволил, чтобы я ушла...

Она заплакала.

— А куда же вы без вещей и на ночь глядя? — спросила вдруг Маша, выступая из-за спины Ямщикова.

— Куда? Прости, красивая, как тебя кличут-то?

— Марья. Вечер добрый, бабушка.

— Марья! Машенька! А голосок-то какой ангельский, простосердечный, без всякой подначки. Добрый вечер, доченька, добрый, милая. И где вот, Ваня, золотко, где такие Машеньки

беленькие десять лет назад были, когда я своего этой... чернавке шустроногой отдать согласилась?

— Галина Васильевна, — Ямщиков вынул телефон, — может, такси вызвать?

— Не-е-е! Я к подруге — ночевать. Подруга есть: старая, закадычная — сибирячка. Недавно поближе ко мне переселилась. Она — если что — звала. Да не обо мне забота. За Коленьку обидно: растила-растила... Ой, каша в голове какая-то... Сегодня пришёл Коленька, в седьмом часу, лица нет — так устал. Расстроенный: ещё одну больную, беденький, говорит, потеряли. Давно таких безнадежных не было, потому и отдых всем дали. Взяла я у него имя больной, какая преставилась. Славянским покойникам я в церкви свечки ставлю и читать заказываю. Покормила: неохотно ел, куском давился... Поиграл он с Катенькой чуть-чуть и лёг. А девка-чернавка его с утра ещё ушла куда-то. Моську красную свою выбрила — усы у неё, напудрилась и ушла, костюм белый напялила. Только сыночка уснул — звонят в дверь. Открываю — ба! — милиция, полиция тойсь. Верите, отродясь на пороге своём полицию в форме не видела. А тут стоят, двое, и Аду держат с обеих сторон. Она растрёпанная вся, шея в синяках, и под глазом тоже, парик свой рыжий в руках комкает, кричит, вырывается, слюнями брызжет: ну, право, Ваня, Машенька, Бог меня простит, право собака бешеная! Была у неё одно время собачонка, сучка. Маленькая такая, злющая, по квартире вечно носится, на всех кидается — своих, чужих, ей всё равно. Лает-заходится, а шерсть всегда клочками, сколько ни чеши — как наяву вижу. А нечистоплотная, жадная! Всё норовила кости или кусок под подушку на постели запрятать. Окормилась потом на улице чем-то, издохла. Ну вылитая хозяйка сучка эта, вылитая! И дышит, как собака, часто-часто, и кушает много — и всё больше мясное и сладкое, куда только лезет? Ну да стою я в прихожей, обмерла, а власти и спрашивают: здесь эта гражданочка проживает? Здесь, говорю. А муж её дома? Спит, говорю. А они переглянулись так, с ухмылочкой, а помоложе который и говорит: пока, мол, муж почивать изволит, его благоверная в суде пыталась своими силами освободить из-под стражи подсудимого — одного молодого человека, видать, любовника своего, его осудили нынче на восемь лет за изнасилование несовершеннолетней. Это она-то, Ваня, шибздик этакий, своими силами пыталась из-под стражи освободить! И смех, и грех. И дальше говорит:

судья счёл её действия... — ой, как уж он выразился, дай Бог памяти — «проявлением болезненных эмоций», задерживать не стал, а распорядился отвезти домой. Позор! И ещё они сказали: синяки на Аде — не их работа, а это родители той девчонки, малолетки пострадавшей, да кто-то из публики потрепать её успели, в зале заседания прямо, под шумок. Потом завели её в прихожую и не отпускают, Колю моего требуют. Она визжит, как отравленная крыса, ругается: «Буди скорей сынка своего, чего стоишь!» А он, бедненький, медиаторы свои принял, успокаивающие, таблетки две-три проглотил. Разбудила, куда деться. Вышел он, они рассказали всё, расписался на каком-то бланке, сам ни живой ни мёртвый. Только дверь закрылась, как бросится она на Коленку: «Ты сам, — кричит, — во всём виноват!» И царапаться, и биться! И на меня: «Подсунули мне дистрофика! Вот и хлебайте!» Да как же дистрофика — слыхано ли? Ваня, голубчик, ты-то Коленку знаешь. И в детстве он совсем не болел, кислотой обжётся только, так это ничего. В лесничестве на всём свежем вырос. Спокойный он просто, нормальный мужчина, сибиряк, рассудительный в отца, в простой семье рос. А ей, богохулке-скабрёзнице, ей бешеный кобель нужен, а если ты не кобель бешеный, то не мужчина! И у самой не имя — собачья кличка. В общем, не выдержала я этого крику, да и глаз мой не мог доле её переносить, заплакала и ушла в свою комнату. Но Коленке сказала: не стонишь сейчас — сама уйду, выбирай. Ничьи ризы не белы, но нет больше моего терпения, всё вышло. Василька увела, ему скоро десять, всё понимает уже, а тут Катюша плакать принялась, верно, на смену погоды... Катеньку в комнате ношу, а они в прихожей — выясняют. Вдруг слышу: потаскухой её назвал! А то нет? И двух лет не прошло, как поженились — пошло-поехало: как Коли дома нет, приводит то одного, то другого, и всё больше молоденьких, и подвыпивших часто. Ни одного отродясь не привела такого вот, как ты, Ваня, видного из себя, солидного мужчину. Да солидный разве польстится на двухвостку такую-то? Веришь, Машунечка, чуть не десять лет живём бок о бок, а она всё в заботе, чтобы я, не приведи господь, красот её телесных не узрела. Ни разу, как мылась, спину потереть меня не позвала. Но я видала, и не раз, всю её разглядела, знаю: не однажды пьяной возвращалась домой, и мне её самой раздевать-таскать приходилось, а то запачкает. Привезут её, бывало, упадёт, а как ночь за полночь — плохо ей

становится: кровь изо всех дыр так и хлещет, так и хлещет, глаза безумные закатила, красная, пылает вся... Как она тогда по ночам-то мучается — страшно, ну вот-вот, кажется, помрёт. Тогда-то и нагляделась её телес: жилистая она, бугристая, вся какая-то перекрученная, словно полено из кривого дуба. Кожа на щеках и на носу красная, и вот здесь — на груди — тоже пятна красные с фиолетовой сеточкой. А со спины глянуть — фу! — позвоночник выпер, неровный, дугой как-то, и лопатки торчат как топоры. Не-е-е... — только пьяный на такую польстится. Иль мальчишка какой неразумный, свою мать позабывший. В доме, Ваня, ни одной её фотокарточки нет, даже детской. Свадебные — и те порвала! Ну так, приведёт, бывало, кого: «Это коллега из моего института, — говорит, — нам со срочным проектом посидеть надо в тишине, на работе шумно», и просит меня с Васильком погулять уйти. Помню, в первое-то время понять не могла: как же — посидеть-поработать, а где чертежи-то, бумаги. А пригляделась: то стаканы немытые, недопитые останутся, то рюмки, беспорядок, грязь, то пятна подозрительные, и пахнет как-то... А то в моей комнате шнырять принялась. И Коля начал спрашивать, где его вещи: то одна пропадёт, то другая. А адская жена всё на меня кивает: к матери, мол, обращайся — она хозяйство ведёт. Я и смекнула наконец: водит она ухажёров и дарит Коленкины вещи своим приходимцам, задаривает наперёд. Ну не бесстыдство?! Мало ей, что Коленкины деньги, потом-кровью добытые, на свои попугайские тряпки и выпивку без всякого удержу проматывает, так ещё и крадёт, и обманывает, и меня норовит под ссору с родным сыном подвести. В общем, не стерпела я как-то — начала разговор с ней, по душам хотела, как с ближним своим. А она — нет! «Не лезьте в мою жизнь, — говорит, — не ваше дело!» Да разве ж это не моё дело, Ваня, Машенька, а? Мой сын, мои внуки. Разве не моё?!

— Ваше, конечно ваше! — горячо вступила Маша. — И я бы не потерпела. Терпение здесь равносильно предательству!

— Вот умница! Дай Бог тебе, дочка, счастья. И я так рассудила: за кого мне ещё душой болеть, кроме них? Родители в войну пропали, мужа в Сибири схоронила — клещ его энцефалитный укусил, старший сын во флоте служит — годами его не вижу, сестра за тридевять земель проживает, подруга вот одна есть — и вся моя жизнь...

Ямщиков посмотрел на часы, извиняющеся улыбнулся, развёл руками, пообещал заехать как-нибудь. Распрощались.

— В первый раз слышу о столь нечистоплотной замужней женщине! — воскликнула Маша, когда лифт тронулся. — И классика русская таких примеров не даёт. Как ей не стыдно!

— Не торопитесь судить...

— Ещё чего! Вы допускаете, что Галина Васильевна неправду сказала?

— Не допускаю. Но правда одного всегда тенденциозна.

— Неужели вы могли бы оправдать супругу и мать за грязное беспутство? За что же тогда в жизни держаться, если грязь такую в семье допускать и прощать? Вы за что в жизни держитесь?

— Я держусь за... работу... за мечты свои, может быть... Не знаю!

— Не знаете — вы?!

— Приехали, выходим!

— Ой, боязно мне: она сейчас увидит, как я на неё смотрю, как говорю, и сразу всё поймёт. А не можете вы без её мужа обойтись: вас же, врачей, много в бригаде?

— Вся бригада — врач, коллективный врач, способ работы такой. Без Колычёва — никак. Он сегодня единственный биохимик, дублёр его — за рубежом. Звоните!

Маша глубоко вдохнула, затем кивнула себе головой и нажала на кнопку звонка...

— Проходите, раздевайтесь. А я думал, мама вернулась.

Тщедушного вида мужчина — белёсый, редковолосый, с небольшими руками — кивнул Маше и, виновато сморщив невыразительное и измождённое лицо, засуетился вокруг неё, боясь столкнуться взглядом с Ямщиковым. У него был вид, будто он всё время собирается высморкаться. Видимые части кистей рук были испещрены старыми разноцветными пятнами от ожогов.

— Простите нас великодушно, — извиняющимся тоном сказал он, — мы здесь сегодня на повышенных тонах...

В прихожую быстрым мелким шагом вошла вёрткая, малорослая женщина с удлинённым востроносым и густо напудренным лицом. Её близко посаженные глаза вспыхивали, как неостывшие угольки.

— Не мама, а папа твой, — визгливым голосом сказала она и поджала губы. Подёргивая головою, стала разглядывать

Ямщикова и особенно пытливо — Машу, следить за их движениями. — Добрый вечер, гости дорогие! Запашок учуяли? Ладан. Как в церкви живём, праведниками. Порядочные мужья валюту на жён, на детей тратят, а мой — на ладан аравийский: по научной, дескать, части положено. Так-то вот шибко учёного мужа иметь, — обратилась она к Маше. — Ты замужем?

— Мне рано ещё! — с вызовом ответила Маша.

— Замуж никогда не рано: бывает только как раз или поздно. А послушайте-ка, Иван Николаевич, может, это вы на меня столь пагубное влияние оказали? Я эту, — она кивнула на Машу, — ягодку-малинку имею в виду. Она на меня почему-то смотрит, как прокурор в зале суда. Помнится, на банкете у посла, где мы с вами так лихо танцевали, при вас одна ягодка состояла, а теперь, вижу, совсем другая, помоложе, хотя куда моложе, вам-то. Нас за такие дела в собственном доме потаскухами обзывают.

— Ада! — воскликнул укоризненно Колычёв.

— Что Ада, что! Возьму и расскажу сейчас папе твоему про наши ухабы на пути к семейному счастью! Всё, всё бельишко на свет белый вытащу и перетрясу! Глядишь, что-нибудь дельное присоветует.

Тут в прихожую из комнат выступила полутороговая девочка, для сна одетая, в одной руке держа сухарик, в другой — затупленный карандаш. Увидев чужих, остановилась, неподвижно уставилась на Ямщикова; тот принялся подмигивать ей и силился улыбнуться добрее. Девочка скучилась и потянулась к отцу.

— Пойду, укачаю. — Колычёв поднял дочку на руки, бросил на Ямщикова исподлобья виноватый взгляд. — Дайте мне четверть часа. Не спит, капризничает на ветреную погоду...

— Иди-иди, алхимик, — с нескрываемой насмешкой просипела Ада. — Всегда сбегаешь от разговора начистоту. Пусть бежит. А вас, гости дорогие, прошу в наш актовый зал — на кухню. И разрешите, Иван Николаевич, первым делом полюбопытствовать: зачем вы с собою в клинику барышню везёте, да ещё и в свитере со своего широкого плеча, да ещё и в своих джинсах... Пойдите-пойдите... А может, вы ей платье порвали?! Ха-ха-ха! Ой, держите меня за грудки! Ха-ха-ха! Вижу — угадала! Ой, да вот же оно! — Ада выдернула платье из пакета в руках Маши, рывком расправила на себе. — Живут же люди. Ну почему на мне мужчины платья не рвут!

— Отдайте!

Маша готова была ринуться на обидчицу.

— На-на, возьми своё орудие труда. И советую: храни его, как экспонат музея личной дамской славы храни — на старости лет не налюбуеться, да и гостям будет что показать. Так как же с барышней, а, Иван Николаевич? Очень уж, простите, мне ваша отшельническая жизнь любопытна. Вы женщинам нравитесь, здесь единодушие полное, а вот влюбляются ли в вас насмерть?

— Мария — сестра нового больного, — улыбнулся Ямщиков через силу. Они с Машей расселись в столовой по застольным табуретам. — Сопровождает меня на обычную первую ориентировку.

— Так-так, на обычную, на первую, значит, только что познакомились... — Ада облокотилась спиной на барную стойку и стояла, скрестив руки на груди и подав голову вперёд. — А тебя, красота, вижу, девство-то уже вовсю распирает!

— Мне уже исполнилось восемнадцать.

— Как-то ты... прикидываешься. Голосок детский...

— Это вы прикидываетесь! А сами честь потеряли, тещу довели, мужу работать мешаете, жить не даёте! — на одном дыхании выпалила Маша.

— Что?! — Ада оттолкнулась от стойки, подскочила к Маше.

— Я — честь?! Я — жить не даю?!

— Говорила вам! — в гневе обернулась девушка к Ямщикову.

— Вон ты какая цаца строгая! Прямо общественный прокурор — ещё один на мою голову! Ладно, честь я потеряла, ладно. И тебе того желаю — во избежание застойных явлений и развития комплексов. На сайтах знакомств все целки на фотках выглядят почему-то крайне уныло. — Ада заметалась по кухне, выхватила сигаретку, закурила, пыхнула в сторону Маши дымком. — А вот с тещей — прости! Тёща — ха! — нашла, кому плакаться. Она сама себя довела! Как мужа схоронила и к нам из Сибири переехала жить, так и начала помаленьку с ума сходить: по церквям мотаться да деньги на свечки-поминания переводить. Живёт у нас, а ребёнка оставить не с кем. Меня возненавидела, будто я, а не клещ энцефалитный, её мужа в тайге укусила. Так это, значит, она вам только что наябедничала... Не горюй, честная девушка, не горюй больно-то: завтра поутру вернётся твоя бабушка, не впервой уходить, знает, что мне на работу ехать. Юродствует

свекровушка, а провокация — обязательный атрибут юродства. Это только для бога юродивый — праведник, но не для людей в миру. Ну, Иван Николаевич, привели мне честную, удружили. Ненавижу таких! — Она остановилась напротив Маши. — Сейчас погляди на неё — чуть ли не Мадонна с алтаря: глазки магнитные, телеса, волосы, кожа — всё при ней. А как замуж выйдет да парочку чад произведёт — заматереет сразу, опустится, со старухами во дворе на лавочке часами болтать начнёт, а сама, сама-то, копни её поглубже, сама при этом будет втихую мечтать, что и на её долю когда-нибудь перепадёт этакое приключение: необыкновенно прекрасное, вот только бытовой горизонт немного расчистится или кто-то там уедет-приедет, и непременно что-нибудь приключится — по части принца на белом коне. И мораль наша ханжеская — вот что меня бесит! — мораль опекает такую «честную». А она просто-напросто ленится или трусит побегать да телесами своими потрясти, чтобы завоевать себе мужчину, какого до смерти хочет.

— Мораль здесь семью защищает!

— Вот-вот, говорю же — моралистка! Защищаться моралью должна такая семья, которая того стоит! А моя — стоит? Колычёва я не люблю, и давно уже. Он меня, уверена, тоже. Хозяйство? На теще. Тогда, может, дети? Скучно мне только ими заниматься, ну до смерти скучно! А первый — так совсем неинтересный ребёнок, как личность мне не интересный: вялый какой-то, без искорки, и глаза чересчур светлые, какие-то пустые, в отца весь. К тому же родила я его, можно сказать, по просьбе свекрови: я его не хотела, забеременела ещё до свадьбы, случайно, а сама училась в архитектурном, и Колычёв ещё только доучивался, жить негде, куда было рожать?

— А второго зачем родили, если детей не любите?! — продолжала Маша гневиться.

— Катьку? А вот, заботливая ты моя, для укрепления семьи и родила. Дурой была. Но детей своих люблю, как могу, люблю — не по книжке, в записные мадонны не стремлюсь, о себе не хочу забывать.

— В гетеры вы стремитесь! — выпалила Маша, уже привставая навстречу Аде. — Плохая вы!

— Ха! Да мне бы с тобою шкурами сменяться — да хоть сейчас в гетеры подалась! Ну что ты опять на меня так смотришь? Что смотришь? Плохая, говоришь? Не плохая

— какая есть! Да поймите вы, наконец: для некоторых женщин тот же гетеризм — самый естественный образ жизни! Естественный, а потому мораль должна его защищать. Вы понять этого не хотите, воротите носы от тысячелетней проблемы. Коль уж дали человеку родиться, позвольте ему и жить по своему естеству. По естеству — мораль, а не одна мораль для всех. Мадонна — это прекрасный классический образ, и большинством людей он воспринимается подражательно. И я её уважаю, не люблю, но уважаю, точнее, допускаю, пусть живёт: мадонне — мадонново. Но и гетера — тоже классика. Вы не любите её, сколько угодно не любите, но уважьте, допустите как образ жизни. Вы, чудо-медики! — Ада кинулась уже к Ямщикову. — Объясните этим «честным»: что это такое для некоторых, какая это сила — тяга одновременная к искусствам и противоположному полу! Пусть, наконец, эти «честные» от нас отвяжутся!

— И вы ни разу не раскаялись, даже не покраснели за своё поведение... перед мужем? — уже с некоторым смущением и потише спросила Маша, опускаясь на свой табурет.

— Дался тебе этот муж. Где ты видишь здесь мужа? Ау-у-у, муж! Что это за муж, если он не желает или не способен заботиться о моём здоровье? Он ночует в своей клинике неделями, а придет домой — нос от жены воротит. А мне что, прикажете по вечерам одной с ума сходить, уж простите за откровенность? Я не оправдываюсь, мне оправдываться не в чем, я вас к гинекологу своему отсылаю, к устаревшей гиппократовской медицине, как вы её зовёте: воздержание для меня означает конец, заболела, свихнусь — и конец. Пробовала воздерживаться, знаю — это верная дорожка, в лучшем случае, в больничную палату, и надолго. А я ещё на воле побегать хочу. Кстати, когда с гинекологией на обследовании лежала, лечащий врач, поддав мензурку неразбавленного спиртачка, так и сказал: до старости дожить не надейся. Почему? А метаболизм, говорит, очень активный: сгораешь быстро. Мама с папой, когда меня замешивали, видать, дрожжей переложили: и дыхание, и сердцебиение чаще обычного, и температура в норме — в норме! — тридцать семь, и амплитуды циклов каких-то прыгают, как бешеные, так и сказал: как бешеные! Вот и ответь мне, киска, теперь, — Ада склонилась над Машей, — с какой стати мне краснеть перед мужем, если ему на моё физическое здоровье наплевать?

— Он и своё не бережёт, — совсем уже тихо возразила Маша. — По нему видно. Такой весь жалкий...

— А мужчина и должен работать на убой. И обязан в жене своей всё женское поддерживать. У нас не Европа, у нас Евразия — не каждый только за себя. Лелеять должен, ублажать, платья покупать, и рвать их иной раз — это ещё как воодушевляет! А Колычёв — что ты думаешь? — всё, что зарабатывает, на ароматические смолы тратит заморские, на кору, морские водоросли, рыбью чешую. Тогда, ответьте, кто же обо мне — да ещё в окружении таких вот «честных» — обо мне как о женщине позаботится, кто должен заботиться, если законному мужу недосуг, а в стране царит остаточный патриархат? Может, праведное наше общество меня опекает? Отнюдь. Обществу в этом плане на меня троекратно наплевать: публичные дома оно запретило законом, а любовников — моралью, партийными уставами, такими вот безгрешными мадоннами, да тещами-свекровьями, да всякими больными и дефективными, да попами всяких мастей, ну всем и всеми! Я даже удивляюсь на наше гражданское общество: ну ничего оно не способно мне предложить, вот лично мне — ничего! И думать даже не хочет! Роддом да венерина больница — всё! А мне что делать прикажете? Вместо полнокровной жизни шмыгать по больничным коридорам: зажать руками одно место и, эдак стыдливо озираясь по сторонам, из процедурной в палату — шмыг? Этого от меня требует среднестатистическая мораль?! Чего ради? Общество от этого расцветёт, государство окрепнет? Отвечай, тульский пряник! За что мне краснеть перед мужем?!

— За измену, — неуверенно сказала Маша и, жалобно взглянув на Ямщикова, опустила глаза.

— Измена — следствие, а не причина. «Изме-е-ена»! Конечно, верность полезна окружающим, всем окружающим полезна: они потому за неё так и хлопчут. Но ой как вредна для тех, кто её хранит. Верность, кроме прочего, съедает информированность человека и даже тупит его. Да-да, не улыбайтесь, Иван Николаевич, я замечала: самый верный — почему-то всегда по совместительству и несколько простоватый. Да и что такое измена? Это одна из вероятностных плат за любовь, и куда как не самая дорогая плата. Полюбила — готовься платить, куколка, по всем многочисленным статьям расхода готовься платить. Иван Николаевич, объясните это своей послушнице.

— Вряд ли это поддастся сейчас пониманию. — Ямщиков внимательно поглядел на Машу. — А всё-таки, Ада Кирилловна, хоть раз в жизни должно же было вам стыдно за свою измену — неудобно, по меньшей мере.

— Стыдно за измену? Ни разу! Вы меня удивили даже, Иван Николаевич. Для чего я вам о себе рассказывала-то?

— А если вне этой сцены? Я вас понимаю вполне, но и вы меня...

— А-а-а, мужская солидарность взыграла? Рога носить — кому ж приятно! Ладно, было мне один раз неудобно... Если бы вы вдвоём так не припёрли, не вспомнила бы вовек. Рассказать? Ха! Поучительнейшая, между прочим, историйка для пушистой киски... — Ада подхватила прядь волос Маши, приподняла к свету, поджала губы, и прежде, чем Маша успела отмахнуться, увидела на её шее синяки. — Вот тебе на! Я её за котёнка держу, а она уже кошка драная! А то, может, и в компаньонки ко мне подашься? В паре — лучше, и кавалеров полно!

— Нужды нет!

— Тогда слушай — про измену... Я тогда в десятом классе училась и с первым любовником своим месяца три уже встречалась. Любила его... Первая взрослая любовь! Ночами почти не спала: стихи всё писала. Хотела что-то необыкновенно красивое создать. Ему первому и начала тогда стихи посвящать, а до него — про закаты-цветочки сюсюкала. В школе, помню, за партой усидеть не могла — всё подпрыгивала: дожидаться никак не могла конца уроков, чтобы скорее домой бежать, к свиданию готовиться. Ха! Сейчас вот подумала: а ведь он совсем не по мне был, совсем — и характером, и складом души, приземлённый такой, неласковый. Не пел, не плясал, не играл со мной. Странно даже, что я втюрилась в такую дубину. Видно, по Пушкину вышло: «Пришла пора, она влюбилась» — без выбора. Здоровый, сильный был — и всё. Помню, лежали мы с ним как-то... За окном луна полная, ясная, как по заказу. Он на спине, я с боку его обняла, глажу грудь, ласкаю, рёбрышки перебираю. Грудь у него блестит в лунном свете. Уж как ликовала, что молодой красивый парень рядом наконец-то! И в самое ухо ему стихи шепчу, свои стихи, в первый раз читать решилась. Сама — какой восторг! — чуть не улетаю! Ясно помню: казалось, вся жизнь моя должна решиться, как только прочту! А он и не понял... Представляешь, рыбка? Что стихи посвящены ему — не понял. Что я в любви признаюсь

— не понял. Дворняга! Имени, фамилии в строфах не указала — он и не сообразил, о ком речь... Ладно! В летние каникулы уехал он, надолго. И как-то оказалась я в компании, на квартире, вечером. Очень весело было. В полутьме натанцевалась я тогда вволю, напрыгалась, платье даже на поясе... — да, я в том, малиновом, почти как у тебя, была — да, лопнуло на поясе и в бедре по шву разошлось... За танцами в бутылочку играли: перецеловались все крест-накрест, перещупались... Короче, развеселилась я в тот раз не в меру, разыгралась и — так, сама не знаю, как — в игре и отдалась одному. В кабинет заскочили, и — минутное дело — отдалась прямо на подоконнике. Ха! Слово-то какое неподходящее, старое — совсем не так отдаются. То-то и обидно, что не отдалась, а... — так... Ну надо же, и не скажешь: новые слова скабрёзные все...

— Может, «уступила»? — в волнении прошептала Маша.

— Нет! «Уступила» — вполне осознанный выбор предполагает, молчаливый сговор. А тогда — какой у меня выбор был? Была ситуация настроения — и всё. Теперь уж и не могу парня того вспомнить на лицо, да и не важно — с кем, а вся суть-то: не собиралась ведь изменять, ни секунды в своей верности не сомневалась. Я и понять-то поняла, что вот это и назовётся изменой, только когда с вечеринки домой вернулась и фотокарточку того, первого своего, из стола вынула, по обычаю, перед сном. Да! Помню, как взглянула, как дошло до меня — и в слёзы, истерика на остаток ночи... Да, то моё первое «левое» приключение достойно хорошей истерики... Потом на стенку лезла: как же, думала, ему объяснить, что моя измена не настоящая, ну не та, которую не прощают? И я тогда же обнаружила ещё, что нет ни души вокруг, никого, кто бы поддержал как-то, успокоил, присоветовал хоть что-нибудь. Отцу-матери такого не расскажешь. Ты бы рассказала?

— Не знаю, — выдавила из себя Маша. — Вообще я мамочке рассказываю всё, кажется...

— Ни за что не рассказала бы! Если б забеременела — другое дело, а так — ни за что! Одной бы переживать пришлось. Ну ладно. Потом узнаю: приехал. Жду — не зовёт. Ну, понятно: рассказали. Что делать? Самой его ловить — не то что боязно или стыдно, а унижительно как-то. Вот этот самый первый стыд девичий в зачёт мне на всю оставшуюся жизнь и пошёл! А в новых стыдах, как ты говоришь, нужды нет. И концовочка хороша — мотай на ус, котик. Приглашают, наконец, меня

в гости, подруга одна приглашает и, естественно, радостно так предупреждает: «он» тоже будет. Собралась, тряусь вся, являюсь, подхожу к нему. Отворачивается. Стою прямо перед ним, а он отворачивается! Но я всё же заговариваю, уж и просить прощения, кажется, начала, а он мне вдруг как заорёт в лицо: «Мотай отсюда, крыса!» Это при всей-то нашей честной компании! Гад! Я так и вцепилась в его телячью морду! Всю исполосовала! Ему, а не мне, уматывать пришлось, позорнику. Но бесчестие моё завершил вполне: такую кличку прилепил! Как хвост за мною по жизни тянется. Чуть что кому не по нраву скажу или сделаю — и сразу: «Крыса!» Даже отрежу завтра полноса — пластические хирурги давно склоняют, — всё равно, уверена, для всех останусь крысой! И даже «крысой из ада». Как жить посоветуете? Я всё к тому же возвращаюсь. А кроме немодельного носика, кстати, есть у моих телес кое-что и похуже — не при мужчине будь сказано. Я к таким женщинам отношусь: сегодня — девица, завтра — старуха. Мне осталось-то, может, с десятков лет полноценной жизни. Так чего ждать? Нечего мне ждать! Как я танцевать люблю, а когда и семнадцать-то лет было, никто сроду на танцах меня не приглашал — только самые пьяные и дефективные подходили. Верчусь, верчусь, подставляюсь — никто не пригласит! Банты — во какие нацепляла, — Ада широко развела и трянула руки над головою, — платя — не длиннее шорт, всегда без лифчика — простите, Иван Николаевич, — без лифчика приходила, чтобы партнёр соски ощутил, и не раз — вообще без нижнего белья. И всё без толку: одни насмешки! Всегда сама кавалеров приглашала, хитростью или силком танцевать волокла. Поищешь так, у кого лицо подороже, подойдёшь, пригласишь вроде бы шутя, наивной прикинешься, — она сощурилась на Машу, — а если и пойдёт, это ещё не всё, далеко не всё: мне кавалера разговорить надо, обязательно разговорить, расположить к себе, потому что с первого взгляда я никому не нравлюсь, трёпом беру. И вот стараешься, из кожи вон лезешь. Другие девчонки сразу глаза закатывают и кайфуют, а я ну вся в трудах: мне ещё понравиться надо, потому если в первую же минуту танца не сможешь завлекательной болтовнёй добиться внимания, то никакого удовольствия не получишь. И вот льстишь, заискиваешь, комплименты ему незаслуженные сыплешь, весёлой, на всё готовой прикидываешься — и это в семнадцать лет так унижаться! О-о-о, танцы многому меня научили! К королям танцуплек вообще не подходила: эти ещё на дальнем подходе

одним презрением во взгляде убьют. Какой партнёр неискушённый или в самом деле очень добрый окажется, тот может и улыбнуться из вежливости и даже как-то на комплименты мои растерянно ответить. А окажись поопытней — взгляд уведёт куда-то за спину, от бантов будто бы отстраняется, разговор не поддерживает, лицо нарочито скучающим делает, всем видом своим выказывает пренебрежение, за приглашение хочет меня наказать. Научилась я кавалеров сортировать. Попробовала бы не научиться: шестнадцать лет, семнадцать, восемнадцать — самый девичий цвет! — и никто за мною по-настоящему не ухаживал, на углах с цветами не поджидал, не подрался за меня ни разу, не заступился, когда обижали. Никто и ни разу! Здесь чему и не рекомендуют научишься, если в отбросы не хочешь угодить. Но ты, — Ада склонилась к самому лицу Маши, сощурилась, растянула губы в вульгарно-игривой улыбке, — ты не думай, краса лубочная, даже не надейся, что кавалеры мои такие уж никудашные все, зависти твоей не стоят. По Колычёву не суди: он только муж. А кавалеры мои теперь как раз твоей зависти и стоят! Гляди! — Она сдёрнула с барной стойки длинную гладко-лакированную сумочку и вытрясла на стол всё содержимое — платки, косметику, кипу бумажек и фотокарточек — и, лихорадочно расшвыряв бумаги, отобрала одну карточку и выставила её Маше в самое лицо. — Гляди, гляди на него! Сегодня утром, перед судом, у матери его взяла. Ну как, хорош мой принц? Хотела бы такого заиметь?

— Испортите вы его только... — тихо произнесла Маша, едва взглянув на карточку.

— Ага, завидно стало! Всего двадцать лет! Не испорчу, а научу. Любовью не портят. Завидный кавалер? А взялась бы — мог стать и мужем, к тому шло. Теперь не знаю... Ну что за судьи! Это же очевидно: всё подстроено её родителями! Он по наивности своей попался, уж я-то знаю! Той тётке в мантии я всё объяснила, расписала всю подноготную аферы с этой нимфеткой! Ну, судьи у нас ничего понимать не желают! А ты что понимаешь, святоша доморощенная! — Ада вновь кинулась к самому лицу Маши. — Что, что ты в нём можешь понять?! — Она затрясла перед глазами девушки фотокарточкой, смяв уголок. — Аплечи! Агрудь! Кожа! Ты способна их почувствовать?! Восточный мужчина! Ласковый, стремительный, сильный! Видала б ты его, когда он на поле в футбол гоняет! Его видеть нужно совсем рядом, трогать его, ласкать! Тело сухое, жаркое, как вулкан, лаву извергнет. Таких мужчин больше нет на свете!

Мышца каждая — на ногах, на спине, на животе — чуть он шевельнётся, двинется — вздрагивает каждая, завлекает, так и хочется её поймать! Плечи широкие, развёрнуты, перегораживают взгляд. А грудь! грудь! — кожа шёлковая, струится под рукою, гладить часами готова, да что часами — всю жизнь свою! Античная лепнина живота! Торс, как у фигуры атлета из альбома. Как он поворачивает голову, смотрит — бог! Ему — декораций царских и на троне сидеть! Как увижу, и тянет, удержу нет, броситься к его ногам, обхватить стопы, прижать к груди, зарыдать, умереть! Ничего не жалко, ни о чём не пожалею! Как в старых плохих романах, скажете, да? Смешно, да? И пусть! Но если помирать, так с этим впечатлением от обладания красотой! А то ведь споткнёшься и сгинешь в любой момент, и чёрт знает с чем на уме, со случайным чувством, с окаянной мыслью, да ещё с чужой. Нет, за таким мужчиной я хоть на край света побегу! Мы ещё подадим апелляцию, посмотрим ещё... А как он смотрит! Его взор! Вот именно взор! Кто в наше время, кто из мужчин может на женщину как следует посмотреть? Как они сейчас на нас смотрят? Равнодушно, пусто — и это не в худшем случае, а чаще — нехорошо смотрят, чванливо, пренебрежительно, а кто и откровенно по-хамски, с грязнотцой. Разве не так? Вдохновляющего взора нет. Который взял бы тебя за живое, наполнил бы тебя страстью и острым желанием взлететь — такого взора нет! Даже простого кавалерского зова не отыщешь. А он — он уже в детстве глядел проникновенно. Сейчас, сейчас я тебе покажу... — Ада метнулась к россыпи бумажек, выдернула две фотокарточки, выставила их, не выпуская из руки, перед лицом девушки и низко склонилась к карточкам сама. — Гляди у меня! Здесь ему, гляди, лет шесть. А какой уже взгляд! Тёмные глаза, переполненные, в них погружаешься без дна, тонешь. В них — видишь? — взрослая печаль, и грусть, будто мальчик уже обрёл недоступный другим опыт. А вот здесь ему всего два годика с месяцами, а взгляд — видишь? — уже с волнующей тайной. Какой мальчик! И я — первая женщина его, я! Теперь всё его детство, вся юность его, вся молодость — мои! — Ада распрямилась, с размаху пришлёпнула фотокарточку к груди и в исступлении откинула голову назад и зажмурилась. — Все печали, радости его, порывы, мечты, тайные слёзы, что его мамочка за ручку водила, из ложечки кормила — всё! всё моё! всё было для меня! — Она открыла глаза, опять склонилась к лицу Маши и, ударяя себя в грудь

рукою с зажатыми фотокарточками, почти закричала: — Я первая, я! Не ты, расписная, а я! Хороша ты, Маша, да не нова!

— Вы не только выкрали детские фотографии, — неожиданно резко сказала Маша, распрямляясь, — но и присвоили его молодость и красоту! А я уж было начала вам сочувствовать.

— Ха! Ещё одна сестра-сиделка объявилась, колврач от сочувствия! — Ада победоносно развернулась и продолжила уже через плечо снисходительным тоном. — И твою красоту, и твою молодость присвоит кто-то ну о-о-очень скоро — за первым же крутым поворотом. Ха! Сочувствует она мне! Как, однако, не терпите вы победителей в шкуре побеждённых! Привыкли: кто красив, тот и прав! А меня вот мама-папа не товарною произвели: бегать приходится, крутиться, подолом трясти, чтобы раздобыть кусочек от красот людских, сам собою он мне не перепадёт. И плачу я за эту добычу по высшей ставке: здоровьем, годами своими, неподвижением по службе, остракизмом достопочтенной публики, не говоря уж за презренный металл — это само собой.

— Иван Николаевич, — изумилась Маша, — как это: добывать себе красоту людскую?

— Ада Кирилловна имеет в виду, наверное, известный эффект выравнивания биологических свойств особей в группе под воздействием естественного отбора... Эффект этот распространяется и на пару муж жена, в том числе и на свойства внешности.

— Впервые слышу про такое, — живо заинтересовалась Ада. — Колычёв не очень-то меня просвещает по научной части. Ну и?

— Линней с уверенностью говорит о мощном переливании красоты между близкими людьми, хотя я...

— Точно! — Ада метнулась к Ямщикову. — Я буквально кожей ощущала, как его красота вливается в меня! Шёлковая грудь... Точно! Какую я себя в жизни только не перечувствовала: и эффектной, и интересной, и интригующей, и экстравагантной, но вот красивой, по-настоящему красивой я стала воспринимать себя только с ним в паре. У меня и кожа расчистилась и разгладилась, и белее стала: кому надо — это заметили. Так вот что переливание красоты... То-то я всю жизнь — инстинктивно, что ли, — стремилась быть с красивым рядом: до крови дралась за красивого партнёра на танцах, за красивую подругу, всегда к руководителю помоложе стремилась попасть, к сотруднику посимпатичнее, даже в общественном транспорте

по возможности жалась к прекрасноликим и статным. Ха! Неужели мне и от них — в нашем-то транспорте! — что-нибудь перепадало?

— Да, но... — Маша было замялась, но затем решительно продолжила, — если красота переливается, то ваш любовник тогда стал менее красивым от такой близости! Иван Николаевич, — с напором добавила она, — если Аде Кирилловне прибыло, то от него убыло?

— Естественно, — ответил Ямщиков. Он покосился на часы и вынул таблетку. — У переливания красоты те же незыблемые природные основы, что и у коллективного врача...

— Так значит... — в некотором ужасе сказала Маша, — если выйти замуж за некрасивого, то... Нечестно некрасивому жить с красивым!

— Честно! — Ада принялась засовывать бумаги и косметику в сумочку. — Ещё как честно! Потому что некрасивый содержит красивого. Встань-ка в рабочий день у входа в метро, в шесть утра, посмотри: одни корявые да тёмные едут. А в девять-десять к офисам на своих машинах подкатывают — будто совсем другой породы: гладкие, стройные, светлые, хоть картинку с них пиши. И в вечерней электричке пригородной в дачный сезон — я специально приглядывалась — ни одного красивого лица: ни мужского, ни женского, ни одной стройной фигуры ни в вагоне, ни на перроне: все добытчики пропитания — изношенные страшилища. И в тот же вечер сходи на спектакль в драмтеатр: вот где малина — слюнки у любой потекут, какие там мужчины ходят, пусть и одеты неважно. Есть, конечно, исключения, но правило: некрасивые кормят красивых. А за прокорм платить надо. Так что...

— Моя подруга выглядит не совсем... — задумчиво и тревожно начала было Маша.

— Значит, качает твою неписаную красоту, а расплачивается, скорее всего, активностью, деньгами, тряпьем. Ведь заводила среди вас двух — она?

— Она...

— И малиновое платье её?

— Её... Я поняла теперь, почему тогда... — я как-то поздно домой возвратилась — мамочка разругала меня, я ещё обиделась, с пристрастием таким спросила: «Зачем ты связалась с мокрой курицей? Покрасивее не могла найти?»

Глава 5 АЛХИМИК

— Волчок! Колычёв в машине. Тронулись. Линнея нашли?

— Улетел в Новосибирск. С бортом уже поздно связываться, поймаем его в аэропорту. Обратные рейсы удобные, но наш Курумоч может не принять: циклон зарядил как минимум до утра.

— Брату вашему, Марья Сергеевна, опять не повезло. Волчок, сегодня меня достал кризис, скорее всего возрастной... Ещё и светофор красный! Ну на каждом перекрёстке — обязательно красный! — Ямщиков кинул на оцепеневшую Машу воспалённый взгляд. — Стал на подъёме, ещё не хватает забуксовать... Волчок, моё решение: до возвращения Линнея дублировать его буду я, а хирургию и общее руководство лечением больного Саблина возлагаю на Кускова. Докладывай!

— Нотариус прибыл, — ответил Волчок. — Родители больного — тоже. Сейчас знакомятся с документами. Родители пока что пусты: как-то неважно им дочь объяснила, что нам от них нужно. Привезли-таки пару сносных фотографий: морфотип больного достаточно распространённый в Самаре, проблем с двойником, думаю, не возникнет. Изображения я передал в работу: адреса двойников обещали к трём часам. Мать больного, учти, Ямщик, настроена агрессивно: простыми доводами не проймёшь.

— Будем на месте через двадцать минут, — сказал Ямщиков.

Он выключил связь и взглянул через зеркальце на Колычёва:

— Решил всё же уходить из бригады?

Колычёв перестал щипать несуществующую бородку, втянул в себя воздух, задержал надолго, тихо выдохнул:

— Да. Дублёр вернётся — уйду в алхимики, кличку свою оправдывать. Опять собой не владею — в смысле, временем своим. Уйду из бригады, сбегу от жены — всё одним разом...

— Я не отговариваю, но проясни. Ты первый уходишь: чтобы дурным примером не обернулось.

— Знаешь, как зовёт меня за глаза моя благоверная? Лабораторной крысой.

— Вас — крысой?! — полуобернувшись, вскричала Маша. — Вы герои, творцы — я читала. Сама она!..

— По телефону болтала как-то с подругой, забылась, а я дома был, и говорит: «А мой белый крыс...» В другой раз задрала планку до «сивого мерина». До чёртиков обидно, потому что отчасти верно. Я работаю, Иван, давно уже только ради вас с Линнеем, ради вашего дела. Ну не совсем вашего — общего... Вернее, начинал — ради общего, а теперь нет больше у меня времени на общее дело. Даже, прости, на прекрасную нашу компанию нет больше у меня времени: творческие годы уходят. Перегореть боюсь, если не уйду сейчас. Опять чувство, что бегаю как ипподромный мерин по корде. А мне нужно делать что-то своё, законченное. Чтобы называлось «Мазь Колычёва», как «Мазь Вишневского».

— Твои биохимические анализы так нужны...

— Да знаю я! Сейчас о «мере» скажешь, жизнь человеческую сравнишь с пользой от какой-то там мази, которой лечат чирьи, свищи. А ты мою жизнь измерь.

— Давай! Ты не один такой: каждый из нас в той или иной мере взнудан, и все гоняем по кругу на крепкой верёвке, гоняем с самого рождения своего — жизнь так устроена.

— Верно, — живо подхватил Колычёв, — именно «в той или иной мере». В том и дело, кто как эту меру для себя определяет. Одни «просто живут». Этим и незачем из замкнутого круга наружу рваться. То есть я плохо сказал: они и не думают, что обретаются в загоне. Другие ставят перед собою всякие немудрёные задачки. Эти довольствуются тем, что время от времени вырываются из круга. Но и такие есть, кто живёт как бы со сверхзадачей в бедной своей головушке, и живёт так с самого молодю, а иной — с самого детства. Я из таковских. Невыносимо мне годами ощущать себя гоняемой по корде цирковой лошастью, пусть и с роскошным султаном на голове.

— Гоняемой? — Маша снова обернулась к Колычёву. — А кто вас, собственно... — начала было она спрашивать, но запнулась.

— Есть такие, — с горечью усмехнулся Колычёв, — далеко искать не надо. Мать, отец, брат, дети, друзья лучшие, учителя, просто чужие люди, но которых за что-то уважаешь. Чем ближе человек, тем больший твой гонятель.

— К маме своей вы несправедливы, — наставительно сказала Маша. — Она добрейшей души человек и вас больше самой себя любит. Честно!

— В том и трагедь, девушка, что — мать, и очень любит сына: ни в чём ей отказа от меня не должно быть.

— Отказа? Конечно, не должно. А в чём вы Галине Васильевне отказать могли бы? В магазин за хлебом сбежать? Это долг сыновний.

— Всё верно: это долг сыновний, и я его признаю. Как и то, что надо приобщать детей к труду, учить их беречь заработанную копейку, и так далее, и тому подобное. Но! К какому труду именно? Вот есть дети с неопределимой словами сверхзадачей. Их к какому труду приставлять? Землю лопатой копать? Заниматься хозяйством, бизнесом? Плохо им становится от таких занятий, самоубийственно плохо, жизнь становится в тягость. А куда смотрят взрослые — родня, педагоги? Взрослые, как толпа косолапых Михаил Потапычей Топтыгиных, проходят мимо такой определяющей черты в своих детях, в упор её не видят. Проходят, по сути, мимо редких, лучших черт в собственных детях. Нашим топтыгиным прекраснодушным невдомёк, что это только телесная масса и интеллект у человека накапливаются долго, десятками лет, а духовный заряд — и гигантский! — может накопиться уже в отрочестве. Мальчиш-Кибальчиш, Гаврош, Элли из Изумрудного города, разве они — в тщедушных оболочках — не духовные гиганты? Когда я был подростком, ощущал себя носителем особого предназначения, некой миссии перед людьми, перед всем миром. Жил в таёжной глуши, среди медведей, а видел себя перед всем миром! В те годы охватившее меня томление толкало на поиски своего предназначения. Думал: чего я хочу? А хотелось мне отличиться в чём-то необычайно хорошем, до чёртиков хотелось. Но как отличиться-то, как? И тогда я впервые столкнулся с мыслью: мне элементарно не хватает времени, чтобы всё как следует

обдумать. Вы представляете себе жизнь мальчика в таёжном посёлке?

— Представляем, — сказала Маша. — Кругом природа...

— Для туристов — да, кругом природа. А для меня — кругом сараи и глухие заборы. На подворье скот и птица — все пылят, орут, пахнут, гадят. Кошки-псы визжат, рычат, гавкают, дерутся, воют дённо и ночью. И вся эта животины бесконечно требует есть, пить, мыть, доить, чистить, а то и поиграть, приласкать или от паразитов избавить, прививки сделать. Как только не стал я душеителем всего живого?.. Под окном трактор соседа-механика копит и тархтит часами, а иной раз, зимою, когда сильный мороз, и всю ночь. Кругом грязь непролазная, на дорогах ямы — дна не видно, колея выше колена. Школа и магазин в посёлке — у чёрта на куличках: в один конец без малого полчаса в пудовых сапогах идти. И изо дня в день будь любезен, сынок, копать, рубить, пилить, таскать, строить, ломать, чистить, красить, подправлять, сажать, собирать, колотить, за чем-то сбегать... О, это отеческое: «Колёк, ну-ка, сбегай!» У меня в печёнках «ну-ка, сбегай!» сидит! А эти вёдра, лопаты, вилы, носилки, бочки, косы, шланги, пилы, топоры, гвозди... — я до сих пор на них спокойно посмотреть не могу! А навоз, глина, песок, земля, вода, опилки, доски, солома, сено, комбикорм? А дрова, металл, живица, а камень ломать в горах? Сколько тонн руды я руками перетаскал! А заготовки плодов: грибы для засолки, грибы для засушки, грибы для жарёхи? А морошка, клюква, голубика-брусника всякая, дикая малина вдоль ручьёв, а шиповник, будь он трижды неладен?! А орехи кедровые колотушкой сшибать, травы лекарственные на заварку копнами собирать, а мёд качать, картошку копать, рыбу ловить круглый год, на охоту ходить — на лосей, на кабанов, на медведей?

— Вы ходили на медведей?! — воскликнула Маша.

— Приходилось. Когда объявится у посёлка шатун, всем миром идём, иначе и скот, и лошадей, и всех кобелей переломает. Ещё на мне висели сараи, подвалы, чердаки, теплицы. Ещё кучи, которые нужно разбрасывать, ямы-канавы, которые нужно засыпать, заборы-изгороди, которые нужно ставить или чинить. И везде гвозди ржавые, стекло битое, проволока вострая, провода какие-то, искры летят. А лесные пожары тушить, а снег расчищать? А гнус, а комар, а клещи? Сколько себя помню: занозы, порезы, ушибы, растяжения, два перелома, привычный вывих плеча... Кровь из меня рекой текла. И всё

это, девушка, мой долг перед родными людьми, я так его принимал, потому что все так делали, это правильно, и нельзя возмущаться. Противостоять родным людям труднее, чем врагам. Всю юность я прожил с убеждением: настоящая жизнь пролетает мимо меня, всё в мире не для меня делается и не для меня случается, а ко мне если и попадёт что-то, то случайно, по недоразумению. И обо всём, что мне нужно было, я должен кого-то просить, а если не дадут, то добывать самому. Просить стеснялся: гордость, наверное, не позволяла кланчить.

— Вы так и прожили юность без самого заветного? Быт заел-таки?

— От заветного своего я не отступал, но и приблизиться к нему никак не мог, ну никак! А боролся упорно, прямо-таки бился за свободное время...

— Мне тоже не хватает свободного времени, — озабоченно сказала Маша. — Но бороться с мамочкой... не убирать квартиру... не ходить в магазины...

— Не «не ходить в магазины», а бегать в магазины. Я бегал — и это было моим способом борьбы за свободное время, то есть за свою заветную жизнь. Скажет родитель: полоть огород. Надо полоть огород? Надо, о чём речь, самому же с него харчиться. И я бегу и в темпе принимаюсь полоть. А в голове — тук-тук-тук! — одна мысль: поскорее закончить, чтобы потом с чистой совестью заняться своим делом или, если желаете, своим ничегонеделаньем. Но «поскорее закончить», девушка, — продолжал Колычёв, заметив разочарование в лице Маши, — означает для меня отнюдь не тят-ляп, а только непрерывность работы. Скрупулёзность — свойство натуры людей моего типа. Вот те, кто преимущественно языком и ногами живут, — вот они смело идут на небрежность, лишь бы вовремя отрапортовать, дело с плеч свалить.

— Ваш брат, похоже, именно такой, — обратился Ямщиков к Маше.

— Ваня пойдёт на небрежность?!

Маша надулась и отвернулась от Ямщикова.

— В этом ничего обидного нет, — сказал тот. — Ваш брат предпочитает быстроту завершения дела, а где максимальная скорость — нет качества, это естественно.

— Я, — продолжил Колычёв, — вкопал на огороде два столба, повесил на них прожекторы и летом работал ночами — поливал, окучивал, полел. И так во всём. Скажут: копай — копаю,

не считаясь ни с чем — обедом, временем суток, погодой, усталостью, потёртостью ладоней. Скажут: носи — ношу-надрываюсь, жилы тяну, искривил позвоночник, грыжу нажил, а ношу без остановки. Скажут проклятое: «Колёк, сбегай» — бегу что есть мочи... И таким путём я заслужил в посёлке статус примерного сына-помощника. Все поручения по дому, по школе, по общественной части — все выполнял обязательно, безукоризненно и в отмеренный срок. Вот и поднаваливали забот больше, чем другим. И круг замкнулся... С отрочества, Иван, с самого отрочества погружение в заветное приходилось ежедневно откладывать на потом, на когда-нибудь. И я стал привыкать к состоянию конформизма, как привыкает человек к хронической болезни.

— Это я понимаю, — внушительно сказала Маша. — Но ваша мама не виновата. Да и как отличишь в подростке — сверхзадаченный он или бездельником растёт? У меня дети пойдут — как я отличу?

— Я не виню никого, ни боже мой! У поселкового сибирского люда откуда тонкости взяться? Моя западня не врагами устроена, а житьём-бытьём самых что ни на есть простых людей. А вырваться можно было? Можно. Но одним только путём — бежав из родного дома в большой город. Я и думал о побеге, не раз, планы строил, но так и не решился до конца. Вернее, сбегал дважды, но через пару-тройку дней возвращался — молча. Потому что — ну как же, знал: мать убиваться станет, да и занятия в школе пропускать нельзя. Да и, чего скрывать, уставал быстро, не высыпался, и кушать хотелось до смерти: о хлебе насущном, оказалось, заботиться надо, о ночлеге, а я-то сбегал, чтобы думать о заветном и претворять. Да-а-а... Не хватило характера... Просто характера не хватило, чтобы через родню, через друзей, учителей перепрыгнуть, через пресловутый долг свой.

— А вы знаете, Иван Николаевич, — сказала вдруг Маша, — я ещё одну кличку Ванину вспомнила: «Муравей». Его так бабушка наша зовёт иногда — за бескомпромиссность. Ну и за всё прочее муравьиное: что трудяга, суетится вечно во благо семьи, в дом несёт, и всё такое, но главное, это я точно знаю, — Маша обернулась и горделиво взглянула на Колычёва, — за его бескомпромиссность в отстаивании всего своего.

— Я и говорю о себе: законченный конформист, — вымученно улыбнулся в ответ Колычёв. — И по странной случайности,

девушка, бескомпромиссность муравьёв — не отвлечённое для меня понятие, а, пожалуй, близкое — посвоей противоположности. Я по сию пору восхищаюсь бескомпромиссными поступками людей, Линнея особенно, а когда-то, в ранней юности, первый урок преподали мне именно формики — рыжие лесные муравьи. Бесплезный урок. Я тогда начинал помогать отцу собирать живицу. Работали в назначенных в рубку перестойных сосняках, а на делянках полным-полно было громадных муравьиных куч. Некоторые высотой до плеча моего доходили. И пристрастился я схватки меж разноплеменными муравьями затевать. Какие только сюжеты битв не испытал: то малюсеньких чёрных мирмиков откапую из земли и подкину на кучу к большим рыжим, то с поляны жёлтеньких лазиусов принесу на лопате, вместе с землёй, и на головы здоровенных чёрных древоточцев на трухлявом пенёчке ссыплю... А итог был неизменным: следовала мгновенная схватка не на жизнь, а на смерть. И главное: схватка происходила невзирая ни на какие исходные условия. И вот это «невзирая» ещё в детстве восхищало меня. Ну на что может рассчитывать слабенький почвенный копуша лазиус двух миллиметров длиной, вцепляясь в лапу мощнейшего полуторасантиметрового древоточца, который своими мандибулами может бревно в решето искрошить? А сейчас... Умозрительно если, я уважаю людей, могущих поступать «невзирая». Уважаю как носителей недоступного мне свойства, ценного для человечества. В тебе это, Иван, уважаю, в Линнее особенно. Но нахожу это свойство несправедливым в отношении любого иного человека. Да, несправедливым! Что есть в эволюционном смысле свойство индивида поступать «невзирая»? По-моему, это фактор собственного выживания в ущерб другим в группе.

— Но фактор «невзирания» компенсируется, Николай, — откликнулся Ямщиков. — Этим «невзирающим» крутенько самим воздаётся, ой как круто. Ты вот жив-здоров, а поднимать от земли едешь как раз такого несправедливого и «невзирающего» и, кстати, бездетного. Такие часто все исходят на борьбу, на отстаивание всего своего, а времени и физических сил на воспроизведение у них не остаётся. Принцип «Всё или ничего» — он для миокарда. И у меня, и у Линнея тоже детей нет, а половина репродуктивного возраста уже позади. Вот и выживи тут, «невзирающий». Кто в старости воды поднесёт? У тебя, Николай, худо-бедно, парочка чад имеется, кормильцев

и защитников будущих, а с любимой женой, глядишь, и четверых нажил бы...

— А зачем вы женились на ней? — спросила вдруг Маша, обернувшись к Колычёву. — Разве не видно было человека, пока в невестах ходила? Вы же муравья насквозь видите! Как только вы можете — после такого! — соглашаться жить с нею?

— Этому соглашательству, чудо-девушка, сегодня пришёл конец. А как женился... Женился-то я за один вечер, даже за час, зато сходилась лет десять, не меньше. Какие пути-дорожки сводят его и её на семейную стезю — не сто́ит и гадать, но некая предопределённость, думаю, есть. Я почему-то ассоциирую отправную точку нашей с Адой встречи с одним событием в детстве... Во все летние каникулы я помогал отцу собирать живицу. И, бывало, насечки на стволах мазали кислотой — чтобы усилить истечение смолы. Запрещённый, конечно, приём, но я тогда этого не знал. Как-то работал я на делянке в одиночку и забрызгался кислотой, даже, можно сказать, облился. Тепло было, раздет по пояс был — гнус не сильно донимал — и сжёг себе кожу на груди, на руках, чудом на лицо не попало. Выступили пятна. Они и по сей день при мне, родимые, давно перестал на них внимание обращать, но в то время сильно переживал. Пришёл как-то на речку, разделся, а ребята ну хохотать — беззлобно, конечно. Девочки тоже были, одна мне нравилась. Подбежали и они поглазеть — фыркать стали. Одевся я, ушёл и с той поры девчонок сторониться стал, а те — меня, как прокажённого. Я и танцевать не выучился поэтому: боялся получить отказ — и не приглашал. Мать с отцом успокаивали как могли, на соседей указывали: там супруги паром в котельной ошпарились — и живут себе! Но я-то готовился не к поселковой жизни, а к покорениям, к учёбе в Москве. Что ж мне в столице запахнутым стоять, стенку подпирать, а вокруг красивые парочки будут прогуливаться? Эх, и обидно до чёртиков мне становилось от мыслей таких — ну что красивые девочки не станут со мною под ручку гулять. Фильмов посмотрелся — и завидовал впрок. А потом как-то баночку с вазелином в руках держал — и осенило: это ж стезя моя заветная! Раз и на веки вечные осчастливорю того, кто, стоя перед зеркалом, страдает от созерцания паршивой кожи своей, тайно страдает, один на один против всего красивого мира. И никто-никто пока не знает, думал я, что появился уже на свете человек, способный

эликсир красоты сработать — в скором будущем, когда вырасту. Я был уверен тогда: никто до меня даже не пытался по-настоящему такой эликсир составить — в сказках, понятно, не в счёт. «По-настоящему» — это значило ценою приложения неких безмерных усилий, даже, пожалуй, не мешало бы ценою личной жертвы. Да, помнится, я стремился именно к жертвенной работе. А наставником был учитель химии. Станный человек, пришлый, ни кола ни двора, проштрафился где-то, у нас обитал на добровольном поселении — он-то и подготовил меня к университету. Сделали в старой бане настоящую лабораторию. Когда отец новую баню срубил, я не дал старую ломать, а все лавки-полки выкинул, вытяжку поставил, печку из огнеупорного кирпича выложил, чтобы стекло дуть, в общем, чудо какая алхимлаборатория вышла! Особенно я смолы полюбил. Медицину изучать стал, а все наши рецептуры пробовал на себе и на добровольцах поселковых.

— И ходили? — спросил Ямщиков.

— Ещё как: полно болячек у людей. Придут — кто мажется, кто так часами сидит, не выгонишь.

— Помогало, что ли? — совсем уже заинтересовался Ямщиков.

— Объективно — вряд ли. Кто говорил — помогает, кто — нет, но выдающихся побед, конечно, не было. Экзему, впрочем, грибок на руках-ногах, лишай у собак — лечил запросто.

— Значит, за атмосферой ходили, — сказал Ямщиков удовлетворённо. — В алхимклуб за общением с колврачом.

— За атмосферой колврача?.. — Колычёв, прищурился глазами и потирая несуществующую бородку, на минуту задумался. — Очень может быть... Атмосферка была в моей баньке, конечно, жизнеутверждающей, бодрящей. Ну а затем поступил на химфак и с первого же курса стал сотрудничать с лабораторией косметических препаратов. Работал над модельной рецептурой из новейшего сибирского сырья, причём быстро добился самостоятельности. Но обстановка в альма-матер не всегда мне с руки была. Я у этих зазнаек городских все годы учёбы в лапотниках проходил, в дикарях. «Глухотка» — и всё тут! Ни к одной компании прибиться не сумел: как приближусь — помыкать начинают, я и бегу. Кличкой зато наградили: «Алхимик»...

— А с девушками гуляли? — спросила Маша.

— Куда там! Я как эти табуны красоток увидел, перепугался до чёртиков, ещё сильнее зажался. Бойкие такие, идут — толкаются, копытами стучат, курят, ты ей слово, она в ответ — десять и комментирует вслух всё, что видит, никакой задушевности.

— Не все такие, — сказала Маша с небольшим нажимом.

— Ну, думал, покажу я вам, парнокопытные мои! — улыбнулся Колычёв своим мыслям. — В ногах валяться будете, не предо мной — перед косметикой моей. Запатентовал сначала два препарата... А в общем, позорно остыл я к болям человеческим: всё пятна пигментные выводил на добровольцах и прочей дурью маялся, к модному делу старался прибиться. И вот пятикурсником делал обзорный доклад на международной конференции по косметическим препаратам. От его успеха моё «модное» будущее зависело — так выложилась полностью. Начинал с Овидия: «Розы сухих лепестков набери, сколько схватишь в пригоршню. Ладан мужской подмешай к ним и Аммонову соль...» Миру доказывал, что сибирская тайга — непочатый кладёз косметики. Очень, считал, актуально это для мира... А по окончании докладов, когда в фойе вышли, ко мне подкатила Ада Кирилловна и таких комплиментов навешала!..

— Как интересно!.. — выпалила Маша. — Я хотела сказать... Неужели у вашей супружеской пары как у всех начиналось? Зачин хотя бы счастливый был или?..

— Зачин был всё же с леса, с ожога кислотой, — после небольшого раздумья сказал Колычёв. — А в тот миг... Она стояла прямо предо мной, вплотную, чуть не прижимаясь, я дыхание её ощущал своим лицом. И говорит, говорит, говорит восторженно! А я стою и не верю: «Не может быть! Это всё она обо мне?!» Но её глаза — вот они, перед тобою, они не лгут. Охватило чувство, будто жар-птицу за хвост ухватил и возношусь... Ещё до окончания своего доклада уверен был: теперь меня ждёт настоящий успех — полный, а не только деловые предложения от косметических фирм. Сегодня оглянешься на себя, молодого, и даже неловко станет: ведь и тогда вроде дураком не слыл, а так влип...

— Восторг дурачит, — кивнул Ямщиков. — Ты бы в тот день мог запросто влюбиться и в дождевого червя, умеи тот развешивать комплименты.

— Долго мы в тот вечер гуляли по набережной... Как в кино... Есть в ней всё же что-то такое, привлекательное для мужчин, для многих, и мальчишек...

— Мальчишки ей уступают просто, — гневно сказала Маша. — По слабости характера. Себя пока ценить не могут, дурачки.

— А я был счастлив с ней в ту ночь. Предложение сделал... Зубы её влажные в темноте блестели, как фарфор. В глазах огоньки играли от дорожек света на воде. И она счастлива была — сияла вся, здесь не обманешь. Это когда ещё потом я жизненные установки её понял...

— Какие установки? — полуспросил-полусказал Ямщиков. — Каждый мужчина — новое наслаждение, живи с одним — наслаждайся с каждым?

— Ну, честно, — подхватила Маша, — она катится по наклонной и всех на своём пути сшибает! Вы на ней женились и, может быть, спасли от гибели на скользкой дорожке, а где благодарность?

— Будет, будет вам наступать, — смутился Колычёв. — Как женился, сразу стал пахать ради жены. Так для себя и определил: работаю для жены — временно. Она одна в большом городе загоняла меня больше, чем весь быт в леспромхозном посёлке. Подай ей успехи показушные, развлечения престижные — это чтобы похвастаться чем было, подай товары заморские и лучшую еду, и, главное, — вещи, вещи, вещи! И подвиги ради неё подай. Лечил её: очистка организма, дубаж печени, мезотерапия, клизмы с травами, отвары, мази составлял... Но если природа очень серьёзно недодала, лечение не поможет, разве что самую малость. Прыгал вокруг жены, а подумать о своём опять некогда. А когда любовь кончилась, наступило время работать уже ради ребёнка и ради матушки — она состарилась как-то сразу, на их орбиты попал, матушкины представления о городском преуспейнии оправдывал. Ещё несколько лет в этой круговерти ухлопал. Потом, Иван, с тобой встретился. Большое дело меня окрылило. Но у колврача не определишь: что сделал лично я, какова моя роль в конечном результате — выздоровлении либо смерти больного. Ваша с Линнеем маниакальная взыскательность к делу мешает его завершить, и оно остаётся как бы полуфабрикатом. В нескончаемой погоне за призраками я простые жизненные приоритеты растерял. Всё смешалось: работа в бригаде, мужская дружба, семья — всё! Опять, вышло,

не своим делом я занят. А годы бегут. «Мазь Колычёва» и новая семья — с этого дня вот мои новые цели. Мои!

— Работая в одиночку над «Мазью Колычёва», ты опять станешь любителем.

— Противопоставлять любителей и профессионалов имеет, конечно, смысл. Только, замечу, Ноев ковчег построил престарелый любитель, а «Титаник» строили лучшие профессионалы. Всё: возвращаюсь в алхимики...

— Да-да... Мне наука — о кадрах, — Ямщиков притормозил перед поворотом. — А я думал: погоня за призраками — в самой натуре алхимика. Ага, карета уже здесь...

Когда они вошли в приёмный покой клиники, навстречу поднялась дородная женщина с признаками быстрого исхудания на лице:

— Марья! Девочка моя!

Вслед за женщиной поднялся высокий худой мужчина и стал разглядывать Ямщикова и Колычёва.

— Вы подписали, что требуется? — спросила Маша, расстёгивая куртку.

— Детка моя! — грозно воскликнула женщина, оттягивая край свитера на Маше. — Как прикажешь понимать этот маскарад? Что всё это значит? — обратилась она резко к подошедшему Ямщикову. — Вы руководитель бригады? Я Саблина Антонина Матвеевна. Мать!

— Да-да, — заторопилась с объяснениями Маша и неловко взяла Ямщикова под руку. — Это Иван Николаевич. Я же всё объяснила по телефону. Прошу, мамочка, не обижай Ивана Николаевича своим тоном.

— Пожалуйста, замолчи! — резко сказала Саблина. — В наших больницах скромность опасна для жизни! Я и тысячу людей разобидеть готова, лишь бы дочь от несчастья уберечь. Сына вот не уберегла уже!

— Ну почему меня — сразу от несчастья?! — рассердилась Маша и уже с вызовом крепко прижала к себе руку Ямщикова. — Я люблю... полюблю Ивана Николаевича: в жизни, может, всякое случается...

— Что ты такое говоришь?! — Саблина негодуяюще смотрела то на Машу, то на Ямщикова. — «Люблю-полюблю» — допрыгалась, коза?! Вы что — уже?..

— Ничего не уже! — притопнула ногой Маша. — Иван Николаевич сделает мне предложение, когда нашего Ваню поднимет от земли! Так надо!

— Ты слышишь, отец?! — даже не оборачиваясь к стоящему позади неё мужу, почти закричала Саблина и уже с открытой ненавистью в глазах подступила к Ямщикову. — Ещё один ночной охотник объявился! Ловит глупышку за спиной родителей, хочет схватить и угнать! Пользователь на бедах нашей семьи! Какая низость!

— О моём предложении Марье Сергеевне уже знают десятки людей, чьим мнением я дорожу, — угрюмо процедил Ямщиков.

Он слегка отстранился от Маши и стоял перед её матерью прямой, суровый, скрестив руки на груди.

— Ну уж нет! — воскликнула Саблина. — Я не подпишу! Ваня останется здесь, а мы поехали домой!

— Лечащий врач, Котов... Погоди, Тоня. — К Ямщикову шагнул Саблин. — Нас предупредили о серьёзной опасности перевозки...

— Простите! — перебил Ямщиков. — Нет смысла говорить об этом. Что вас интересует: техника перевозки или конечный результат? Статистика у нас значительно лучше, чем даже в Склифосовского. Вас же познакомили. — Ямщиков кивнул на пачку бумаг в руках Саблина. — Я ради вашего сына сломал график работы бригады.

— Серёжа! — взялась Саблина за плечо мужа. — Да ты посмотри, как они оба выглядят! Врачи, называется: под глазами мешки, серые оба, сами больные какие-то, пьяницы беспробудные, верно. От горе-бригадира вину несёт! Он в гололёд за руль садится пьяным! И таким Ваню отдавать?! Я не подпишу, Серёжа, хоть режь! Завтра иду в суд!

— Папа! — крикнула Маша яростно и со всей силы топнула на отца ногой. — Я — или!..

Воцарилась тишина. Ямщиков по-прежнему стоял, скрестив руки на груди и расставив ноги, и воспалённым взглядом упирался в группу людей, незадолго до того вошедших в приёмный покой и молча ожидавших развязки. Колычёв, закинув голову, разглядывал семейство Саблиных и как-то печально и вместе с тем одобрительно всем им по очереди улыбался. Саблина, кусая губы, оглядывала присутствующих, топталась на месте, сжимала кулаки и, наконец, дёрнула голову в сторону мужа:

— Ну!

— Одной моей подписи достаточно будет? — тихо произнёс тот.

— Вполне, — ответил человек из группы. — Я нотариус. Правило такое: если нет согласия между родителями, то решение могут принимать и другие совершеннолетние члены семьи. Мы подтверждаем дееспособность и согласие вашей дочери, так что, господин Саблин, пройдёмте со мною: я ознакомлю с условиями, и вы, как представитель больного, подпишете.

— Мать для вас не помеха... Учти, Сергей! — крикнула Саблина вслед уходящему мужу. — Если с Ваней что-нибудь случится, не прощу никогда!

— Стойте! — сказал вдруг Ямщиков властно и громко. Все обернулись и замерли. — И вам надо подписать, — с нажимом обратился он к Саблиной. — Дело решённое, но согласие матери больного сегодня особенно важно.

— Оставьте мою дочку в покое, тогда хоть приговор себе подпишу! Оставьте! Она девочка необыкновенная, уязвимая, легко пропасть может. Её замуж выдавать надо по-хорошему, по любви, а не по обстоятельствам. Откажитесь от своего предложения. Оно, если хотите, нечистоplotно! Вы взрослый человек, она — мелкая ещё совсем, зависимая. Вздумали мимоходом пробежаться насчёт клубнички. Видели бы вы её недавно, больным подростком — не посмели бы такое предложить. Серёжа, в чьи руки отдаёшь сына!

— Мама! — чуть не плача, воскликнула Маша. — Обо мне потом договорим. Ты портишь впечатление врачам перед работой!

— Замолчи! Мне жизнь испортили! «Потом договорим»... Потом я, в лучшем случае, получу сына-инвалида в колясочке, а за это ночной вор единственную дочь уведёт — спасибо не скажет. А мужу, — ринулась она опять к Ямщикову, — осталось два года работать, и предупредили уже: уволят на грошовую пенсию. А бабушка, мама моя, слегла, и век её короток. Как жить прикажете?! С кем жить?! На глазах семья рассыпается — и не поделаешь ничего! Строила-строила, лепила-лепила, и на тебе! А за что мне такая кара? За что?!

— Нечистоplotности в моём предложении нет, — побелев, выдавил Ямщиков. — Повторяю: для больного крайне важно, чтобы его мать помогла в процедурах или хотя бы не препятствовала, даже в речах. В реанимации каждое

противное слово — метафизическая пуля для больного. Не стреляйте в собственного сына.

— Пойдём, Тоня, — Саблин взял жену за руку. — Хуже не будет. Статистика лечения у них в самом деле значительно лучше: документ правительственный, — он взмахнул рукою с пачкой бумаг. — А здесь?.. Ну, чего ему здесь лежать? Движения нет, он тает. Какой может быть суд? Уже растаял почти за эту неделю, сама видела. Идём, подпишем...

— А о деньгах ты подумал? — как-то вдруг смиряясь и даже с глубоким облегчением тихо сказала Саблина, трогаясь вслед за мужем. — До окончания дней своих выплачивать будем, ещё и на Машкину долю останется...

Когда они вышли, Маша подалась было к Ямщикову, но тот остановил её движением руки. Мимо быстро катили носилки с куполообразным закрытым верхом.

— Кусков! — позвал Ямщиков одного из сопровождавших носилки людей. — Примешь больного сам, я не пойду. Отца возьмёшь с собой, а я увезу мать — её надо готовить. Ну, руководи! — Ямщиков пожал руку коллеге и через силу улыбнулся. — Вперёд!

— Только вперёд!

Кусков просиял и бросился догонять своих коллег.

— Нужно было почаще мне знакомиться с роднёй наших больных, — сказал Колычёв. — Действует вдохновляюще.

Всю сцену в приёмном покое он простоял за спиной Ямщикова: отирал испарину, поправлял промокший ворот рубашки, а то оглаживал плоской ладонью махры на голове или щипал несуществующую бородку и часто, приопустив голову, косился поверх очков на Машу и что-то себе подшепётывал.

— Пойду в карету: с мыслями соберусь...

Колычёв ободряюще кивнул Маше и направился к выходу.

— Вы простите мою мамочку, — молитвенно сложив руки на груди, подступила Маша к Ямщикову. — Она эти дни сама не своя. Я потому и предупреждать её не стала, что к вам хочу обратиться. Как некрасиво получилось...

— И не такое бывало: мы привыкшие. Помогите вашу маму переломить. В таком настрое её нельзя к больному допускать. Сейчас мы втроём поедим к вам домой, и вы, Марья Сергеевна, должны во всём держать мою сторону. Не мою — линию коллективного врача держать. Я не имею права сильную мать потерять из процедур. Вы скоро всё поймёте...

Глава 6

Отрывать от земли

— Гарантируете, что Ваня не узнает о моих ответах? — Саблина отстранилась от клавиатуры ноутбука и, отвернувшись, стала смотреть через боковое стекло автомобиля на размазанные силуэты проносящихся мимо домов. — Беспощадная анкета у вас. Сразу видно, не любящие отцы-матери её составляли. Как мясники набросились, как мясники... Ничего святого...

— Гарантируем, — машинально ответил Ямщиков, опять тормозя на красный свет, — о ваших ответах он не узнает никогда...

— Потому что умрёт! — вскрикнула Саблина и разрыдалась, сотрясаясь всем телом. — Добивать его повезли... Чувствовала я... Не могло быть так долго всё хорошо... Половина мужчин в нашем роду не своею смертью гибнет... Что революция, что война, что мир на дворе — всё одно: половина уходит... Вот и мой черёд платить пришёл. А за что?

— Мамочка, погоди убиваться! — Маша сзади обхватила мать и крепко прижала её к спинке сиденья. — Спасут Ваню, я верю! У Ивана Николаевича за спасенье больных даже награды есть, орден и медаль, я читала. Спасёте нам Ваню?! — почти крикнула она в самое ухо Ямщикову.

— Надежды ни на миг не теряем. Реаниматор без надежды — коновал, преступник. А вы, Антонина Матвеевна, должны себя в руки взять. Ваш сын не безнадёжен, рано выть за упокой. Он должен услышать ваш зов, а не вой.

— Объясните, что делать, — едва сдерживая рыдания, сказала Саблина. — Я готова в куски себя изорвать — был бы толк.

— Когда муха попала в паучьи сети, запуталась, а паук мигом подбежал и уже заматывает, но яд ещё не впрыснул, выжидает момент, — в это время о чём должен хлопотать тот, кто не хочет смерти: сетовать на обстоятельства мушиной невезухи или...

— Ясно, — прервала Ямщикова Саблина. Она всхлипнула и глубоко вздохнула. — Я соберусь. Надо спасти. Распоряжайтесь без церемоний!

— Всё больное клонит к земле: больное дерево падает, зверь ложится. Человек, обессилев, тоже ложится, тоже возвращается в землю, откуда вышел. Дерево упало — бревном стало, поднять его к жизни некому. А человек — социальный вид: есть кому поднять, есть кому силами с упавшим поделиться. Беда человечества — не умеем организовать перетекание живительных сил, а что умеем — не успеваем часто воплотить. Для реанимации перетекание жизненных сил особенно важно. Не готова бегущая по жизни толпа подхватить упавшего. Миллионы неспасённых жизней. Об этом даже страшно думать! Главное ваше, Антонина Матвеевна, дело — отрывать сына от земли. Этому вас будет учить один человек, когда приедем в наш Центр. А пока...

— Нет-нет, прошу вас! Хотя бы два слова о главном. А то места себе не найду!

— Хорошо. Не знаю, какой именно образ вам зададут... К примеру, такой... Вы можете отчётливо представить сына, обнажённого, лежащим на сырой чёрной земле, на боронованной летней пашне — жирной пашне, плодородной, мягкой, на большом поле?

Саблина откинула голову назад, закрыла глаза, но сразу открыла и кивнула:

— Без труда могу.

— Представляйте... Он лежит лицом вниз, раскинув руки и ноги, как бы пытаясь обхватить всю эту землю, всё это бескрайнее поле. Лежит — не шелохнётся, но вы знаете: он жив, только почему-то лежит здесь — наверное, он устал. Он жив, но лицо его, и руки, и ноги, и всё тело погружены немного в рыхлую землю, как бы от долгого лежания. Вы подходите к нему, склоняетесь, гладите по спине и зовёте тихонько: «Вставай, сынок. Простудишься: земля сырая». Он не шелохнётся. Тогда вы берёте его за кисть руки, чтобы её приподнять. Но она почему-то не поддаётся, будто приросла к земле. Вам становится тревожно, и вы тянете сильнее. Рука остаётся неподвижной.

Ухватиться как следует никак невозможно, но всё же вы становитесь на колени и изо всей силы начинаете тянуть. Кисть его руки чуть-чуть отгибается с краёв. Вы наклоняетесь и заглядываете под ладонь: что там? И видите: из ладони, из пальцев в землю уходят густым частоколом толстые белые корешки, какие отрастают у луковицы-репки, когда её опустишь в банку с водой. Вы тотчас понимаете: через эти корешки земля выкачивает соки из вашего сына, и потому сам он так непривычно бездвижен. Но он ещё жив! И вы, цепenea от ужаса, но и радуясь, даже ликуя, что оказались здесь, в пустынном поле, вовремя, не опоздали, успели, вы скорей-скорей обхватываете уже его голову и стараетесь оторвать её от земли и криком зовёте: «Ваня, вставай! Нельзя дольше лежать!» Но он не слышит. Тогда вы в лихорадке отгребаете землю от родной головы и роете ход под шеей, чтобы покрепче захватить, а сами говорите ему: «Я тебя не оставлю, не бойся! Я мать, я не оставлю!» Вы тянете голову сына, раскачиваете её, но боитесь тянуть сильно, боль причинить, и уговариваете: «Вставай! Уже пора! Открой глаза!» Голова его чуть-чуть отрывается от земли, но не поддаётся. Вы нагибаетесь к самой земле, к его погруженному в землю лицу, и видите: всё оно тоже покрыто белыми корешками — и щёки, и лоб, и даже опущенные веки. У вас тогда возникает чувство... нет, не чувство — осознание: вот теперь о беде, в какую попал сын, вы знаете уже всё — до самого конца! Белые корешки из опущенных век — это предел, за ним спасти может только мать! А кто кроме? Никого рядом и нет! Только солнце садится за чёрный лес и спит вам глаза. Вы одна в бескрайнем поле, одна против всей чёрной жадной бесчувственной земли, против всего мироздания. Вы одна, но вы мать! «Всей любовью своею, сын мой, — кричите вы ему, — всем, что есть во мне доброго, всем, за что ты меня любишь, за что считаешь, я оторву тебя от земли, я вырву тебя у грядущей ночи!» А вы уже обхватили его одной рукой за шею, другой — за живот, изготовились и, наконец, кричите: «Встань! Проснись! Открой глаза!» — и изо всех сил дёргаете сына вверх, ещё дёргаете, и ещё... Вы отдираете тело от земли, боретесь с ним, ушёршись покрепче ногами, тащите, раскачиваете, вновь дёргаете, отрываете сына от земли... Сколько хватит сил!

— А если... если не встанет... — с содроганием проговорила Саблина, прижимая сжатые кулаки к груди.

— Начнёте сначала. Десять раз, пятьдесят, сто. Он жив! Другие образы пробовать, самой изобретать — втянитесь! И всё это — едва касаясь больного, только в воображении и речи своей.

— И-и-и... в вашей практике — что? — были случаи, когда мать поднимала своего ребёнка... от земли?

— Да! Много случаев, много! Природа феномена не ясна, но факты очевидны: больной выходит из комы, когда его к жизни зовёт находящийся рядом родной человек — любимый и любящий.

— Любящий... — машинально повторила Саблина.

— Обязательно! Безразличных мы не пускаем к больному. Безразличный вблизи нашего больного — посланец смерти. Он как бы заражает больного своим безразличием, успокаивает его защитные системы, гасит скорость восстановительных процессов. Это в экспериментах установлено — не нами. Больной в присутствии безразличных людей становится равнодушным к своему недугу и оттого болеет дольше и сильнее, а то и...

— А если рядом окажутся враждебно настроенные люди? — вытирая слёзы и тихонько всхлипывая, спросила Маша и положила руку на плечо матери.

— Эти в два счёта прикончат больного. И, пожалуйста, Антонина Матвеевна, своим неприятием сотрудников бригады вы создаёте атмосферу...

— Всё, всё, не будет неприятия. Я в полном вашем распоряжении. Но на Марью мою, ещё раз прошу, надежды оставьте. Оставьте!

Ямщиков запросил Центр, дал вводную на Саблину.

— Ваши ответы на анкету, — сказал он Саблиной, — уже обработаны, скелет есть. Но для введения вашей версии фенотипа больного в общую модель желательно обвешать этот скелет остальным, чтобы получилась фигура. Потому без живого разговора не обойтись.

— Так «желательно» или «не обойтись»? — спросила Саблина, усаживаясь тем не менее поосновательнее, как для долгого разговора. Она сцепила кисти рук «замком» и, не дожидаясь ответа, продолжала. — Характером интересуетесь? Жизнерадостный у него характер, нам бы всем такой. И даже с изрядной безрассудинкой. Бесшабашно ведёт себя. А иной раз — и без всякой меры, экзальтированно. Всегда

за него бояться приходится: что ни день — новый страх. А все предостережения мои — все мимо ушей, одни смешки в ответ: «Да ладно тебе, Тон-тон Макутовна, прорвёмся!» Допрорывался... Как вырос — на свою дорогу свернул, и сразу — круто в гору. А я и вожжи выпустила: на Марью переключилась — болела она. Да и не мне править им, если рассудить без мамкиной гордыни.

— Экзальтированность его не бывала на грани самоубийства?

— Ещё не хватало! Да и ни малейшего повода, мы бы знали: он не скрытен. Никаких у него падений со служебной лестницы или там несчастных любовей — ничего такого. И в доме у нас неплохо всё... то есть было неплохо. Более того вам скажу: он вообще на зависть легко переносит всякого рода невзгоды. Что-то, а страдальчество, душекопательство совсем не в его натуре. В детстве, бывало, переживал: от волнения температура почти до сорока подскакивала.

— Когда именно?

— Накануне первого путешествия на корабле до Астрахани. Но это в детстве.

— С домашними, значит, не скрытен... — как бы про себя сказал Ямщиков, о чём-то задумываясь.

— Всё рассказывает, что успеет. Прямо с порога и вываливает: хорошее, плохое — всё!

— Какой-то герой литературный из наших, русских, вертится-вертится, никак не вспомню... Который имел свойство мгновенно и полностью выговариваться...

— Разумихин! — одновременно прозвучал голос из ноутбука и вскричала Маша.

— Здесь Морозов. Что, пощупать Разумихина?

— А готового нет? — спросил Ямщиков.

— Нет. Раскольников есть, в двух модификациях, а разумихинский тип к нам на стол ещё не попадал. Сделаем часа за полтора.

— Но почистить как следует, — сказал Ямщиков. — Персонаж не главный: вводи только скелет.

— Почему же скелет? — не согласился Морозов. — Разумихин хорошо прописан Достоевским: можно и всю фигуру в модель вводить.

— Не знаю... — Ямщиков поймал в зеркале лицо Маши и кивнул ей. — Вы находите образ Разумихина цельным? Легко себе его представляете?

— Он вылитый наш Ваня, вылитый! — горячо заговорила Маша. — Я ещё когда в первый раз прочла роман — об этом подумала. Лучший человек в романе! Работник, заступник, ближних радетель! Будь у него своя семья — женись он на сестре Раскольникова, — был бы непревзойдённым бойцом за семейный мир и благополучие. Он, Разумихин, истинно русский персонаж в романе, а никакой не Раскольников.

— Марья! — удивилась мать. — Верно как рассудила! И Ваня, слышите, — обратилась она к Ямщикову, — Ваня именно боец за благополучие в семье: в лепёшку для нас расшибётся! Увидит: я не в настроении или отец по работе психует, так не отпустит от себя, сам никуда не уйдёт, пока не растормошит, улыбнуться пока не заставит. Тормошила, весельем нас поднимает.

— Мороз, вводи Разумихина в фигуру, — сказал Ямщиков. — А мне дай по тексту романа два-три указателя на меру экзальтированности...

— Ямщик! — раздался перебивающий голос. — Здесь Кусков.

— Больного принял?

— Принял. Но ущерб семьдесят пять процентов: это тебе как? Совсем растратился парень: выжатый лимон. На веках морщины мелким крестиком, как у старичков. Тебя, Ямщик, когда ждать?

— Через час: я недалеко. Пока довезёте, умоете, подкормите — буду. Конец связи.

— Создатель... — Саблина прикрыла ладонями лицо и сокрушённо закачала головою. — Какие слова... До такого дожить...

— Мамочка, потерпи. — Маша обняла мать. — Это, наверное, обычный жаргон у медиков, для нас не обидный. Правда, Иван Николаевич?

— Конечно, не обидный, — ответил тот, адресуясь к Саблиной. — Да и не до обид сейчас, Антонина Матвеевна, не до обид! Объясняю. Привезут его через пятнадцать минут, и смотрите: пока уложат, взвесят, обмоют, сделают полный массаж, опять обмоют, натрут, подкормят — а кормить отдельно надо и нервную систему, и сердечную мышцу, и кожу, и сосуды... куча необходимых процедур! И все нужны. Мы себе каких больных берём? Какие уже неделю отлежали без сознания в других клиниках. И буквально у всех обнаруживаем приметы небрежного содержания: пролежни, авитаминоз, потерю веса и чёрт знает что ещё!

— Любите вы, врачи, хвалить себя, — с подчёркнутой неодобрительностью сказала Саблина. — Пора б остепениться и как следует лечить!

— И вас, родственников, хвалить не за что! — резко ответил Ямщиков. — Те семьдесят пять процентов Кускова — он определил их сейчас в ходе ориентировки — ваша заслуга. И травма, конечно, тяжела, и «залечили» уже, конечно, однако и лично ваша — матери — вина есть. Три четверти жизнеспособности организма утрачено! Откуда, я вас спрашиваю, такие потери? Не могла первоначальная травма сама по себе через неделю потянуть на такие потери, не могла. Перелом основания черепа, четыре ребра, шоковое лёгкое, брюшина жизнеспособна... — не могла. А умрёт — «врачи виноваты». Его в клинику привезли уже без запасов жизненных сил!

— Не давите на меня, — едва слышно сказала Саблина, приготовляясь утирать платком пульсирующие по щекам ручейки слёз.

— Нет уж, позвольте вывалить всё! Как вы, прекрасная семья, как вы допустили, что в критический момент ваш сын, ваш брат, внук, племянник — и всего-то о двадцати пяти годах! — как допустили, что он оказался с истощённым организмом?! Вы, любящие родственники, верные друзья-собутельники, подруги-любовницы, куда, на что вы растащили жизненные ресурсы молодого человека? Почему про запас ничего ему не оставили?! Зато оставили без потомства.

— Бог ты мой! — не выдержав, горестно вскрикнула Саблина. Руки её безвольно упали на колени, слёзы свободно текли по щекам. — До такого дожить! До такого дожить! И нечего сказать... Верите, доктор, все подруги завидовали — какого сына вырастила. Все знакомые, все! И — на тебе! Сама жизнь дала, сама, выходит, отбирала.

— По меньшей мере, вы роль защитницы бросили, «на Марью переключились». Разубедить должны были сына: рано ему при его невеликих чинах браться за постройку дома на три семьи на просеках. А вы что?

— Мы с отцом думали: ладно, пусть помечтает. Да и самим радостно было — сын заботится, добром на родительскую заботу готов отплатить. Но всерьёз на усадьбу не рассчитывали: пройдут фантазии, думали.

— А он всерьёз готовился. Такой разве отступит, который «морду клином — и вперёд». Где ж чутьё родительское? Верно сказано: топтыгины... Не должны были позволять ему «разбиваться в лепёшку» ради вас.

— Мы говорили, не думайте, — вступилась Маша. — А разве его остановишь? Он как угорелый носится, как заводной. Вы его ещё не знаете!

— Нет, девочка моя, — со всхлипом вздохнула Саблина. — Знает Ваню любезный твой Иван Николаевич и, кажется, получше нас...

Глава 7

Крейсер «Варяг»

— Вот здесь он лежал. — Саблина в вестибюле подъезда присела и стала гладить выложенный дешёвой плиткой пол. — Я ключи в замке услышала, открыла дверь — на площадке никого, в пролёт лестничной глянула, лежит кто-то внизу, сразу поняла — мой... Утром из клиники возвратилась, вижу: кровь. Спустилась сразу, подгёрла, чтобы не уборщица... Вот на этих четырёх плитках кровь была. Лужа... так, с блюдце большое. Не лужа — подсохло уже — пятно, а рядом окурки мятый... Нет, съезжать с квартиры надо. Не могу! Маша!

Девушка обняла мать, помогла встать, повела к лестнице. Поднимаясь вслед за женщинами, Ямщиков не раз перегибался через перила, обхватывал балясины, смотрел вверх и вниз пролёта, а когда взошли на площадку четвёртого этажа, он ещё раз посмотрел вниз и задумался. Мать и дочь, взявшись под руки, стояли у открытой двери и с затаённым страхом глядели на Ямщикова, когда тот, наконец, тихо сказал, как бы для себя одного:

— Нет, отсюда он не мог упасть. Травмы не так тяжелы...

Саблина прикрыла глаза рукою и вошла в квартиру.

— А этот коридорчик куда ведёт? — спросил Машу Ямщиков, направляясь в полумрак.

— К чёрному выходу, на железную лестницу вовнутрь двора. Не ходите, Иван Николаевич, дверь там. Она всегда наглухо заперта, сколько себя помню.

— Сейчас не заперта... — сказал Ямщиков, возвращаясь и вытирая пальцы о платок. — В скважине замочной свежая смазка...

— Вы подозреваете покушение на убийство?

— Этим займутся другие. Вот что, Марья Сергеевна. — Ямщиков вплотную приблизился к Маше и крепко ухватил её под локоть. — На маму надо ещё малость поднажать. Помогайте, как договорились.

— Помогать — это конечно. Но вы... Мамочку жалко. Она сейчас сама не своя, как убитая при жизни. Она даже в первую ночь держалась крепче, чем сегодня с вами.

— Поверьте, будь на моём месте Линней...

— Ой, не надо! Даже страшно представить такого человека на вашем месте! Проходите. Я сейчас покушать соберу. — Они вошли в прихожую, стали снимать пальто. — А про дом, про мечту Ванину, неужели правда?

Ямщиков демонстративно вздохнул, развёл руками, кивнул.

— Как вы всё оборачиваете, — жалобно продолжала Маша, — неуютно становится как-то, боязно. Я теперь Ване и манную кашу по утрам забоюсь подавать: он её не любит, а я всегда настаивала — полезная ведь.

— Был в моей практике случай и с кашей, — глухо сказал Ямщиков, подталкивая Машу в комнаты. — Но не трусьте так уж, Марья Сергеевна, до абсурда не стоит доводить. С закуской потом, — продолжил Ямщиков, увидев, как Маша отправилась на кухню. — Возьмёте куски в машину. А сейчас — к телефону: справьтесь о его друзьях, как договорились. Если что — зовите на помощь, а я... Мне, пожалуйста, — обратился он к вошедшей Саблиной, — покажите все вещи сына с раннего детства: игрушки, какие сохранились, рисунки его, поделки собственноручные — любые, одежду, всё-всё, что сохранилось. И семейные альбомы с фотографиями. А фильма любительского нет?

— Фильма нет, — сказала Саблина. — Пройдите в его комнату, я всё принесу. А ты, Марья, быстро кушай и — в постель, час ночи уже.

— Пустые мои речи! — почти закричал Ямщиков. — Какие же вам ещё слова нужны?!

— Но ей завтра рано вставать — в школу...

— Сейчас не до сна, не до еды и не до школ! Переоденется — и!.. Ну, топтыгины! В любую секунду звонка можно ждать, — он буквально вырвал из кармана сотовый телефон и потряс им, зажатый в кулак, в сторону лица Саблиной, — в любую секунду вечный отбой объявить могут! Наспитесь тогда! А они?

На службу ходят, гранит науки точат, в телек пялятся, пироги пекут, дрыхнут! Вечерком только звякнут в больницу — как, мол, там наш? Приучили Айболиты «врачей не отвлекать». Вы должны, — перейдя на методичный тон и потрясая кулаком с зажатым телефоном, будто гвоздь вбивая, продолжал Ямщиков, — быть рядом с больным — все, от мала до велика, в любую нужную минуту. Все, кто был с ним рядом в здоровой жизни.

— Я позвоню Иринке, мамочка, — заспешила Маша, — предупрежу о школе, а? У неё и платье моё осталось. Она спит уже конечно, ну и пусть! Позвоню, а?

— Но девочке моей отдыхать надо, — не сдавалась Саблина. — Сколько всё это продлится, никто не знает, а Марья и так уже перевозбуждена. Она ещё девочка, ребёнок совсем, поймите. Какой с неё спрос!

— В забеге на смерть все равны: девочки, дети, старухи. Слёг родной человек — подымай, пока сам без сил не упал. А упал — спи, сколько тебе определяют по обстановке, исходя из текущей модели цикла лечения. Покуда больной в себя не пришёл, все вы жить будете в нашем Центре. Когда в палату его переведём — тогда на ваш выбор: дома жить или у нас остаться. Судьба вашего сына, Антонина Матвеевна, должна решиться в ближайшие дни. «Пока толстый сохнет, тонкий сдохнет» — это о нём, если без церемоний.

— Но согласитесь, — Саблина приложила руку к груди напротив сердца, — эмоциональная, чувствительная девочка, разве она выдержит потрясение такое — корешки из век! Я не могу допустить. Я мать!

— Уверяю вас, ей определяют щадящий режим работы и какой-нибудь романтический сюжет. Теперь, после знакомства со мною, ей дома сложа руки сидеть — значит душу сгубить. Доверьтесь опыту моему, доверьтесь. Я вас не подведу. Гипнотизёр над ней поработает, видеохронику разберёт, потренируется на муляже — втянется.

— На муляже?! — воскликнула Саблина, уже обеими руками хватаясь за грудь.

— И вы начнёте с муляжа: нужно приёмы соприкосновения отработать. Вам нужно научиться действовать сверхосторожно: кругом вас будет хрупкая техника поддержания жизни, аппараты, приборы, стекло — да вы всё это в кино не раз видели — трубки, провода, — а вас в состояние транса введут. Усвоили? К внешнему виду больного тоже привыкнуть надо.

— Я вас перестаяю понимать, — сказала Саблина, окончательно оторопев и даже на шаг отступая. — Я, по-вашему, забочусь родного сына увидеть? Да мне его трижды залитым кровью с улицы приносили, когда мальчишкой был. Я его всяким видала!

— Таким, как сейчас, — не видели. Сейчас он ледяной, неподвижный, безмолвный. В бритом черепе отверстие просверлено, он не дышит сам — аппарат работает за него. Вы услышите много всяких звуков и увидите много телодвижений и суеты, только исходить они будут не от бойкого вашего сына — ваш будет безучастно лежать. Это нелегко перенести, особенно матери. Обескровленная холодная кожа, чужое тело в чуждой обстановке... Нет-нет, без муляжа — никак! Здесь важно сразу не испугаться и не запаниковать, чтобы барьер отчуждения не возник, чтобы он вам так и остался родным, а это очень трудно представить, когда нет привычной ответной реакции. Кто из родни не выдержит муляжа, того к больному не пустим. Главное — сознание вернуть, то есть оживить разум человека в его физическом теле. И в этом главном вся родня в первую очередь участие принять должна. Почему обязательно родня? Потому что её благотворное воздействие на больного фиксируется приборами, потому что профессиональные врачи не могут вас, близкую родню, заменить: слишком различны типы воздействий, которые врачи и близкие люди могут оказать на больного. А вместе мы — коллективный врач. Ясно? Надо ехать и ей...

Ямщиков кивнул в сторону Маши, распрямился весь, плотно сжал губы и уставился невидящим взглядом на стену, как бы подчёркивая, что разговор окончен.

Саблина постояла ещё немного и, сокрушенно покачивая голову и тяжело вздохнув, направилась к присевшей у телефона дочери. Нагнулась, обняла, поцеловала в машинально подставленный лоб:

— Звони.

— Ой, я так боялась, что ты не согласишься! — воскликнула, просяив, Маша.

Она обхватила ноги матери, прижалась к ним щекою, но сразу выпустила и принялась набирать номер.

— Пройдите в его комнату, — сказала Саблина Ямщикову. — Там всё на своих местах, берите что нужно. Вот ключ

от сейфа, а письменный стол не заперт. Я принесу игрушки, альбомы.

— И пустую сумку побольше, — сказал Ямщиков, направляясь в комнату.

Войдя, он огляделся, потом быстро осмотрел платяной шкаф, письменный стол, книжные полки, заглянул под кровать, после чего взялся за гаджет:

— Мороз!

— Подключать машину?

— Да. Передаю картинку и описание комнаты больного Саблина. Организация пространства — дискомфортна, без эпикурейства, типа ночлежки, но с добротной обстановкой. Расположение вещей на письменном столе и в нём — хаотичное. Расположение книг на полке и в шкафу — не строго систематическое. Соотношение предметов одежды по фасону и цвету — не гармоничное, разнотипное. Комнатных растений и животных нет. Объектов коллекционирования нет. На стене одна любительская картина, очень плохенькая, написана маслом на фанере. Сюжет её... вроде кадра из американского боевика: срывающийся с крыши небоскрёба человек. Срывается он или карабкается? — спросил Ямщиков вошедшую Саблину. — Одной рукою он, похоже, держится ещё за карниз крыши.

— Кто в этой мазне разберёт, — ответила Саблина, кладя на стол два толстых альбома и опуская на пол холщовый мешок, набитый чем-то гремящим, и большую сумку. — Когда друг какой-то подарил Ване это своё творение, я рассматривала, но понять — ничего не поняла.

— Странно. — Ямщиков неотрывно смотрел на картину. — Какое совпадение... Персонаж картины вот-вот сорвётся и полетит в колодезь между тесно стоящими небоскрёбами, как в лестничный пролёт в подъезде!

— Бог мой, — прошептала Саблина, подойдя и вглядываясь в картину. — Столько лет мимо ходила, пыль с неё вытирала и не увидела... знака. — Её передёрнуло всю, сжало. — Со всех сторон семью обложили. Теперь бояться буду в комнату входить. Нет, съезжать надо...

— Эта картина и в поле зрения вашего сына много лет находилась, — сказал Ямщиков, берясь за картину. — Могла стать знаковой... С вашего позволения, я сдам её в музей.

— В музей? — едва ли соображая, переспросила Саблина. — Картина разве представляет ценность?

— Художественную — нет. Один мой коллега собирает экспонаты для музея человека, мы вскоре планируем открыть при нашем Центре. Собирает и символику жизненного пути — такие вот знаки. — Ямщиков, получив кивок от Саблиной, снял картину и отправил её в пустую сумку. Расштал и вытащил и гвоздик из стены. Потом опять взялся за гаджет. — На письменном столе деловые бумаги, посторонний хлам. Старый музыкальный комплекс, диски с эстрадой, устаревшей... Ба-а-а, а это откуда? — Ямщиков вынул из коробки самый замусоленный диск. — «Крейсер «Варяг»?

— По утрам иногда «Варяга» включает, — сказала Саблина. — Когда не выспится, а на работу вставать. Бодрящая песня, кофе не надо.

— «Наверх, вы, товарищи, все по местам, — забубнил Ямщиков, — последний парад наступа-а-ает. Врагу не сдаё-отся наш гордый «Варяг», пощады никто-о не жела-а-ает...» Мороз, заложи в модель весь текст песни. Похоже, и чистить не придётся — всё содержание в модель уложится. Ключевые темы: парад, не сдаётся, пощады не желает.

— Согласен, — ответил Морозов. — Думаю, парад варяговский тесно встанет с парадом сорок пятого. Сам крейсер, наверное, тот же символ, что и белый конь маршала Жукова. И заметь, Ямщик, парад — последний. Здесь веет образом героической смерти через самопожертвование. А для парада атрибутика есть?

— Полный мешок. — Ямщиков вывалил на стол содержимое холщового мешка, принесённого Саблиной. — Горн, два барабана с палочками...

— Два барабана?! Это не будучи-то музыкантом...

— Сабля пластмассовая, меч деревянный, свисток, фуражка армейская, ремень, кобура...

— Отлично! Всё заberi для бутафора.

— А детская одежда сохранилась? — спросил Ямщиков Саблину.

Та кивнула и молча вышла из комнаты. Ямщиков выдвинул ящички письменного стола и принялся разбирать их содержимое.

— Дозвонилась, приедут! — с гордостью сообщницы выкрикнула Маша, влетев в комнату.

— Уложите в сумку игрушки и альбомы, — обернулся к ней Ямщиков. — А где у него хранится любовная переписка?

— Электронная, если есть, в компе, а бумажная — в нижнем ящике.

Ямщиков выдвинул ящик, стал разгребать, но потом вынул его совсем и перевернул над столом. Посыпались письма, открытки, бумаги, рисунки, значки, календарики, скрепки, моток проволоки...

— Вот, вот Наташкины письма.

Маша выбрала тоненькую пачку конвертов, стянутых резинкой, и подала Ямщикову.

— Почерк очень благоразумного человека, — сказал тот, разглядывая конверты. — Глубокого, задушевного, физически здорового, сексуально активного. Тонкая штучка: с вашим братом вряд ли бы ужилась. Телефон её нужен — есть?

— В старой записной книжке Вани должен быть. Сейчас поглядим на «п»... Ой, как много на «п»! Ага, Панина! Номер телефона зачёркнут, но разобрать можно.

— Панину ищите? — спросила Саблина, входя в комнату со стопкой детской одежды.

— Всех подруг ищем, — сказал Ямщиков, принимая вещи. — Аттестуйте Панину.

— Хорошая девушка. Я не возражала бы против такой невестки. Говорила с ней дважды. Но увы и ах — дала отставку нашему сорвиголове, бесповоротно.

— Почему сразу она? — возразила Маша. — Может, это Ваня отставку дал.

— Она, она. Наш — неистовый, сплошное беспокойство с ним. Такого не каждая перенесёт...

— Мама! — со строгостью перебила Маша. — Я тебя не узнаю! На людях ты хваливаешь Ваню на все лады, а тут вдруг корить принялась.

— Я — не корить, девочка моя. — Саблина погладила дочь по голове и поцеловала её в машинально подставленный лоб. — Я — не корить, но им, — она кивнула на Ямщикова, который открывал сейф, — им Ваня без раскраски нужен. Он голый на земле сырой лежит — не время приукрашать.

— В сейфе... оружия нет, — сказал Ямщиков в телефон. — Служебные бумаги, хлам, бутылка коньяка. Трудовая книжка... Откуда здесь трудовая книжка? Последняя запись... — об увольнении.

— Кого? — подступила Саблина. — Ваню уволили?!

— Больной уволен по нехорошей статье — с полмесяца тому назад.

— И матери не сказал... — побледнев, попятилась Саблина.

— Не обо всём «прямо так с порога и вываливает». Ещё файл с бумагами... — продолжил комментировать свою видеозапись Ямщиков. — В нём проект двухэтажного коттеджа... Чертежи, чертежи... Планировочка не ахти... Смета строительства... Так, а вот смета свежая, датирована январём. Проект забираю. И трудовую. Бутусов пусть свяжется с отделом кадров, выяснит: за что его так сурово... Всё, мы поехали. — Ямщиков развернул записную книжку и стал набирать номер телефона. — Собирайтесь, Марья Сергеевна.

— Какая она вам Марья Сергеевна! — вскипела вдруг Саблина. — Прошу вас звать мою дочь Марьей, без всякого отчества! Не смейте приближать! Неси, Маша, пироги, термос...

— Наталью Панину пригласите к телефону, — заговорил Ямщиков более низким, чем обычно, голосом и с нажимом. — Я знаю, что сейчас полвторого ночи...

В машине Саблина сидела на прежнем месте и в прежней позе, сцепив руки «замком». Маша, заботливо прижимая к себе сумку, из которой торчала головка термоса, устроилась на заднем сиденье так, чтобы через зеркальце видеть лицо Ямщикова.

— Даю выдержки из романа, — прозвучал голос Морозова из ноутбука.

— Постарайтесь примерить цитаты к сыну, — обратился Ямщиков к Саблиной.

— Цитата первая. «Если б они велели ему сейчас...», — они — это новые знакомые Разумихина: Авдотья Романовна и Пульхерия Александровна. «Если б они велели ему сейчас, для своей услуги, броситься с лестницы вниз головой...»

— С лестницы вниз головой!.. — вскрикнули мать и дочь разом.

— «...то он тотчас же бы это исполнил, не рассуждая и не сомневаясь». Конец цитаты. Вторая...

— Не рассуждая, — прошептала Саблина, хрустнув пальцами. — А о нас подумал?..

— Цитата вторая. Разумихин, когда проснулся поутру и вспомнил пьяные свои заботы о сестре и матери Раскольникова: «Со всего размаху ударил он кулаком по кухонной печке, повредил себе руку и вышиб один кирпич. «Конечно, — пробормотал он про себя через минуту, с каким-то чувством

самоунижения, — конечно, всех этих пакостей не закрасить и не загладить теперь никогда... — перерыв в цитате — ...и, уж конечно, теперь всё погребло!» Конец цитаты. «Всё погребло» Достоевский даёт с восклицательным знаком.

— Согласны, — обратился Ямщиков к Саблиной, — что ваш сын, как Разумихин, способен на... любой отчаянный шаг?

— Скажите прямо: на самоубийство, — с трудом выговорила Саблина, отрешённо глядя в ветровое стекло. — Не могу представить себе... Не могу даже вообразить причину... Такая чепуха в голову лезет. Нет, не могу ответить.

— Не то нам важно, в конце концов, — сказал Ямщиков. — В воображении вашего сына, в его зрительной памяти не было какого-нибудь устойчивого образа самопожертвования? Или нескольких образов? Пусть даже из детства. Или, может... Нет, сначала ответьте. Марья, — добавил Ямщиков, поморщившись как от боли, — и к вам тот же вопрос.

— Разве что в самом детстве, — после небольшого раздумья сказала Саблина. — Когда ещё в песочнице начинал командовать. Он за игру только «войну» признавал. Ванюша тогда с каким-то даже упоением падал, когда в него «стреляли» враги. И падал натурально, куда попало, не щадил себя и труд материнский. Я бранилась, конечно: мне одежду стирать. А он... Знаете, как он оправдывался? Бог ты мой! — Саблина хрустнула пальцами и закрыла глаза. — Он приходил со двора — спина вся в грязи, голова в песке, обувь... а глаза блестят, задышался от впечатлений, счастливый, голодный... Разве можно такого сильно бранить! Я ему: опять, мол, живого места нет, вещей не напасёшься, ну и всё в том духе. А он: «Мы играли, — Саблина перешла на детский голос, — и меня Вовка убил. И Сашка два раза убил — прямо в глаз! А я потом ка-а-ак Вовке дам!»

— Отлично! — оживился Ямщиков. — Зацепка есть. Стереотип быть убитым «прямо в глаз» должен был сохраниться в зрительной памяти. Обрисуйте ещё типичную схему боя и мнимой смерти. Вы сами наблюдали?

— Не раз. Обычно пацаны делились на два отряда. Тот, которым командовал Ваня, если оказывался сильнее, то сразу атаковал. Мальчик мой налетал на противника всегда первым — не среди первых, а всегда первым! Размахивал саблей или пистолетом, свободной рукой поддерживал солдатскую фуражку на голове и атаковал. А чтоб подбодрить солдат своих, кричал во всю мочь: «Ура! Вперёд! Бей гадов!» Если «гады» оказывались

многочисленнее или к ним какой-нибудь повзрослее затёсывался — старшекласник, мой никогда не отступал. Он бросался на «гадов» в одиночку и драться уже мог начать с ними по-настоящему, до крови. Неистовый парень...

— В какие места, как он воображал, попадают в него пули? Как он на землю падал? Стереотип какой-то в его падениях найти можно?

— Чаще всего он опрокидывался навзничь, как будто пуля угодила прямо в лицо, даже дёргал назад головой, как от удара. Из кино, наверное, взял. Раскидывал вот так руки, — Саблина всплеснула руками, — и падал навзничь, не глядя назад. Раз даже затылком в камень бордюрный угодил, до крови.

— Ты мне не рассказывала никогда, — сказала вдруг Маша. — Даже странно, что Ваня таким маленьким был...

— А зимой, на снегу, когда легче падать?.. — начал было Ямщиков.

— Тот же, тот же стереотип и зимой был! — поторопилась Саблина. — Построят они две снежные крепости одна против другой и швыряются чем попало. А потом — на приступ. Мой — первый, как всегда — выскакивает и весь запас снежков, какой был в руке, вмиг выпускает по врагу. И уже, считай, безоружным идёт на штурм. Идёт — не отворачивается, когда его градом снежков встречают, а среди них — страх! — и льдышки попадают, и даже обмёрзлая щёбёнка. Другие мальчишки из его отряда тоже наступают, но успевают от снежков уворачиваться, пригибаются, тормозят и запас огневой экономно расходуют. А мой весь запас разом выпустит — и что остаётся безоружному под перекрёстным огнём, если, разумеется, не отступить? Остаётся встретить смерть на месте — упасть вот так навзничь — или в одиночку врываться в крепость противника, чтобы в ней как можно большему числу «гадов» помешать обстреливать поотставших своих солдат. Он и врывается один. Тут его, конечно, валят и лупят. А он кричит, как победитель: «Ура! Крепость наша!» А какая там «наша», если шапку ему сбили, снегу за шиворот напихали, пинают лежачего...

— Мамочка, и ты не вмешивалась, не спасала?!

— Раз не удержалась, подошла. Но он был унижен моим заступничеством. Нет, нельзя было подходить. В то время думала в военное училище его отдать, а что за офицер, если мамкин подол нужен.

— Полное совпадение с «Варягом», Разумихиным и Красной площадью, — сказал Морозов. — Один сценарий, Ямщик, считай, у нас есть.

— Назовём этот ролик «На людях смерть красна», — сказал Ямщиков и снова обратился к Саблиной. — Теперь о другом... Какие потрясения довелось пережить вашему сыну в юности? Может, было яркое впечатление на почве привязанности к девушке?

— Яркое — вряд ли, — ответила Саблина без раздумья. — Девочки попадали на его орбиту, крутились где-то рядом, но обходилось мирно, сходило потихоньку на нет — и забыл. Девочкам на письма по интернету отвечал, но редко, и скорее по-приятельски, без трепета. Есть парни — двумя-тремя письмами такой костёр в сердечке девичьем раздуют, берегись отец-мать — опалит дочку. А мой... Тайны в нём для девушки нет, открыт нараспашку — без меры. Попадись ему в юности такая Панина, могло и повезти: озарила бы его своим чувством, воспитала, вкус привила. А так... Девчонок не к нему лично — за атмосферой тянуло, какая вокруг парня-лидера складывается. Карьеристок тянуло, общественниц горластых или, напротив, тихонь закомплексованных, но мечтающих солистками стать. С такими разве переживёшь полноценное чувство... Не повезло, считаю, Ване с любовью, просто не повезло.

— Оставим любовный мотив, — сказал Ямщиков. — А какая-то награда, какой-нибудь грандиозный успех не могли ему врезаться в зрительную память?

— У него много всяких наград...

— Поясню примером. Был у нас больной — футболист. На его счету в чемпионатах России полсотни забитых голов. Но однажды он забил изумительный по красоте и трудности исполнения гол, к тому же в решающем матче. Этот гол не раз показывали по телевизору, учили на нём молодых футболистов и так далее. Так этот наш бывший больной всем новым знакомым рассказывал, как он забивал тот гол: через себя пробил в «девятку». В натуре приём мяча, удар, полёт мяча в створ ворот, рёв болельщиков — весь сюжет занял всего лишь несколько секунд. Но рассказ футболиста каждый раз длился добрых полчаса — настолько он испереживался весь вокруг удара. Его зрительная память сотни раз возвращалась к тому голу. И так возник устойчивый образ успеха, возник самый возбуждающий зрительный стереотип в жизни этого футболиста,

и он нам помог в лечении. А в биографии вашего сына такого рода успех имел место?

— Как я поняла, здесь вы говорили о вершине в карьере футболиста — в его представлении. А мой сын растёт ещё. Не мог он достигнутые успехи рассматривать как абсолютную вершину в своей карьере. Нет-нет, мой Ваня устремлён в будущее. И в детстве, и в юности его награждали, но, если бы мы с отцом не хранили его награды, всё давным-давно пошло бы прахом. Это мы с отцом его карьерные успехи воспринимаем как чрезвычайные, да ещё друзья наши, у которых сыновья-балбесы, а сам Ваня — нет. Для него любой успех — лишь очередная ступенька вверх...

Саблина запнулась и умолкла.

— А теперь как же, Иван Николаевич, — полуспросила полусказала Маша, — на карьере Вани крест ставить?

— Ни на чём крест ставить не надо, — немедля ответил Ямщиков. — Карьера продолжаться может, но с замедлением или... Вот недавно мы вылечили одного посла. Тяжелейшие травмы. Он теперь не посол, но в дипкорпусе своей страны удержался, работает кем-то, а там, не исключено, опять поднимется. Так что знамя надежды опускать рано.

— А у вас есть своё знамя? — спросила Маша, тронув Ямщикова за плечо.

Тот вздрогнул, замер, потом запустил руку во внутренний карман плаща, сказал сухо:

— Вот моё знамя.

Он вынул и поднял над головой белый ползунок с нашитым рисунком грибка-боровичка на груди. Саблина взяла ползунок, положила себе на колени и стала разглаживать.

— Не ожидала я такого от вас, не ожидала, — вполголоса сказала она. — Даже спокойнее на душе стало. Наверное, память о каком-то трагическом случае?

Ямщиков кивнул.

— А родители этой девочки... вас... на вас... — пыталась продолжить Саблина.

— Мать скончалась при родах, — глухо сказал Ямщиков. — Но здесь чисто профессиональное: ползунок с грибком-боровичком — суть — эмоциональный фетиш, как напоминание о моих личных счётах со смертью. Не в мою пользу счёт, но фетиш вдохновляет...

— А-а, фетиш, — с деланным спокойствием, едва ли не с иронией, бросила Саблина. Она сложила ползунок пополам и принялась укатывать его плотным валиком. — А я едва не растрогалась: какие в Самаре чудо-доктора завелись...

— Мама, я тебя не узнаю! — вскричала Маша. — Как жестокосердно! Отдай! — Она перегнулась через плечо матери и хотела выхватить из её рук ползунки.

— Сядь! Что за истерика! — Саблина отвела руку дочери и оттолкнула её саму на сиденье. — Ишь, заступница нашлась. Пожалела уже. Вот чем такая жалость для дур кончается! — Она потрясла кулаком с зажатыми в нём ползунками и протянула их Ямщикову. — Эх, вы — спасатель...

— Да, спасатель! — воскликнул Ямщиков и надтреснутым голосом продолжил: — Мне уже начало сниться, будто весь мир вертится вокруг нашего стола в операционной. И заводы-фабрики дымят, и художники творят, и машины ездят, и родители с учителями усердствуют — всё ради того, чтобы взрастить человека, сподобить его возлюбить жизнь — и уложить к нам на стол. Ловлю себя на мысли: я высматриваю в каждом знакомом человеке — а даже уже и в незнакомом — высматриваю те признаки, какие могли бы, случись что, помочь его поднять от земли. И я не один такой. Мы врачи, мы лечим, но почему-то наших истинных знаний — во вред себе — люди боятся панически. «Не может этого быть!» Знаний о летающих ящерах, о мумиях фараонов они не боятся, о гибельном космосе, о ядерных бомбах, о чертях и об эльфах тоже, а знания о самом себе, о кровинушке, — вот, оказывается, где страшно. За страх о себе люди платят нам недоверием. Лечи мы традиционно, под пологом врачебной тайны, не объясняя и не испрашивая помощи и участия, — трупов бы стало больше, зато к реаниматорам претензий — никаких. Нас, как поближе узнают, начинают бояться, а случись провал — возненавидят и попытаются осудить. Сегодня больной умер — и тут же пошли угрозы: взорвём, посадим, зачем брали в клинику, если не можете ни... Нельзя нам остановиться! Не о бомбах, не о богах человеку думать надо — о ближнем своём. Тысячи лет медицине, а диагностика из рук вон плоха. Болезнь человека куда шире медицины, но практикуют с нездоровым телом почему-то одни врачи. Вот практикующий врач подходит к больному ребёнку, тот полужив-полумёртв, врач: щаз сбцаем диагностику, поставлю диагноз и примусь лечить — поелику

окажется возможным. Всё! А поколику диагноз смертельный? Да ну!.. Смертельный диагноз — это вообще внемедицинский диагноз. Это, значит, уже упустили, и кто-то должен быть признан виновным и ответить. Тогда ключевой для общества вопрос: как подступающую неестественную смерть угладеть вовремя и объективно? Где, как её искать, куда смотреть? Не на оскал ведь лежащего навзничь ребёнка, кому от всей жизни остался, может быть, всего один удар сердца.

— Вот-вот, музей человека! — воскликнула Саблина. — Вы изучаете всех, даже самых близких людей. Изучаете — потому и не любите никого! Живых людей, как бабочек, ловите, наколотых сушите и с этикеткой в коробочку ставите, а потом задвигаете эту коробку бог знает в какой глубокий ящик, и на том — шабаш: пропал для вас человек!

Глава 8 «Предатели!»

— А почему за рулём? — навстречу машине с крыльца большого здания сбежал, семена на коротких ляжкастых ногах, невысокий полненький мужчина в распахнутом пуховике. Одной рукой, мягкой и маленькой, он придерживал ондатровую шапку на голове, в другой — далеко отставленной от тела и как бы загораживающей машине проезд — болтался на ветру старомодный портфельчик. — Руки трястись не будут? — на высоком тембре с подсвистом и с нарочитой издёвкой продолжил он наступать. — Хирургу перед операцией вести машину не положено...

— Не паясничайте, Клямкин. — Ямщиков подхватил с заднего сиденья вещи, вышел из машины, не выключив зажигания. — Я сегодня не на хирургии.

— Опять меня «посылаете»?

— Нет! Слушайте, пресса, — он приглашающим жестом распахнул перед Клямкиным дверцу. — Ваш звёздный час! Сгоняйте на заправку, возвращайтесь и ждите. Через час-полтора освобожусь, и вы меня покатаете до утра.

— Вот речь не мальчика, но мужа! — расплылся уже в непритворной улыбке Клямкин и, гримасничая, стал часто притопывать, махать руками и кружиться, изображая танец радости. — А в награду — долгожданное интервью?!

— Да! Бригада решила привлечь внимание мировой общественности к перспективам системного лечения в реаниматологии. Будет вам, первому, полноценное интервью.

— А я и надежду потерял! Два года за вами гоняюсь, а что получил? Парочку приличных ударов в физиономию — от имени бригады. И записать будет можно? Потом не отвертитесь! — Клямкин, получив в ответ кивок, ещё больше просиял и буквально

выхватил, как пистолет выхватывают, из внутреннего кармана камеру и направил её на Ямщикова. — Как я мечтал впасть в рассуждения о состоянии реанимации. Десять слов — для зачина!

— Мы утверждаем: традиционная реаниматология методологически устарела, да и принципиально тоже, она опасна для больных, так как...

— Тихо-тихо-тихо! — Клямкин, демонстративно оглядываясь по сторонам, выключил камеру. — По ветру чую для себя гонения с риском отлучения от профессии. Скажут: сами врачи, по сути, обвинили нашу государственную медицину в массовом истреблении людей. Меня первого и попросят это сказать. У вас, Иван Николаевич, уже есть жена-декабристка?

Ямщиков шагнул к Саблиным, которые в молчании стояли у капота машины, взял из рук Маши сумку, мельком взглянув при этом на её встревоженное лицо, затем обернулся к Клямкину и почти закричал против ветра:

— Одни, живя только на пожертвования из Фонда Аршинова и на пустяшные гранты, мы и за четверть века не наберём нужной статистики. Здесь пан или пропал: либо нас прихлопнут, либо должны быть организованы и обеспечены госбюджетом ещё с десятков бригад, аналогичных нашей. Мы решили раскрываться, вести пропаганду, бесплатно разрешить использовать все наши патенты и технологии. Мы не противопоставляем себя официальной реаниматологии, а обогащаем её новым содержанием. Завтра утром поведу вас по палатам — покажу больных. А жена-декабристка скоро будет! Теперь пресса довольна?

— Лечу! — Клямкин стал упихиваться за руль, сквозь зубы проклиная корсет, и, наконец, захлопнул дверцу. — Пстойте! — крикнул он вдруг вслед Ямщикову, опуская стекло. — Ради всего святого, скажите: зачем посреди ночи к вам, наверх, в палаты, мотоцикл поволокли? Привезли в фургоне, сказали мне, прямо с таможни, спортивный, японский, красавец, как игрушка! У вас и коридоров-то длинных нет! С кем вы гоняться собрались?

— Со смертью, исключительно с нею, — опять обернулся Ямщиков и удовлетворённо закивал головою. — Только у нас, господин журналист, как в космосе, нет ночи в обычном понятии: кома — она круглосуточна. Привезли, наконец... Вам лишний раз повезло: познакомьтесь с железным коловрачом.

— Вы интриган! — лихо присвистнул Клямкин вслед Ямщикову и его спутникам. — Не обессудьте: не могу почему-то отделаться от чувства, будто вы гениальный бутафор по форме и очковтиратель по существу. Вы хоть раз скальпель-то в руках держали?

— Да! — опять обернулся Ямщиков. — Начинал, как все, слягушек, кончу — вами! Устрою показательную микрохирургию большим тараканам в вашей кудрявой голове!..

Ямщиков и Саблины вошли в вестибюль.

Всю переднюю стену его от пола до потолка занимал барельеф, изображающий сцену вечерней охоты: свора охотничьих собак с очеловеченными лицами гналась за громадным, свирепого вида, волком, удирающим с ягнёнком в зубах. У ягнёнка, беспомощно свисавшего из волчьей пасти, вместо лица была пустая овальная ниша. Также у всадников, которые маячили за спинами набегающих собак, вместо голов зияли пустотой ниши, как будто вынута несколько камней.

— Иван Николаевич, это вы! — воскликнула Маша, указывая на переднюю собаку, которая, прижав уши и вытянувшись в струнку, перепрыгивала через какую-то чёрную яму. — А тот пёс с высунутым языком — это вы? — обратилась девушка к Колычёву.

— Все звери лютые, — содрогнулась вдруг Саблина-мать, — что волчище, что псы: догонят и растерзают...

— Глаза горят и клыки — ну и что, — сказала Маша примирительно, беря мать под руку. — Собаки не лютые, а ярые. А когти — чтобы за землю цепляться и бежать быстрее. У волка, смотри, какие когтищи! Я поняла: ягнёнку вставят лицо Вани, а наше с тобою и папино — тем всадникам. И совсем собаки не лютые, а просто силы равными должны быть...

— Вот новость: поучать меня взялась! — мать высвободила руку и, увидев, что Ямщиков уже разоблачился, принялась снимать пальто. — Я, кажется, из ума ещё не выжила. Как обернулось: ничего пока для нас не сделали, а у девочки моей уже в героях спасителях ходят...

Она выразительно посмотрела прямо в глаза Ямщикову и протянула ему снятые вещи, но их перехватил подошедший сбоку молодой человек любезного и внушительного вида. Со сноровкой аэропортовского таможенника он поводит прибором по одежде, затем — по самой Саблиной, по сумкам и принялся за Машу.

— Это в ответ на твоё безграничное доверие к лучшим друзьям человека, — вызывающе сказала дочери Саблина, поведя рукою в сторону барельефа. — А может, дочка, ты неверно поняла аллегория? А?! — круто обернулась она к Ямщикову.

— Барельеф вылепил наш бывший больной, в знак благодарности, — с едва сдерживаемым негодованием ответил тот. — Ваша дочь уловила суть: силы по обе стороны рубежа надо пытаться хоть как-то уравнивать. Барельеф стал скульптурным изображением нашей присяги на верность больному — конкретному человеку, взамен обезличенной клятвы Гипократа.

— Вы не признаёте клятву всех врачей?

— Признаём. Но от клятвы Гипократа нет практической пользы для больного, никакой поддающейся измерению пользы. Она сродни воинской присяге...

— Даже так?!

— Я имею в виду: пользы для текущего боя от воинской присяги нет никакой. А вся война и есть серия таких боёв. Ну что такое присяга? Ну однажды по молодости на плацу флаг поцеловал — не пропитанный собственной кровью флаг, и не такой эмоциональный флаг, — Ямщиков положил руку на грудь напротив внутреннего кармана пиджака, — ну расписался в бумажке, и сдали её в архив министерства обороны, — ну и? В присяге важен пафос. А надолго пафос воинской присяги удержится в молодой натуре? Конечно, окулисту, выписывающему очки, не надо присягать каждому своему пациенту. А нам — просто необходимо присягать каждому. Есть измеряемая польза для больного от вдохновенного состояния врача. Этот барельеф и все фрески на стенах во мне вызывают профессиональную злость. Я как вообразу себя волкодавом, меня так и несёт вслед зверю: догнать и порвать в клочья! Без отражения образа смерти в эмоциях, без зрительного её представления врач-реаниматор не может мобилизоваться вполне и надолго, а надо и вполне, и надолго — на сколько потребуется. То-то и оно, что образ смерти никак себе не представишь: всё не то... А надо. Такая вот аллегория, — как бы приходя в себя, заключил Ямщиков. — Смешно?

— Не смешно, — с трудом выдавила из себя Саблина. — Теперь зато поняла, на что девочку мою ловите: на пафос ловите...

— Ямщик! — Высокий плотный мужчина с военной выправкой взял Ямщикова под руку и властно развернул его к себе. — Я еду к следователю, который ведёт дело Саблина; потом — к начальнику отдела кадров страховой компании — узнать, за что Саблина уволили; потом — осматривать подъезд и квартиру. Мне нужны ключи...

— Это полковник Бутусов, — представил Ямщиков мужчине Саблиным. — Будет выяснять обстоятельства на предмет криминала.

— Вот ключи! — Маша запустила руку в сумку, висящую на согнутом локте, и выхватила связку. — На нашей площадке дверь на пожарную лестницу свежесмазанной оказалась — проверьте!

— Пренебреженно, — слегка кивнул полковник, приняв ключи. — Здесь трое друзей пострадавшего, я пробовал расколоть их, но они — ни гу-гу — договорились, видно. Тряхани их сам. Ещё один друг, Коркин, ведёт, как я понял, самостоятельное расследование. Но это — завтра утром, а сегодня и впредь — всю криминальную информацию в эфир не выпускать: нас могут прослушивать. Всё, уехал!

Ямщиков переговорил ещё с несколькими людьми, отдал сумку с вещами Ивана Саблина и провёл мать и дочь в свой кабинет. Там он сразу включил большой монитор на стене. На экране возникло изображение какого-то помещения, заполненного людьми в серо-голубых халатах. Они слушали человека, который стоял перед ними и водил указкой по экрану. В одном из сегментов экрана появилось изображение просторной с высокими потолками комнаты, на столе в окружении медперсонала лежал человек. Ему брили голову, и потому люди в халатах расступились.

— Смотри: Ваня! — вскрикнула Маша, схватив мать за руку.

— Живые мощи... — простонала мать, сокрушённо качая головою.

— Ямщик с родными больного прибыли, — сообщил Кусков участникам совещания. — Ямщик, ролик должен быть готов к семнадцати часам.

— Понял, — сказал Ямщиков. — Генотип больного ясен, фенотип тоже складывается, кроме сексуальной компоненты.

— Ну, с этой у нас вечная проблема, — сказал кто-то из присутствующих на планёрке. — Лучше, Кусок, покажи нам «ямщиковский мотив».

— Через полчаса, Макс, увидишь во всаднице. Итак, если по предварительному диагнозу вопросов больше нет, — Кусков выдержал паузу, все молчали, — разберём клиническую часть аналогичных случаев. Дайте изображение...

Ямщиков переключил монитор и жестом предложил Саблиным сесть.

Сначала по экрану под комментарий голоса Кускова побежали цифры, потом возникла фотография круглолицего улыбчивого парня в робе на фоне стройки.

— Ломакин Виктор, двадцать семь лет. Черепно-мозговая травма в результате падения со стрелы башенного крана. Поступил к нам на восьмые сутки с ущербом семьдесят три процента жизнеспособности...

Ямщиков отключил звук. Тем временем изображение на экране разделилось пополам: на одной половине парень продолжал улыбаться, на другой он, с трудом узнаваемый, лежал на операционном столе с бритым черепом — уже зашитым и каким-то неровным...

В кабинет Ямщикова стремительно вошёл молодой человек в серо-голубом халате. Во всём его виде было нечто пронзительное и устремлённое за пределы этой комнаты — во взгляде, в сжатых губах, в приподнятых бровях. У него был вид спортсмена-бегуна перед стартом на короткую дистанцию, готового при звуке выстрела сорваться с места. Он молча тряхнул протянутую руку Ямщикова и обернулся к Саблиным:

— Вся надежда на вас. С отцом может ничего не выйти: слишком холоден, не отдающий тип. Муляж будет готов через полчаса, тогда и — знаю наперёд! — поставим на отце больного жирную точку. Давай, Ямщик, вези того артиста из мединститутской анатомички: попробуем его в роли отца.

— Адрес мне сообщили, — сказал Ямщиков, — но профессор предупредил: артист с большими причудами...

— Все мы здесь с большими причудами — посмотри на нас со стороны. Вези: попытка здесь — пытка, но всё лучше, чем ничего. У меня и план работы с артистом сложился: перспективы, уверен, есть. Я сегодня чувствую необыкновенный подъём, если б ещё с материалом повезло! Но с вами, — обратился он к Саблиным, — повезло! Диалоги ваши слышал. С вами получится настоящая работа — отдадите много! Пойдёмте скорее: мать в дезинфекционную, сестра — пока в жилой отсек,

спать до шести ноль-ноль. А друзья больного для первого этапа не очень подходят — я их посмотрел.

— Вы что же, — нахмурилась Саблина, — хотите нас развести по углам?

— Такова процедура! — твёрдо сказал молодой человек. — Иначе вы будете друг друга тормозить, не раскроетесь и не отдадите всего. На завтраке встретитесь.

— Сестра мне ещё нужна, — сказал Ямщиков, включая монитор.

— Прошу вас помнить о моей настоятельной просьбе, — многозначительно сказала Саблина Ямщикову, отправляясь вслед молодому человеку. Перед выходом обернулась: — Маша, без глупостей!

Они вышли. Ямщиков включил звук.

— ...Больной под томограф будет готов через пять минут. Группа Максимова и группа Колычёва — на выход. В два сорок кончаем планирование хирургии, и все собираемся здесь.

На экране половина присутствующих быстро встала и разошлась. Остальные пересели поближе к Кускову.

— Пока нет картинка с томографа... — начал тот.

— Ямщик! — раздался перебивающий голос. — Морозов.

Ямщиков убавил звук на мониторе с Кусковым:

— Друзья на анкету ответили?

— Я их и на анкету, и свободным стилем пытаюсь разговорить, но вижу: договорились, не туда ведут. Сестра больного, вижу, с тобою.

— Хочешь дружков привести? — Ямщиков искоса взглянул на Машу, которая сидела, опять вся сжавшись, и затравленно следила, как он громко постукивал скальпелем по столу. — Веди! Дам сестре скальпель — пусть перед их носами помашет. Лады?

— По-любому тряхнуть их надо. Тоже мне — друзья! Один заявил: «Могли бы и утром собрать». Другой демонстративно зеваёт, о дверной косяк чешется, как уличный паршивый кобель о дерево. И это — друзья?! Сейчас приведу.

— Как только войдут, Марья Сергеевна, сразу берите парней на abordаж. Требуется маленькая, но эффектная сценка, со слезой и криком. Стены у нас звуконепроницаемые — не стесняйтесь. Жену Колычёва вспомните: ас по домашним сценам, просто ас! Иначе мы их не раскатаем. — Ямщиков подошёл к Маше, наклонился и упёрся в неё тяжёлым взглядом.

Потом взъерошил ей волосы, опустил прядь на лицо, больно пощипал за щеки. — Сожмите кулаки, зубы стисните. Да разозлитесь вы! Это разве друзья?! Ради друга не хотели из тёплой постельки вылезти! Да это плевок в вас! Плонули в Саблиных и растёрли! Ну!

Дверная ручка щёлкнула. Ямщиков наотмашь ударил Машу внешней стороной ладони по лицу и отпрянул от неё. Марья вздрогнула всем телом от пощёчины, сжалась как пружина и ринулась навстречу трём входящим парням.

— И Машка здесь?! — вскрикнул простодушно и радостно вступивший в комнату первым высокий, атлетично сложенный и преждевременно несколько располневший блондин с бычьей шеей и ярко-голубыми слегка навывкате глазами. Он развёл руки, как бы предполагая заключить летящую ему навстречу Машу в отеческие объятия. — Здорово, кума!

— Предатели! — Марья подпрыгнула и обеими руками вцепилась в длинные курчавые волосы блондина и всем весом повисла на нём. — Вы мне больше никто! Никто!

— Да ты что! Маша, ты что! — тот пригнул голову от боли и старался удержать её руки.

— Такие вы друзья! «Мужская дружба!» Сколько за неё пили! А самим лень ночью встать! Ради друга! Предатели!

Двое других парней — коротко стриженный, распорядительно-строного вида широкоплечий крепыш и изысканно сложенный, с иголки одетый, черноволосый, с тонкой бородкой и усами — загадели, окружили девушку и стали отдирать её от блондина. Маша лягнула черноволосого каблуком, попала в голень: тот вскрикнул и, корчась, на полусогнутых потянулся было к ближайшему стулу, но, чертыхнувшись, сжал зубы, воспрянул и ринулся в борьбу. Девушку тотчас отцепили и оттолкнули к столу, у которого стоял и большими глотками пил воду из тонкого стакана Ямщиков. Маша, уже не владея собою, озиралась и вдруг вырвала из руки Ямщикова стакан, ударила его об пол. И, прежде чем ей успели помешать, схватила один из осколков, задрала рукав и, пятясь, приставила осколок к артерии на сгибе локтя.

— Вы чего хотите от меня?! — не своим голосом закричала она на отшатнувшихся в страхе ребят. — Вам одного Саблина мало?!

— Не режь! Что ты! Да чего тебе надо, Машк?! Скажи, чего надо?! Зарежется, с ума сошла! — загадели они разом.

— Чтобы всё сказали, что спросят! На все вопросы! Сию секунду! Идите! — Она дёрнула обеими руками в сторону Ямщикова. — Ну!

— Всё, всё! Рассказываем, мужики.

Блондин развёл руки, как бы обращаясь к ребятам, и его рука оказалась совсем близко от локтя девушки.

— Что надо рассказать-то, объясняй, командир, скорее! — крикнул Ямщикову бородатый, потирая ногу.

В этот момент блондин резко развернулся, схватил руку Маши со стеклом и армейским приёмом вывернул её за спину. Девушка вскрикнула и стала вырываться. Подскочил стриженный, и вдвоём с блондином они свалили Машу на стул и стали разжимать ей пальцы со стеклом. Девушка пыталась вывернуться, пинаясь и кричала:

— Предатели! Ненавижу вас!

Вскоре стекло, обильно политое кровью, было отброшено на пол. Стоявший до сих пор у двери молодой человек в серо-голубом халате, молча наблюдавший всю сцену, вынул из кармана пузырёк йода и огромную пачку бинта, кинулся к взалёб плачущей девушке.

— Ну вот, покалечили принцессу! — с напором строго сказал он, оттесняя от Маши блондина. — Ужас! Кошмар! Шрамы на всю жизнь!

Он прикрыл собою девушку, принялся обрабатывать ей руку.

— Что надо-то, командир?! — Блондин, отпинывая стекляшки под ногами, решительно и зло шагнул к Ямщикову. — Кровь для Ваньки сдать — бери, хоть всю!

Он выхватил у Ямщикова протянутую ему салфетку, скомкал и сжал её изрезанной рукой.

— Я так понимаю, три мушкетёра: Атос, — Ямщиков кивнул коренастому, — Портос, — блондину, — и Арамис. Нужна правда. Ваш д'Артаньян кого-нибудь убил?

Портос отпрянул от неожиданности. Друзья переглянулись в недоумении.

— С чего вы взяли?! — почти крикнул Портос. — Дичь какая-то! Ну Коркин, ну я — мы в горячих точках служили — там, может быть, и... А Ванька в спецназе не служил.

— А покушался на убийство? — настаивал Ямщиков.

— Я не знаю, клянусь! — Портос обратился к друзьям. — А вы?

— Он, бывало, говорил: «Этого сукина сына убить мало», но это так — для красного словца, — сказал Атос. — Было как-то, лет пять назад: поколошматил он одного — до сотрясения мозга. Едва замяли, судом пахло. Но это случайность: мог и тот Ваньку прибить — силы равные, по пьянке сцепились.

— Значит, не было у больного повода переживать сильно из-за ущерба жизни и здоровью человека? Со свету он никого невзначай не сжил, чтобы потом замучили угрызения совести?

— Как это — невзначай, командир? — громко сказал Портос. — А если кого изжил, так что мучиться: д'Артаньян — не курсистка, не интеллигент. Нас самих изживают, а мы — мучиться?!

Говорил он с неправильными ударениями на слова, тянул не гласные, а согласные, причём не только звонкие, но и глухие, отчего выходили маленькие акустические взрывы. Свою речь Портос сопровождал резкими угловатыми жестами и метался по комнате с опасностью для оборудования и присутствующих.

— погоди, — перебил Арамис. — Иван как-то рассказывал со смехом — ну, это не велик грех, он почти всё со смехом рассказывает — говорил: когда его назначили начальником отдела, почти сразу, как он университет закончил, то предыдущий начальник — ему одного года до пенсии не хватало — выпивать начал, болеть и вскоре сошёл в могилу. А со слов Ваньки, он рвался на эту первую свою большую должность и занял её, воспользовавшись какими-то просчётами того старичка. Хотя старик якобы по-отечески просил Ваньку годик посидеть-подождать, пока не выйдет на пенсию. Это Ваньку-то просить сидеть-ждать? Он в метро старухе места никогда не уступит, а здесь карьера.

— Чего это ты на Ваньку дохлую собаку вешаешь?! — взревел Портос. — Да за этот год подюжины соискателей блатных сбежалось бы, место ходовое, и остался б Ванька с носом.

— Нас не сам факт интересует, — настаивал Ямщиков, — а как больной к нему относится. Винил он себя в преждевременной смерти начальника, переживал?

— Нет, конечно, — ответил Арамис. — Я Ваньку знаю: он без чувства вины, без оглядки, но это только если человек чужой.

— Да, если чужой! — согласился Портос.

— А на свою жизнь больной покушался? — спросил Ямщиков, обращаясь ко всем.

Ребята снова стали переглядываться. Маша вдруг судорожно всхлипнула и пнула осколок, который отлетел, кувыркаясь и звеня, и ударился в ногу Арамиса.

— Да, было... — вздрогнув, сказал тот. — Я, честно слово, так и не понял тогда — в шутку он или всерьёз... Рассказывать?

— А для чего я тебя вызвала! — вскричала Маша. — Чтоб ты мне руку изрезал и домой спать ушёл?!

— Мы раз играли в футбол — летом, на Грушинском фестивале. Не помню, на чём схлестнулись, но на карту поставлена честь команды. «Костями ляжем, а победим», — решили и вышли на поле. Бегали-убивались, но у них мастера... И наказали нас всухую, с разгромным счётом. Публика, как назло, болела против нас — освистали. А Ванька капитаном был — ему двойной позор. В общем, опустили мы уши на плечи и пошли на берег воложки, за лес, палить костёр. Стемнело. Сидим, палим, синяки считаем, игру разбираем, пиво пьём, то-сё. Потом говорит кто-то: Ваньки нет. Покричали — нет. Ну, нет и нет, в палатку спать пошёл. Тут закуска кончилась. Послали одного... Возвращается уже бегом: Ваньки в палатке нет и не было! У всех тогда подозрение шевельнулось: видели, каким он после игры был, но вслух забоялись сказать. Прикинули, где можно искать, — и от костра врассыпную. Мне выпало вдоль воложки идти, к лодочной стоянке: может, на лодке катается. Пролез кое-как через лес к воложке, пошлёпал вдоль берега. Лягушки орут, мочи нет, из-под ног в воду сигают, плюхаются, из лагеря тоже ор несётся в тысячи глоток пьяных и гитар, барды хреновы, звук от горы отражается, и не прислушаешься никак. И народу кругом десятки тысяч, а вокруг меня — ни души. Иду по тропе, без фонаря, благо луна выныривает. Глаза к темноте привыкли, смотрю: на светлой воде, за камышом уже, на самой глади, голова торчит неподвижно и начала плеч. По очертаниям сразу Ваньку узнал. Подошёл к кромке, а окликнуть боюсь. Одежды на берегу не видно... Я затрясся весь. В чём был, стал в воду тихонько заходить — благо рядом прогалина в камыше рыбаками расчищена. Ракушки под ногами хрустят, ил вязкий по щиколотки, шатает меня — с кочек срываюсь, и пузыри с вонью лопаются... Вышел за камыш, а там для меня глубоко уже. Иду на самых цыпочках, голову задрал к небу. Вдруг мышь летучая мне прямо на лицо спикировала, я чуть не захлебнулся, а сам думаю: да что ж ему сказать-то, чтобы не кинулся в глубину — не спасу ведь! И я

уже заранее бояться стал: если с первого раза не найду, то на второй нырок меня может не хватить. И надежда окаянная была: он вот-вот сейчас обернётся и крикнет мне в самое лицо: «Проверка!» и расхохочется, как всегда. А какая проверка? Кого? Зачем? И чёрт-те что ещё лезло — не могу, клянусь, говорить — не поверите просто. А знаете, чего я испугался конкретно?

— Я и удивляюсь, — сказал Портос, — чего струхнул-то, впечатлительный ты наш? Ну сероводород, пиявки, ил — делов-то!

— Неподвижности фигуры, безмолвия Ваньки испугался. Сколько он там простоял? Мы каким всегда его видим: фонтан энергии, машет руками, мелет языком без конца. Сколько лет Ваньку знаю — и, хоть убейте, ни единого разу не видел, чтобы он размышлял отстранённо или книжку читал. А тут в безмолвии смотрит на воду и не шелохнётся. Лягушки орут, как с ума посходили, — я их с той ночи возненавидел, вдалеке где-то ребята зовут Ивана, а он — вот он, передо мной, истуканом стоит, на лунную дорожку, кажется, смотрит. Шага три до Ваньки оставалось, и тут меня осенило: «Д'Артаньян, — шепчу громко, — это я, Арамис. Мужики послали сказать: мы завтра реванш берём. Слышишь? Реванш будем брать завтра. Убьём их завтра!» — Вижу, дрогнула голова. — «С утра сгоняю в Самару, привезу ребят с кафедры физкультуры — и убьём гадов! Мы уже план игры разработали». Ухо чуть-чуть ко мне повернулось: услышал, понял. И дальше я уже плёл без остановки и во весь голос, а самого колотит, озноб, кожа гусиная! Иван повернул, наконец, голову ко мне, даже корпусом немного развернулся. Я тогда подплыл, взял его под мышки и тронул с места. Ну, дальше выбрали кое-как на берег и пошлёпали в лагерь, напролом через лес: с одежды течёт, в кроссовках чавкает, ветки по мордам... Я околесицу всякую несу, кричу на весь лес, ребята слышали, набежали; он — молчит, дрожит весь, переохладился сильно...

— А я помню, — тихо сказала вдруг Маша, прижимая забинтованную руку к груди, — он тогда простуженным с Груши вернулся, сказал: купался на озере, а в нём родники. Я собралась ухаживать, а он только ржал: чай, не мимоза, русскому герою надо закаляться как сталь! Обманул, значит...

— Очевидное покушение на самоубийство, — сказал Ямщиков, не обращаясь ни к кому. — Оно могло запать больному

в зрительную память? Это долгое глядение на лунную дорожку на фонах эмоциональной травмы и переохладения организма и аномальной окружающей среды...

— Вряд ли, — ответил Арамис. — Ванька не сентиментален. После того случая я стал приглядываться к Ивану, но чтобы заметить в нём что-то новое — нет, несколько не изменился.

— А ты ждал, что Чапай луну из болота вспомнит? — вступил Атос. — Я не уверен, что — пусть даже двухчасовое — стояние в прохладной воде можно отнести к покушению на самоубийство. А почему не пьяная причуда, например? Чудить-то он здоров! Какой он спортсмен, чтобы из-за поражения так переживать? Я позже спрашивал Ваньку: ты чего хотел? Он меня послал и настойчиво попросил не вспоминать.

— Всё же я склоняюсь к тому, — выходя из задумчивости, произнёс Ямщиков, — что было покушение. Дело не в отношении к спорту. Больной из тех, кто стремится с ходу решить для себя любую проблему, хотя бы и ценою собственной жизни, то есть по несообразной цене. Типичный для тигров выход из западни...

— Молодец, командир! — воскликнул Портос. Он вскочил со стула и затопал по комнате, размахивая руками. Окровавленные салфетки разлетались во все стороны. — Вот именно: по несообразной цене! Эх, Ванька, брат! Ну, была не была, расскажу ещё случай. Только, Машунь, без обид: ты выйди.

— Ямщик, докладываю из фойе! Картинку не даю нарочно — жди сюрприз.

— Жду от главного интригана доклад, — сказал Ямщиков и погрозил пальцем Маше, готовой было шумно высказаться в сторону Портоса.

— Подъехала Наталья Панина, с мужем. В фойе форменный переполох. Все ходячие набежали, пялятся на Панину, как на инопланетянку. Хотя сразу не поймёшь, чем взяла. Объективно: до нашей Катюши ей далеко, но... Клямкин пытается её проинтервьюировать. Муж — детинка, чисто русский Маугли, только в английском твидовом костюме, с «береттой» под мышкой и полицейским жезлом. Ко мне подошёл вплотную, даже носками толкнул, всех теснит, дышит прямо в лицо, сверкает глазищами, а к ней обернётся — и сразу шёлковый, кот Леопольд. Панина, доложу я тебе, это нечто! Чисто восковая! И куклой не назовёшь, а гладкая-гладкая вся, ровная-ровная, матовая, ни волоска, ни пятнышка. Ковыльная блондинка! Где такие кожи берут?! Моей бы жене поносить!

С неё экспонат в музей восковых фигур лепить — и выставлять на всеобщее любование. В нашем музее, Ямщик, таких типажей ещё не выдвали: приглядишься, попробуй с пристрастием — на прекрасное будущее. Глаза небольшие, губки припухлые, вид детский, якобы наивный, но попа вполне сдобная и геометрически круглая. Мой идеал сексапила. А цилиндр шеи, рельефы, статья... — не могу! От неё запах... Всё: ослеп и ушёл нервно курить!..

— Маугли оставь любоваться собаками. Предупреди: жена освободится через час. За Паниной спустится Морозов. Конец связи. Когда Панина ответит на анкету, отправь девушку ко мне. — Сказав это в спину выходящему Морозову, Ямщиков обернулся к Портосу. — Главное, что мы должны от вас узнать: не мог ли у больного в кризисные моменты жизни возникнуть некий устойчивый образ самоубийства?

— Я про образы не берусь судить-гадать, не гадалка, а рассказать есть что. — Портос выразительно взглянул на Машу. — Прости, не для твоих ушей.

— У моих ушей удлинённые мочки! — вызывающе ответила Маша, даже подаваясь, для большей выразительности, со стула навстречу парню. — А с такими мочками всё что угодно переваришь. Теорию знать надо, понял!

— Не тяни время, — сказал опешившему Портосу Ямщиков, рассматривая что-то красное на экране. — Любая информация может самым неожиданным образом помочь. — Он кивнул на экран. — Это шоковое лёгкое больного, отбито при падении. Из него периодически кровь откачивают. Ваш друг уже много суток сам не дышит...

— Всё, командир, колюсь! — Портос скомкал последнюю салфетку, швырнул её в направлении двери и опять затопал по комнате. — С полгода назад, посреди ночи, звонит мне Ванька: просит немедля приехать к станции метро «Московская». Прилетаю на тачке — там уже Коркин ждёт: в ментовской форме и при пушке. Стоим — гадаем: обоим Ванька сказал, что угодил в переплёт из-за нехороших людей, и до утра надо что-то решить. Наконец, Ванька с ещё одним типом подкатывают. Ванька, вижу, ещё до конца не просох: хорошо, видно, с вечера приляпал. Ну, командир, это не важно: он до беспамятства не пьянеет никогда. Парню незнакомому приказал позади нас идти, а сам тронулся пешком и рассказывает. Ваньку должны были фотографировать в рекламных целях перед выборами

в депутаты — он баллотировался как раз в те дни, ну и один из чадолюбивых папаш-фотографов подсунил ему свою дочку: замыслил сбыть в надёжные руки. Посреди ночи тихо вошли в квартиру, как в старых фильмах, ворвались в спальню: папаша, мамаша, свидетели и — щёлк! щёлк! — пока Ванька опомнился, успели сделать несколько снимков и на камеру снять. Ванька, понятно, без трусов — не больно-то помашешь кулаками, пытался он аппаратуру отнять, но тех больше — отбили. Сели решать. Ваньке показали паспорт «возлюбленной», а той оказалось семнадцать лет — несовершеннолетняя, блин. Говорят: к утру фотографии будут готовы, а там — либо под суд, либо завтра женись, мы устроим, да и избиратели женатым больше доверяют. Ванька: ваша дочка — б...! А папаша — тёртый калач, толстый, гад, лысый — знаю, говорит, но в суде ты этого не докажешь. А если вдруг и докажешь, то несовершеннолетних б... тоже нельзя иметь, они граждане России со всеми правами. Плюс вопрос: а каково с этикой у кандидата в депутаты, коль он таскается по б...? Ванька: дайте подумать. Родители: думай до восьми утра, в одну минуту девятого едем в судебно-медицинскую экспертизу — фиксируем побои и сдаём сперму, оттуда с документами в полицию — с заявлением о покушении на изнасилование, и показывают готовое заявление, потом сообщаем в прокуратуру — в порядке надзора, потом — в избирательную комиссию, потом — по месту работы в страховую компанию, потом участковому и в ТСЖ — по месту жительства... В общем, целая программа уже готова. Мы идём по улице, поржать бы, но он говорит совершенно серьёзно, ему аж лицо перекосило, зубы сжал, морщится. Если б хоть одним глазом улыбнулся — я, клянусь, ждал, мы с Коркиным не выдержали бы — заржали. Смотрим на часы — пять. Вон, говорит, окна их квартиры, свет горит — готовятся. Разобрали варианты контригры. Можно не принять заявление в полиции? Коркин говорит: у меня в том отделении никого нет; через Управление можно было бы попробовать, но за утро никак не успеть. Можно замотать заявление? Следствие замотать можно — дело скользкое, здесь были варианты. Но избирательная кампания! Один звонок — и избирком узнает о заявлении в полиции: и кранты, не отмоешься, прокатят на выборах. Пришли, короче, к выводу: этих клоунов нельзя выпускать из дома с их заявлениями. Ванька: я веду жениха для их дочурки. Какой-то знакомый его,

с Безенчука, завзятый театрал из породы вечных мальчиков, со школьной скамьи пристрастился к музам. Спектакли есть — по четыре раза смотрел! Ну сумасшедший! Приедет на вечерний спектакль, насладится музами, блин, сам урод хлипкий, ночует у знакомых, а наутро убирается в свой Безенчукский район. Ванька — магнит: всякой твари по паре около него обретается, кто только не виснет! И таможенник, и таксист, и националист в комплекте с либералом, и даже конюх с несуществующего ипподрома. А этот хлюпик в ту ночь как раз у Ваньки кости бросил...

— Это Кирюша, — сказала Маша. — Да, его можно на городской женить, чтобы не ездил каждый раз. Давно пропал куда-то. Вы что, Кирюшу женили на «той»?!

— Если б женили, — покосился на Машу Портос. — Решили: если на жениха не клонут, угрожать — и пожёстче. Коркин вдруг заявляет: я только до порога квартиры; я, говорит, при исполнении, из засады сбежал, если попадусь — служебное расследование, из органов уволят, а то и под суд отдадут. Давайте, говорит, я сигнализацию в подъезде вырублю, телефон квартирный обрежу, но на порог — ни-ни, буду подъезд страховать: задержу любого, кто попытается в квартиру пройти. Ванька: дай хотя бы пушку — перед носом помахать. Коркин из обоймы все патроны выдал, в карман ссыпал, ствол проверил и с пустой обоймой дал. Сигнализацию Коркин вырубил, телефон с интернетом обрезал. Зашли с Ванькой в квартиру. Там этот боров-фотограф, ещё какой-то мужик, жена борова и дочка. Дочка — кобыла настоящая. На ней воду возить! И сложена вроде неплохо, круто, всего хватает, но больно крупна для своего возраста и на морду — лошадь лошадью. Фотограф сияет, лоснится аж: а, говорит, суженый со сватом пожаловали, ночью, прям как секунданты на дуэль, и мы сейчас своих позовём. Хвать за телефон — шиш! — Коркин обрезал. Сотовый доставать побоялся. Второй мужик пошёл к двери, сунулся к глазку: за дверью, говорит, ещё двое, один в полицейской форме. Хозяин — ничего, улыбается: зятёк у меня что надо, быстро организовался, но на сей раз поезд — ту-ту! — ушёл. Тогда я: ты, говорю, морда нерусская, за базар отвечаешь или одни понты?! А вот, говорит, полюбитесь на фотки — готовы, образцы спермы жениха дорогого взяты при свидетелях знакомым судмедэкспертом и рассованы по холодильникам свидетелей же, чтоб не прокисла... Хохоchet,

гад, издевается: да и, говорит, почти русский я, живчик только, летучий, поживее вашего буду, а вы молодые, да как сонные мухи ползаете. А если, говорит, вздумаете дочуру мою силком подмыть — замараетесь попусту. Глядим на фотки, на видео — Ванька на них абсолютно узнаваем. Я: а если отступные дать — сколько? Нет, боров свой пятак сморщил: чем, говорит Ваньке, тебе моя кровинушка не пришлась? Я её кормил-поил самым лучшим продуктом — вон какая вымахала, а что не фотомодель, так и ты не мачо, как профессионал утверждаю: долговязый ты, сутулый и морщин не по возрасту, потасканный какой-то, измождённый; да и зачем тебе модель, ты ж работяга и без пяти минут депутат: домой будешь являться ночь-заполночь, а в темноте не всё тебе равно, какая у жены челюсть, было бы чего посуущественнее, а этого добра у неё вдоволь, сам знаешь. Я, помню, стою и думаю: не-е-е, такого не запугаешь. Жена боится его, как сатану, слова вымолвить не может, он её на кухню отослал — «стол для дорогих гостей собирать», и кобыла-дочка тоже, видать, не раз бита была. Тогда Ванька говорит: я вам жениха привёл, непьющего, воспитанного и так далее, театр любит, но как дошёл, что иногородний, папаша опять пятак сморщил, дочка чесаться спиной о косяк дверной принялась. Мою кровинушку, папаша говорит, и за полуметровым из центра города не сдвинешь, а мне самому жилплощадью с ней делиться — слишком жирной будет. Нам, говорит, городской, имущий и перспективный нужен. К тому же любитель театра — не деловой, значит. Кобыла стоит у стенки, всё открыто — рот, буфера, пупок с пирсингом. Глазеет, слушает с дичайшим любопытством, как на концерте попсы, балдеет просто от ситуации, и мне, клянусь, показалось, где-то жалеет Ваньку — по-человечески. И говорит: Иван, милый, неужели совсем-совсем не нравлюсь? Я же тебя спрашивала — уверял: лучше всех! Врал, значит? Или обидно, что не первый у меня? Хочешь, говорит, я тебе одну свою одноклассницу приведу, девицу, она год уж как ищет, кому бы добро своё сбить? Даже двух целок подведу — и квиты будем. Ванька тут побледнел... Вытащил пистолет... Второй мужик дёрнулся было подойти, затем полез в карман за сотовым, наверное, и я решил: пора начинать, и дал ему меж глаз, да так хорошо попал — он, как лёг на пол, больше и не вставал. «Незаряженный», — усмехнулся папаша. На шум из кухни мамка вылетела и к дочке — хочет увести, а та шарахнулась, чуть ли не на «свечку»

встала, не далась, кобыла хренова. Ванька обойму выдернул, показал борову. Я остолбенел — там был один патрон! Я мотнулся было к Ваньке, а он обойму вогнал, передёрнул и на меня направил, как бешеный сделался: «Отойди!» — кричит мне. Те видят, что мы уже не по сценарию — струхнули. Ванька придвинулся к папашке. Тот уже молчит, пятится. Ванька ему дулом в пузо ударил, и сильно, как только палец на курке удержал, не выстрелил — и в самое лицо борову шепчет: ты шантажист, гнида, тебя убить мало! Кто ты такой, чтобы дорожку мне перебечь? Один, говорит, патрон всего один, но мне хватит одного! Я вас накажу — всё ваше гнилое семейство! До конца дней от крови моей не отмоетесь! И резко отпрянул от дядьки: пистолет перед собою, перед самым лицом держит, смотрит на дуло, не отрываясь, глаз у него правый дёргается...

— Что ж ты! — вскрикнула вдруг Маша и рванулась к Портосу. — Друг тоже мне называется! К Ване за помощью табунами бежите, а как ему помочь — нет вас!

— Я не ожидал, Маш! Когда он успел зарядить?! Он этот патрон, оказалось, прикарманил на нашем стрельбище, в Жигулях...

— Есть «наше стрельбище»?.. — пробормотал Ямщиков.

— Ну и?! — вскрикнул Арамис.

— Ну и тут ясно стало: застрелится сейчас! Ну, видно по нему — застрелится! Я, клянусь, ждал уже выстрел! Папаша зенки выкатил, руку к Ваньке тянет, но слова вымолвить не может — перехватило дыхание со страху. Благо дочка, кобыла эта, вырвалась от мамы и как Ваньке крикнет: «Уходи от нас! Уходи! Отпусти его!» Это она уже отцу — и бросилась ему на шею, лицом в плечо жирное воткнулась — и рыдать. А через соплю слышу: «Я скоро замуж выйду, съеду от вас, есть у меня ухажёр...» Папаша, наконец, очухался: иди, мне бешеный зять не нужен. Я от злости... Повезло им, что кобыла своего папашу загоразивала: толкнул обоих — на пол грохнулись... Потом расплевались и ушли. Я в прихожей сказал пузану: смотри, если ещё раз мурло высунешь, приду с командой — не взыщи! Ничего: успокоились они.

— Потом большой этот случай навязчиво вспоминал? — спросил Ямщиков.

— Да ну, в хохму всё обернулось. Только вышли за порог, Ванька просиял: как мы их, а?! Коркин спрашивает: ну что?

Ванька ржёт: я, говорит, пушку к дурной башке своей приставил, они и обделались. А про патрон Коркину — ни слова, патрон он на память той кобыле бросил: на, говорит, свидетельство о добрачном разводе, и швырнул ей под ноги.

— А я и не знал, что патрон был, — пробормотал Атос.

— И я, — отозвался Арамис. — Когда при мне разговор зашёл, Ванька так изложил: я, говорит, пушку к сонной артерии приставил и повернулся сам так, чтобы дуло напротив папашиного брюха пришлось, и крикнул, мол, сейчас всю квартиру кровью залью, не отмоетесь, два трупа иметь будете вместо зятка.

— Да-да, командир, этот случай сразу в анекдот обернулся, — сказал Портос. — В то утро, когда возвращались, я спросил Ваньку: тебе что, Натальи мало? Зачем на такую кобылу вскочил? Да ещё в то время, когда надо по струнке ходить. А он: разбитые корыта не чинят — у него тогда уже, я не знал, разладилось с Натальей, он с расстройства и в депутаты передумал лезть.

— Понятно, — сказал Ямщиков. — Вряд ли чисто гусарский сюжет нам пригодится. Как думаете, мужики? Мороз!

— Слишком быстро конфликт нашёл разрешение и обратился в хохму, — ответил невидимый Морозов. — Вечером его поила незнакомая девица, поила явно поговору с родителями — то есть основательно, возможно даже, что-то подмешали, затем нападение родни на ослабленный алкоголем и сексом организм — это заняло каких-то полчаса, и то — уже в эти полчаса больной не заикнулся на переживании, а разработал два спасительных плана: женить вместо себя театрала и вызвать своих друзей для запугивания. И эти реальные надежды рухнули только в самый последний момент перед кульминацией — не успел он и помучиться безнадёжностью, как дело решилось самым благоприятным образом, а через пару минут после кризиса и вовсе приняло вид типичного приключения мушкетёра.

— Вот-вот, — согласился другой невидимый голос, — значит, устойчивый образ покушения не мог запечатлеться. С этого сюжета клип не выгорит. И на лунной дорожке тоже маловероятно: там вообще до поступка не дошло, а он человек поступка. Надо, Ямщик, тот, детский военно-жертвенный сюжет тянуть, или карьерный, и эротический прощупать, если Панина даст. Но эротический — с кем, мужики, поспорить?

— тоже не спяшет: больной не эротический тип. Это подтверждают и первые ответы Паниной на анкету.

— К кому из девушек, кроме Паниной, можно обратиться за описанием эротических наклонностей вашего друга? — обернулся к мушкетёрам Ямщиков.

— Длительных привязанностей у него было всего две, — начал Портос, — Панина и ещё одна...

— Нет-нет, — перебил Арамис. — От первой длительной симпатии Ваньки проку вам будет мало. Глупышка, дурочка даже. Она и не сформулирует того, что чувствует и знает. Ванька пользовал её лет пять — за безотказность и лёгкость на подъём. Поначалу, не исключаю, был и влюблён, вернее, увлечён. Я, пожалуй, не могу и вообразить Ваньку влюблённым. Увлечённым — да, как бенгальский огонь загорался, а влюблённый... — не его стезя: он за юбкой, отринув друзей, сроду не ухлёстывал.

— Точно! Да такую фифу долго и не пролюбишь, — махнул рукою Портос. — Во всё лезет, ревнует даже к мухе на окне, а безграмотна — дико! Вечно со своими великоглупостями и кокетством приставала. Ванька старался в компанию без неё приезжать — опозорит в два счёта.

— Так-то оно так, — вздохнул Арамис, — но если не собирался жениться, зачем столько лет держал? Не раз хотела уйти, а он держал и передержал: она так в девчонках неустроенных по сей день и болтается. Мало того: от какого-то третьесортного студента-иностранца ребёнка нажила, родня отвернулась — и жизнь кувырком...

— Ну, уж это все держат, кто может!.. — гневно сказала Маша, многозначительно посмотрев на Ямщикова. — Правильная девушка сама решит, за кого держаться!

— А мнение Паниной — гарантия верной и полной картины? — поспешил спросить Ямщиков.

— Ну, Панина! — дёрнулся Портос и опять заметался по комнате. — Сними шляпу, командир! Умница-разумница, перфекционистка высший класс! Всё-то у неё по полочкам разложено-считано, как у немецкой фрау. У неё даже книги в шкафу расставлены по цвету обложек! Целую неделю книги расставляла, чтобы добиться плавных переходов и вышел общий рисунок, и рисунки меняет два раза в год, и полки раковинами морскими и поделками из стекла и фарфора украшает, сидит потом и медитирует на шкаф.

— Медитирует на корешки книг в шкафу... — как эхо, отозвался Ямщиков, уставившись куда-то поверх голов. — Ты находишь это странным?

— Не удивлюсь, — с напором продолжал Портос, — окажись, что она все свои калории, какие на Ваньку истратила, подсчитывала с точностью до сотых долей — кабы лишней дольки не передать. Ванька наш — душа любой компании, заводила вечный, перпетуум мобиле, д'Артаньян, одним словом. Расстроится наша компания без него! А эта Панина... Панина... — как на пути лежащий камень, в землю врос и весь во мху. На вид — триумф гламура, сплошной глянец. Вся вышла в кожу. «Жизнь в ванной так прекрасна!» На мой день рождения, помните, мужики, в каком декоре заявила? Явление бренда народу! Маникюр — на каждом ногте целая фигура: акриловая божья коровка, или земляничка, или цветочек и приклеенная травка — ноготь удлинить. Брови — из молочного янтаря! В волосах — бабочка-аполлон, живая! И, командир, держись — жёлтые вязаные гетры на руках! Да любой нормальный принц на белом коне — увидь! — на край света от неё ускакал бы!

— Распсиховался! — возмутился Арамис. — Отставку тебе первому дала, вот и злишься. Заботится она о себе больше нашего — с детства приучили родители — разве плохо? У неё аристократичная внешность и манеры, фарфоровый профиль... Ей трудно подобрать сравнение: поэтов таких не найдёшь, чтобы в тютельку описал. Ей во дворце жить. Сейчас требования к девушкам быстро снижаются: к манерам, к поведению, внешнему виду, походке, улыбке, к навыкам всяким, к элементарной грамотности даже... А Панина задаёт классический дворянский образец, будто в Смольном институте училась. Она одним своим присутствием создаёт атмосферу возвышенного праздника. Около неё хочется рыцарем стать...

— Это лирика о прекрасной даме, — раздался голос невидимого человека. — А мозги имеются?

— У неё в коленной чашечке мозгов больше, чем у большинства людей в головах! — воскликнул Арамис. — Мне даже непонятно, откуда что взялось: родители-то, хоть и не бедные, но простые русаки, школа, вуз — тоже «родные».

— И не лез я к ней! — с обидой пробасил Портос, отирая салфетками остатки крови на могучих кистях рук. — Не люблю я девок таких, что тронь её, и сразу что-нибудь отвалится, помнётся, сотрётся, и сам перепачкаешься о неё... — фу!

И не позволит волосы тронуть, на бантик или в ушко подуть — чтобы причёску, вишь, не испортить. Да ну!

— Не с твоими лапами Афродиту трогать, — дружелюбно уже продолжал Арамис и обратился к Ямщикову: — Она вам разложит Ваньку по косточкам. В неё легко влюбиться, да трудно любить: независима, как сиамская кошка. В ней заложено какое-то манящее противоречие: она и девочка — и дама, и своя — и чужая, и любимая — и ненавистная. А я жалею, что Наталья из нашей компании выпала — противовеса не стало...

— Я на тебя удивляюсь! — вскипел окончательно Портос. — Да, числится за ней пара-тройка языков иностранных. И что: нужны они нам больно-то, в Самаре?! Ну не знает Ванька, как вкушать гаспаччо — ложкой из глубокой тарелки, или соломинкой из высокого стакана, или макая булочку... Ну не умеет он, как она хотела, польку и краковяк танцевать. А сама?! Книксен ей удаётся на славу — мои аплодисменты. Мазурку скачет как кенгуру. Но это всё не по-нашему! На набережной, помните, сидели в рестике: ей, вишь, лобстеры канадские оказались недостаточно свежими. А какими они должны быть в Самаре — канадские лобстеры? Чем ей наши волжские раки хуже заморской тухлятины? Да с жигулёвским пивком! Чего б ей не хвалить не польские, а наши блюда. Правда, икру астраханскую и камчатскую Панина кушает, и на том спасибо. В магазине одежды — случайно видел — вообще караул кричи. Как она, командир, в шопинге преобразается — умора! Это как если музейный крейсер «Аврора» с якоря сорвался. Плавает между стендами по строго намеченному маршруту: чё новенького пришло к сезону? А сезонов у неё, вопреки природе, десять в году! Из сумочки пачка дисконтных карт душу греет — любит их доставать, перебирать и любоваться. Скажет Ваньке: зайдём, носовой платок присмотрю — а мечет с полок целый гардероб! На простые шашлыки в сосновый бор, в Прибрежном, в новых джинсах Шанель едет! А мы все только и хлопочи: что да где постелить ей под зад. Понтов — немерено! Зачем Ваньке вся эта пурга? Зачем эти бесконечные фишки, от которых в глазах рябит, мысли путаются? Ваньке она — на первом свидании! — чуть ли не гестаповский допрос учинила: а какие, милоч, у тебя доходы в реале и бизнес-планы на ближайшие двести лет — с учётом обеспечения потомства в семи поколениях; а

покажь-ка мне своё генеалогическое древо, где ты там на ветке, аки Соловей-разбойник или Маугли, сидишь; а что, бурлачок, со здоровьем твоим деется — долго ли протянешь ляжку-то? Не постеснялась даже медицинскую карту попросить и заставила дважды кровь сдать!

— Разумное обустройство земной связи, так и мы рекомендуем, — сказал Ямщиков, пожав плечами и незаметно для парней кивнув Маше. — Браки прекрасно прогнозируются, если исходных данных достаточно. Девушка, я понял, ценит себя и просто не хочет близости с человеком мельче своего масштаба личности...

— Не хочет, — сказал Атос. — Багира и Шерхан никогда не сойдутся. Она, не исключая, Ваньку в резерве держала.

— Вы скажите лучше, — резко встала Маша, прижимая забинтованную руку к груди, — Ваня упал — это попытка убийства или самоубийства? Что?!

— Расстройство духа, — уверенно сказал Арамис. — Неудача на работе, девушка ушла к другому, мы как-то отделились — всё разом навалилось и... — какой-нибудь нелепый толчок — и покушение на самоубийство.

— Могла и мафия скинуть, — неуверенно возразил Атос. — Случайную неосторожность мы исключаем.

— Если мафия, то следы найдём: Коркин занимается, — с горячей убежденностью сказал Портос. Лицо его стало злым. — Незадолго до своего падения Ванька мне звонил: сгорели дотла какие-то склады с импортом, и ему — на сотовый — вышли неназванные люди: предложили выплатить страховую премию, если он поспособствует, чтобы расследование страхового случая провели очень формально, — за вознаграждение, естественно. Обещали «подкинуть на терем с видом на Волгу» в Овраге подпольщиков или на просеках.

— А больной как реагировал? — спросил Ямщиков. — Ему угрожали?

— Нет, сначала они должны были прощупать, выйти на родных и близких. Вот узнали же, что строиться собирался. А Ванька сразу нас обзванивать стал, предлагал: а не попробовать ли вознаграждение взять, а плохих людей повязать? Решили притормозить — Коркина дожидаться, он должен был из командировки, с горячей точки, вернуться. Дождались...

— Коркин предполагает, — сказал Атос, — что Ванькины телефоны прослушивали плохиши.

— Плохиши — это как понимать? — поинтересовался Ямщиков, глядя на Машу, которая застыла с выражением ужаса на побелевшем лице. — Уголовный мир, этнические группировки?

— Не только, — отозвался Портос. Он набычился и шагнул в центр комнаты. — И своих шакалов полно кругом: рыскают, добрых людей ищут — покусать, пообъесть норовят. Мы поклялись: если такой шакал кого-нибудь из нас или близких наших укусит, даже только пасть разинет, чтобы укусить, — бить его сообща, как в старину в общинах били — немедленно, на месте преступления, своим судом, не считаясь с собственными потерями. Только так восстановим уважение к себе, к русским, к Самаре. И самоуважение, кстати! Ты, Маш, не сомневайся насчёт нас! — повернулся он к девушке и тряхнул кулаком с зажатой окровавленной салфеткой. — Если откроется криминал, отомстим за Ваньку! Давно руки чешутся! Сейчас не отличники нужны, а бойцы по жизни — и Ванька боец! Пусть он черствоват душевно, идеалов не держит, пусть невнимателен к окружающим, кроме, конечно, семьи и друзей, зато много работает, не брезглив, спокойно гуляет по моргу, у него высокий болевой порог, с детства преодолевал сильную боль: с треснутым голеностопом проехал за рулём сто километров от Тольятти до Самары. Если бойцом родился, не нужно его ломать и охаивать, проклянёт потом, из дома, из государства уйдёт — хлопнет дверью. В руки сорок пятый калибр и пули «дум-дум», чтобы не делать контрольный, — вот Ванькино общественное предназначенье!..

Глава 9 Панина

— Ну, Марья Сергеевна, вы просто умничка. — Ямщиков, притворив за ребятами дверь, подошёл к Маше, взял её забинтованную руку. — Как раскололи молодцов!

— Я в них разочаровалась, кажется, раз и навсегда, честно, — жалобно и устало отозвалась Маша, отводя взгляд от поощрительно улыбающегося Ямщикова. — Как они могли не приехать немедленно? А теперь петушатся — предназначенье...

— Вы несправедливы к ним: это, я думаю, Морозов специально так подал, чтобы вас слегка подстегнуть.

— И куда я теперь с такой рукой? «Шрамы на всю жизнь»...

— Надо же: куклу навертел...

Ямщиков опять улыбнулся и принялся разматывать бинт на руке девушки, которая с нарастающим ужасом следила за волнами залитого йодом бинта, ниспадающего на пол.

— Ни царапинки, — тихо вздохнула Маша, оглядев свою кисть. — Вы здесь все обманщики. И меня испортите, — спокойно сказала она, не поднимая глаз. — Я уже и врать наловчилась, и вдохновляться, как вы... Только не обижайтесь! — воскликнула девушка вслед резко отошедшему Ямщикову. — Я теперь обидеть вас не посмею, как тогда, на квартире. Я теперь тоже, как Ваня — тигр в западне, на всё готова. Захотите сделать своею любовницей — и не пикну даже, и мамочке не скажу. Как теперь в семье жить дальше? Мне опора нужна. О брате все всё знали, одна я — дурёха несусветная — ничего. Случайная потаскушка жизнью его распорядилась... В нашем классе тоже есть такая, тоже родители не знают, как избавиться, тоже чем-то лошадиным за версту

несёт, — вот таким бы первым и гибнуть, а они в спасителях у порядочных людей ходят. Наш Ваня порядочный ведь, да?

— Без сомнения. Пятнышки есть, но они у всех...

— А я и пятнышек не замечала, как с глазами завязанными жила. Панина сейчас войдёт на своих цыпочках — эта уж наверное тоже от какой-нибудь беды или греха Ваню уберегла, обязательно выяснится... Да-да, Иван Николаевич, увидите: ночь-заполночь, а она явилась в больницу, как к модному фотографу за портфолио. — Девушка начала распалаться. — Явится сейчас вся в брэндах и фотомейке, вся в шелках заморских и в макияжах карамельных, а то и в жемчугах от Микимото. И обязательно в капроновых чулках со стрелкой. Глупые мужчины с ума сходят от капрона со стрелкой, вот она и гробит своё здоровье, лишь бы привлечь. Сами увидите: только присядет на стульчик, примет портретную позу — и обжила ваш кабинет, что свой будуар, а вы все вмиг станете её гостями, и будете пляться на её кожу, на глазки, да млеть, да служить и подавать ей самое лучшее, а о брате моём, и обо... обо... обо всех нас забудете. Панина для простого люда звучит, как дудочка крысолова. А по сути своей — сирена: заманит и сгубит. Несёт свою причёску как поднос с хрусталём. Она — честно! — кошек не любит, потому что кошки не обращают на неё никакого внимания. Зато собачку свою, болонку-лизуху, обожает пуще всех на свете, потому что прыгает на неё от радости и лижет. Также мне скромница — в просвечивающем насквозь платье и прозрачном белье. Одна показуха. Она, если хотите знать, от одного только запаха своего заводится и пливёт, я точно знаю. Разогревает кожу на солнце или водою, потом сидит и нюхает руку на сгибе локтя, и грудь свою, подмышки нюхает, даже ноги. И лизнуть себя может! И потереться! Я видела в фитнес-клубе: она позанимается, вспотеет, а потом украдкой нюхает; на лице удовольствие, будто под венец собралась сию минуту. Да ну её! — Марья топнула ногой. — Противно даже говорить! А мамочке как же, про покушения не рассказывать?

— Не надо пока... Вот что, Марья Сергеевна... — Ямщиков умолк. Он выключил экран, потом с минуту машинально вертел скальпелем в руке и имел вид собирающегося с духом. Наконец он кивнул сам себе, положил скальпель на стол, резко поднялся и шагнул в сторону Маши. — Вы, Марья Сергеевна, сейчас отдыхать пойдёте, и может случиться, долго не смогу оказаться

с вами наедине... а после заявлений вашей мамы... надо спешить... и мои личные обстоятельства вы знаете... и тем лучше, меньше вранья... Мария, я прошу вашей руки! Я теперь знаю: буду счастлив только с вами, а вы, хочу верить, — только со мной. Это безумие, но я уже не хочу дальше без вас. Решайтесь! За вами слово.

Маша поначалу просияла и чуть было не вскочила, но смогла взять себя в руки, опустила глаза долу, продышалась, проморгалась и, поджав ноги, принялась свёртывать бумажный кулёк.

— Это очень много, что за мной слово, Иван Николаевич, очень много, — с едва сдерживаемым торжеством, шумно вздыхая и подбирая слова, начала она. — Мы с вами всего-ничего знакомы, а вы мне судьбу свою готовы вручить. А как мне с ней обращаться? Не умею я судьбами владеть. Вы же не прыщавый мальчик-ухажёр, вы с поклажей, да ещё с тяжёлой-то какой. И мне её тоже тянуть — стань я вашей женою. Я, честно, бесконечно вам за предложение руки и сердца благодарна. Такой мужчина мне предложение сделал!.. Я запишу и подумаю — ладно? Все говорят: ухажёров много, женихов мало. Но куда мне замуж сейчас: сижу вот обманутая вся и побитая. — Девушка совсем уж трагично вздохнула, сползла со стула на корточки и принялась у самых ног Ямщикова собирать с пола бинты и стекляшки. — Мне, Иван Николаевич, куда легче решиться, если надо, любовницей вашей стать, чем женою.

— Ну, хозяйюшка, ну, Марьсергевна, — разулыбался Ямщиков, усаживаясь перед монитором, — мы с вами далеко зайдём! Чесслово, с каждой минутой всё страстнее желаю вас в супруги законные. Эх, нет времени побегать за вами по всем правилам. Ладно, погнались...

Ямщиков включил монитор. На экране возникла фотография мальчика.

— Ваня! Из семейного альбома! — воскликнула Маша, прижав машинально кулёк со стекляшками к груди.

С фотографии тревожно и вопрошающе глядел четырёхлетний мальчик, в беленькой рубашке с приколотым на груди бантом — чёрным в мелкий горошек.

Ямщиков поморщился как от боли и даже отодвинулся от экрана, разглядывая портрет.

— Чертовщина какая-то, — пробормотал он, виновато покосившись в сторону Маши, и прибавил звука. — Опять что ли знак?..

— Кто вернёт его живым, вернёт матери, отцу, сестре?! — зывал чей-то властный голос. На экране появились фотопортреты Саблиных.

— Я! Я верну! Я! — раздались в ответ громкие мужские голоса.

На экране возник улыбающийся Иван Саблин, сидящий в очень представительном кабинете под знаменем России.

— Кто спасёт его не родившихся детей?! — вопрошал голос. — Кто коллективный врач?!

— Я!!!

— На кого вся надежда?!

— На меня!!!

— Кто лучше всех знает своё дело?!

— Я! Я знаю! Я!

— Кто исправит свои ошибки, оправдает своё доброе имя?!

— Я исправлю! Я! Наконец оправдаю! Я!

— Кто отличится сегодня, отдаст всего себя?!

— Я! Я отдам! Я!..

— Входите-входите! — крикнул Ямщиков в ответ на несильный и неслабый, а ровно какой нужно стук в такую дверь, и выключил звук.

На пороге возникла миловидная светленькая девушка с округлым спокойным лицом, высокая, не полная, но мягкая, будто без костей. Всю её одежду составляло очень короткое, на бретельках, платье из белого атласа и серебристые плетёные босоножки на высоком каблуке. На ней вопиюще отсутствовали какие-либо украшения — и, тем не менее, она вся сияла. Ни видимой косметики, ни сумочки, ничего, что могло бы отвлечь от незащищённой обнажённости тела, от всего великолепия ухоженной кожи. Даже мягкие и серебристые, похожие на пучок ковылей, гладкие волосы на аккуратной головке представлялись уже одеждой. Мелкое витое руно перед розовыми ушками подрагивало и оживляло лицо.

Поздоровались. Панина улыбнулась, огляделась, поискала глазами зеркало, как раньше, входя в дом, искали икону, не нашла — и лицо её выразило едва уловимое неодобрение. Потом она взялась двумя пальчиками за подол платья, чуть оттянула и приподняла, шевельнула им на свету, осталась

довольна отражением. И тогда, слегка подёрзнув, утвердилась на краешке поставленного для неё в центре комнаты тонконового табурета, в полуобороте к столу Ямщикова, скрестила ноги и, выгнув спину, оперлась руками о колени. Вся её основательная поза говорила о полном самообладании и готовности выступить не только речью, но и — для большей убедительности — всем обликом своим. Кабинет наполнился её духом. Она пахла молоком, и мёдом, и свежим пшеничным хлебом.

— Легко с анкетой управились, — скорее сказал, чем спросил Ямщиков.

Вопреки гневным взорам и жестам Маши, он продолжал заинтересованно, на запоминание, разглядывать девушку. Её фигуру делали обнажённая высокая шея; изящные гибкие и подвижные руки, ниспадающие как ветки ивы; ноги с мягкими, плавными линиями и округлыми коленками; маленькие прозрачные раковины ушей с непроколотыми мочками и влажные неопределимого цвета глаза, излучающие доброжелательность и душевное спокойствие.

— Приходилось об этом размышлять, — улыбнувшись одними губами, мягко ответила та, — когда решала, выходить или нет за Ивана.

Говоря, Панина слегка подавалась вперёд, вытягивала губы, приподнимала брови и расширяла глаза. Она будто целовала через воздух своего собеседника. Небольшие подвижные ямки у кончиков губ необычайно оживляли лицо, в них таилась улыбка.

— Если б любила, — вызывающе прошипела Маша, — не моталась бы по консультациям, а постаралась выйти замуж и родить! А дальше б всё устроилось вокруг детей, и жила бы вместе с нами в большом доме, он скоро построит...

Маша осеклась, притопнула каблуком, сжала кулаки и насупилась.

— Я что имею, то и люблю. Ты, Маша, не яришь, пожалуйста. Моя добрая воля, что согласилась рассказать о столь деликатных вещах, да ещё в твоём раздражённом присутствии. К Ивану я давно уже ровно дышу и совершенно ничем ему не обязана — чего яришься?

— Прошу вас, Наталья, — вступил Ямщиков, — в произвольной форме дать оценку Саблину как мужчине. Чем он вас не устроил как любовник, кавалер, жених, муж?

— Попали по адресу... — Девушка умокла, сосредоточиваясь, и сидела очень ровно, но тем не менее вся её фигура тихонько волнообразно шевелилась. Наконец, она посмотрела на свои ноги, приподняла носки и поиграла пальцами. — Начну издали... Девушке — молодой женщине — моего склада, моих способностей, воспитанности и прочая, и прочая выйти благополучно замуж весьма затруднительно. Ты, Маша, вольноопределяющаяся пока, а вот когда от девичьего сна совсем пробудишься и начнёшь по сторонам смотреть, убедишься: пустыня в миллионном городе. Ходят вроде бы кругом мужчины, брюки носят, даже, бывает, глаженные, часто переспать предлагают, иной раз и замуж зовут, а выйти не за кого. На тебя десятки клонут, но попомни слова мои: найти себе пару по душе и по телу среди этих клонувших будет ой как нелегко. Клонут не те, на кого наживка заброшена. Тебя, кстати, караулит особая опасность: выйти из жалости. Пожалеешь кого-нибудь, выйдешь вопреки родительской воле, промаешься, якобы долг выполняя, потом всё же сбежишь: слёзы, дети на руках — и вся жизнь кувырком.

— На меня киты клюют! — почти крикнула Маша, порывисто вскочила и уселась на табурет подле Ямщикова. — Я без мужа не останусь, вот так!

— Киты сами не клюют, китов ловят. Ну ладно. Я утверждаю: у нас это государственное бедствие — среди финансово процветающих мужчин не сыщешь умного, порядочного, воспитанного, некриминального спутника жизни. Если процветает, то выяснится вскоре: жулик, казнокрад или марионетка в чьей-то большой игре либо папочкин протеже, а сам по себе — пузырь мыльный...

— Исключения всегда есть! — вступила опять Маша.

— Есть-есть, но почему-то женатые уже все. Побегай-ка, Машунь, за свободными исключениями или женатого отбей, потолкайся-полягайся на ярмарке невест: так взмылишься — никакой дезодорант не спасёт. А не бегать нельзя. Ждать, когда принц, как подарок, с неба на тебя упадёт — век наш короток, чтобы принца ждать. Надо методично искать — по своим критериям. Сами липнут, увы, одни недоделки да чужаки-людоеды. Вот и ищем себе мужа с «береттой» под мышкой...

— А у больного есть боевое оружие? — спросил Ямщиков, обращаясь к обеим девушкам.

— Боевое оружие?! — вскрикнула Маша. — Зачем? Не знаю...

— Оружие у мушкетёров есть, — с лёгким нажимом сказала Панина. — Недавно обзавелись, узнала случайно. И вот ещё одно обстоятельство... Его я всегда имела в виду, думая про замужество. Многие знакомые ребята пропадают в каких-то трудно вообразимых, нелепых ситуациях, один за другим пропадают, чисто по-русски — ни за грош. Кого вдруг посадят, кого покалечат, а то и убьют, кто спиваться начнёт, или сорвётся ни с того ни с сего на край света, или из армии инвалидом придёт, или болеть и сам заражать начнёт, а то психанёт из-за пустяка и руки на себя наложит... В моём классе училось четырнадцать парней, а нормальных сегодня осталось шестеро. Я нелепости мужской остерегалась всегда. В искомом девами идеале молодые мужчины — разумные, здоровые и волевые — на ниве патриархальной нашей страны совсем легко и быстро могут вырасти и отточить себя как личности и профессионалы, пока мы, барышни, традиционно выращиваем и точим ногти перед зеркалами. Но где эти идеальные мужчины? Нет у большинства наших мужчин силы воли. И последней дурёхой надо быть, чтобы, даже найдя русского мужчину, а иного я и не искала, сто раз не взвесить, прежде чем решиться на создание семьи. Я буквально сто раз и взвесила, прежде чем решила расстаться с Иваном. Мне, Машунь, поверь, неудобно перед тобою, что приходится так неромантично повествовать...

— Ах, оставь, пожалуйста! — Маша дёрнулась вся. — Я уже наслушалась три короба неромантичного о Ване, как-нибудь перетерплю и твои откровения. Ещё и благодарить придётся — за помощь душеведки. Лучше скажи мне честно: если Ваня — в твоей тракторке — процветает, то непременно жулик или подлец? Или непорядочный? Или папа наш крупная шишка?

— Нет, Машунь, не жулик, но и не бесребреник: авантюры, наверное, приносят ему доход. Вот ответь: зачем они оружием обзавелись? Если б только для защиты семей от людоедов, я бы не возражала. Но оружие — армейское, и держат его в тайнике, в Соколых горах, буквально в двух шагах отсюда, а тренироваться переправляются на правобережье, в Жигули, на заброшенный карьер — там твоего брата и остальных мушкетёров Портос и Коркин учат рукопашке и стрельбе. Зачем?

— Они мужчины! — возмутилась Маша. — У кавказцев есть оружие, и у казаков, пусть и у наших мужчин будет!

— Ты не понимаешь: преимущество владением серьёзным оружием не даёт мужчине покоя — перед соблазном пустить его в дело трудно устоять. А пустит в дело, замажется в крови — и остановиться уже будет невозможно, это аксиома. Наши самарские мужчины и без «калашей» слёгкостью необыкновенной могут переубивать друг друга пивными кружками: разойдутся во взглядах, скажем, на итоги футбольного матча «Крыльев» — и кружкой в лоб. Я пыталась отвлечь Ивана от авантюры — добилась того, что он перестал делиться планами и ставил меня перед свершившимся фактом. Быть никем в делах мужа — это не для меня. Ты согласилась бы при короле-муже состоять жалкой пешкой?

— Я — пешкой?! — Маша с вопрошающей выразительностью посмотрела на Ямщикова. — Ни за что! Я хочу... Я буду при короле королевой, вот так!

— И я не склонна делиться. Машунь, я не оправдываюсь перед тобой за брата. Это уже общим местом стало: русские девушки в стране запуганы и поэтому требуют от любви к мужчине в первую очередь защищённости. Если я легла, обняла, прижала к себе большое тёплое тело и чувствую себя защищённой — это и любовь моя, это и мой выбор. А родители девушке на выданье не дают уже необходимого чувства защищённости. Я не считала твоего брата непорядочным. Беспорядочным — да. И никакой в нём тактичности, сдержанности, обходительности, ни манер, ни жеста, без чего невозможен светский человек. Церемонности в нём нет ни на грош, согласишься, Машунь. А я не гипсовая комсомолка из парка, не сталинская «девушка с веслом», чтобы на меня — без плачевных последствий — так налегать. Не раз ко мне Иван без настроения приезжал — и мне его обязательно портил, будто так и должно быть. А сколько раз задерживался или вовсе не приезжал на свидания в назначенное время. И это так называемый жених! А что стало бы после свадьбы? Я не могу любить в спешке. Свидание для меня — штука тонкая: я готовилась, настраивалась, фабулу прикидывала. Но вся моя подготовка летела кувырком. С Иваном — полная анархия и непредсказуемость. У него ни в чём меры нет. А что значит, по нашим временам, не знать меры? Значит попасть под надзор, под суд, под нож. Попал ведь уже подо что-то. А будь у нас сегодня семья, ребёнок, а он выйдет из больницы инвалидом? Муж — инвалид с самой молодости! И каково, Машунь, было

бы жене? Неистовый он: с таким долго в мире и согласии не проживёшь...

Панина вздохнула, волнообразно шевельнулась и смолкла. Маша, отвернувшись ото всех, сторбилась и тихонько всхлипывала в платок.

— Значит, в покое жить хотели, — сказал Ямщиков, продолжая сосредоточенно смотреть в монитор, — и одновременно не соглашались плестись в хвосте у мужа. Здесь без смены аллюра у одного из вас не обойтись. Он — галопирует в норме, вы — на прогулочный шаг устроены.

— А сойтись могли на рыси — посередине. Равномерная, пусть даже и скорая, поступь — тот же покой, по крайней мере, без шараханья и взятия препятствий. Больше года я над ним работала, как над будущим мужем, себя кроила и примеряла, но он не поддался — намертво врос в свой стиль, в свой круг, в свой образ жизни. У него друзья детства, служебные дела, однокурсники, случайные компании, родня, машина, командировки, дача, любимая женщина, баня, рыбалка и прочая, и прочая — всё и вся как лотерейные шарики мешаются в одном барабане. Всё и всех ему надо захватить в коловращение вокруг себя: и дела фирмы, и депутатов, и врачей, и приятелей, и соседей, и случайных попутчиков, и в числе всех — даму сердца. Это чтобы всем им в равной мере служить, и чтобы всех пользоваться — тоже в равной мере — кроме родни, конечно: родные для него — святые. Я не осуждаю, ни в коем случае, характер у него такой, но со мною нельзя было так — в равной мере пользоваться и как безделушкой мною хвастать...

Ямщиков вошёл в кабинет, держа чёрный эллиптической формы жостовский поднос, наскоро оформленный как натюрморт: в серёдке композиции дымила медная кофеварка; маленькая чашечка из розового японского фарфора в форме распускающегося бутона тюльпана на блюдечке с волнистым краем, и лежала, позвякивая, на блюде изящная, перуанского серебра, ложечка с сердечком на конце ручки; прозрачный чайный стакан тонкого стекла с золотым ободком и кусочком лимона, косо стоящим на дне; один край подноса замыкала конфетница с разноцветными кубиками рахат-лукума и сухофруктами, на другом краю торчали петухами из узкой вазочки разноцветные салфетки с мелкими рисунками несуществующих в природе цветков.

— Наталья, обстоятельства нашей встречи вынуждают меня просить вас быть откровенной в интимной сфере. Нас интересует эротическая грань натуры большого Саблина. Только откровенно! — Ямщиков налил кофе: Паниной в чашечку, себе в чайный стакан, подал. — Сочинять категорически нельзя — лучше встать и уйти.

— Ладушки, профессор Ямщиков, — улыбнулась Панина, с машинально-артистичной грацией принимая чашку. — Буду откровенна — только из уважения к вашей, считаю, заслуженно знаменитой бригаде врачей. Пожалуй, самой даже интересно вспомнить и точку наконец поставить. Обстоятельства воспоминаний, жаль, невесёлые. При Маше мне так неловко было. Она простодушка, по шаблону мамочки живёт, хотя и славная. Мечтает найти мужа с красивым разворотом широких плеч: «Кинусь ему на плечи, обовьюсь ногами, прижмусь изо всей силы — и пусть несёт куда хочет!» Каково четырёхпудовое дитяtko? Жениху её крепкий позвоночник нужен. Недавно встретились случайно — и ну упрекать меня: ты не любила Ивана по-настоящему, вот, мол, и рассуждаешь о нём по-конторски. Обозвать — за этим у нас дело не станет. Это она намекнула на моль конторскую — так, за глаза, меня прозвал один друг Ивана, Портос: я, по его мнению, Ивана тихонечко портила. А по-настоящему любить — это как, спрашиваю Марью: с первого взгляда и на всю жизнь? Так и над такой любовью потом всю жизнь нужно работать в поте лица своего, до мозолей душевных, к ней с ранней юности должно готовиться. А родители-воспитатели твоего братца к любви до гробовой доски хоть как-то подготовили? Меня, учтите, к бесконечному труду любовно-семейному подготовили — я имею право так вопрошать. Или, говорю Марье, главное — втюриться посильнее, неважно в кого, но чтобы непременно до помрачения рассудка, а «дальше всё устроится вокруг детей»? Наивная девчонка, пафосом старых романов зашорена. Поди убеди её, что не люби я Ивана, столько времени с ним не цацкалась бы. Я любила, но не без оглядки на будущее супружество. Любила, только не по указке сумасшедшей, сочинённой совсем не по жизни, русской литературы, а как на мою долю положено. И всё время испытывала дискриминацию за это. Стоило мне только заикнуться о своём понимании любви — вокруг дружно морщили носы: «Контора пишет!» У нас общественное мнение второе столетие уже повернуто лицом

к любви-истерике, любви-экссесу, к любви роковой и обязательно до гроба. Если как скрипка в кабаке по нервам визжит — о-о-о! — значит, это настоящая любовь. Одна любовь-истерика у нас имеет высшую пробу, все остальные виды любовных чувств — так... Да остальных у нас как будто и нет в помине. И попробуй не прояви полную готовность ради своего возлюбленного совершить преступление или, на худой конец, аморальный поступок — скажут: не любишь! Вот и Марья с той же оглядкой на ритуальные жертвы: не пожертвовала я собою ради её брата — значит, плохая. Спасибо.

Ямщиков подлил в чашку Паниной, затем — себе.

— Вы, наверное, находите меня бесстрастной, едва ли не замороженной особой.

— У вас почерк, речь и внешность умеренно страстной женщины, но рассуждаете вы действительно...

— По-конторски? — приветливо улыбнулась девушка.

— Отстранённо, владея собою. А это не типично для страстных, даже умеренно.

— Кто не владеет собою вполне, для тех правило: сначала влюбятся, а потом приноравливаются к новым обстоятельствам. И частенько случается — не могут приноровиться, на том любовь и заканчивается. А кончается безумная любовь, уж простите великодушно, всегда на соплях и вытё. Я собою владею вполне: и по характеру, и учили меня этому в семье. Мне сначала нужно было убедиться в наличии подходящих условий для развития чувств в предполагаемом браке, а уж потом бы я раскрылась любви навстречу, ослабила вожжи своей воли. Условия для брака с Саблиным сами по себе никак не складывались. Я пыталась создать их своими трудами — и потерпела крах. Какие послы были? Антонина Матвеевна, к примеру, просила меня — в завуалированной форме, конечно, — выйти за Ивана, дабы «остепенить, придать его жизни стабильность и регулярность, просто — в дом вернуть, к очагу с ровным огнём, под надзор супружеского ока». Мне очень льстило, конечно, что верный глаз мой и сила воли оценены. Но что ж это за посыл для брака — остепенять мужа? Остепенять взрослого человека, которому, тем паче, от природы не дано быть степенным? Я мечтала выйти замуж не для того, чтобы остепенять, а чтобы счастливо жить в супружестве. Как сегодня живу. Материальные и престижные послы к браку

с Иваном меня в целом устраивали, остальные — нет и нет. И я, верьте, готова даже была потихоньку и остепенять — поелику окажется возможно: мужа, простите, воспитывать под себя необходимо. Только если б твёрдую почву под ногами ощутила, если бы главное произошло — прочная душевная связь установилась и — ханжой не буду — телесная связь тоже. А у нас — ни той, ни другой. Душевного тепла в нём, главное, не доставало. Возможно, только для меня и не доставало. А моё тепло в него так и не пробилось. Естественно, мной он гордился, я и помогала ему продвигаться карьерно, но гордился чисто внешними атрибутами: образованностью моей, умением поддержать беседу и расположить к себе, изяществом, даже открытой завистью своих знакомых и друзей гордился. А душевные мои порывы, вся внутренняя сторона моего «я» — это его вовсе не интересовало. Я, к примеру, имею пристрастие с близким человеком говорить на отвлечённые темы...

— И я, — сказал Ямщиков как бы про себя, чтобы не перебить.

— ...О жизненном цикле ленточного паразита, о художниках и бубонной чуме в эпоху Возрождения, об астрофизике даже, о чёрных-белых дырах, — обожаю я любовную игру, романтический праздный диалог в постели... — да мало ли. А он в ответ: хи-хи, ха-ха, зубоскалит, пародирует, в лучшем случае промолчит, сделает отсутствующий вид, примется зевать...

— А пробовали откровенно с ним поговорить?

— Совсем откровенно нельзя говорить с мужчиной, в котором рассчитываешь обрести себе мужа. Такого рода откровения вмиг дружбу превратят в сотрудничество, а любовь — в секс. А у нас, к счастью, не Америка с её публичной психоаналитикой. Эти их чудовищные откровения и безумные тренировки только выхолащивают чувства, оставляют человека голым и одиноким, делают его по-настоящему больным. А я хотела быть любимой женщиной Ивана, первоклассной хозяйкой и матерью, непревзойдённой любовницей, но только не консультантом в семейно-альковном мероприятии. Я не говорила, а незаметно работала над Иваном. Грустно вспоминать... Вас же эротика тоже интересует? Так вот, я целый год учила Ивана обращению с собой. Прелюдия для него — сущая маета, хуже пытки. Страстный шёпот, смятенное дыхание, вздохи, этот клёкот в пересохшей гортани — всё это для него не представляет ни малейшей эстетической ценности. Я люблю, чтобы мужчина тёрся о меня всем телом, сжимал меня всю, волосы на голове

моей шевелил и почёсывал затылок, чтобы дрожал от страсти и мне свою страсть передавал, электризовал меня, и прочая, и прочая... Как замуж выходить за мужчину, которого, простите великодушно, почти год учишь, как погладить себя, водишь его руку, через стыд переступаешь — и никакой ощутимой отдачи. Я понимаю: нервная система у него иная, пальцы нечувствительные, мысли в другом месте находятся, всё понимаю, но если ты хочешь получить меня в жёны, должен подстраиваться, идти навстречу: приобретать новые привычки, учиться искусно имитировать, на худой конец. Нет, он, видите ли, на службе выкладывается полностью, на гулянках с друзьями, а на мои телячьи нежности сил уже недостаёт. Ну, нет так нет.

— Значит, в случае заключения брака с Саблиным, — полуспросил-полускавал Ямщиков, — вы бы, в конце концов, либо сбежали от него, либо взяли себе любовника?

— Если бы проявила слабость и не рассталась, пошли дети, то любовник как лекарство был бы вполне вероятен.

— Вы легко распознаёте эротического мужчину?

— Очков не надо, — разулыбалась девушка и вознесла взор к потолку. — Когда работала секретарём в правительстве Самарской области, сидела как-то одна в приёмной, печатала. Потом задумалась о чём-то, от клавиатуры отвернулась, ногу на ногу забросила. А была в коротком платье и капроновых чулках — таких просвечивающих, из толстой-толстой нитки, с канатной стрелкой, вульгарных таких чулочках: страшно люблю их носить — в антитезу существу в бутиках. Вошёл посетитель, мужчина молодой, и мне что-то говорит. И вдруг загнулся. Оказывается, я смотрела ему прямо в глаза, но ещё не совсем переключила внимание от своих мыслей и ногтем мизинца поскребла ногу на внутренней стороне — много повыше колена. Он услышал этот характерный треск и... Я видела: выражение его лица резко изменилось, губы непроизвольно шевельнулись, дыхание перехватило, глаза расширились, как от страха. А лицо мужественного типа, фигура атлетическая, высокий курчавый блондин, голубоглазый. Такой, наверное, и стал бы моим любовником, если б за Саблина вышла.

— Итак, вы уверены: у больного не эротический склад натуры?

— Есть мужчины, даже если и немного было у них любовниц, но эти женщины приняли значение верстовых столбов

на жизненном пути: по ним мужчина сверяет былое, помнит и любит уже не женщину, а себя в ней, своё тогдашнее впечатление. Иван — я абсолютно убеждена — не имеет пристрастия к женщинам: он никогда специально на них не охотится, он пропускает мимо себя случайно попавшихся, но хороших девушек, просто замечательных девушек и, главное, вполне доступных ему. Эротичный мужчина никогда так не поступает.

— Вы полагаете, даже зрительный образ обнажённой любовницы никогда не преследовал больного? Не мог он вспоминать какую-нибудь особенную сцену из вашей с ним интимной жизни?

— А если бы вспоминал, вы предложили мне сыграть её с кем-то на пару? Перед телекамерой?

— Перед камерой, но вы могли бы сыграть эту сцену с муляжом больного. Нужны brutальные, накатанные, устоявшиеся в зрительной памяти сцены. Может быть, первое ваше соединение было впечатляющим, особенно если оно было с его стороны с элементами насилия. Акты насилия, как правило, ярко и легко воспроизводятся зрительной памятью насильника и жертвы.

— Поверьте, профессор, разыгрывать решительно нечего: ни акта насилия в заброшенной деревенской баньке, ни пылкого соединения в кабине лифта или на закопчённой крышке кипящего над костром чайника на ночном берегу Волги, ни иных впечатляющих сцен. Даже самой обидно: столько с ним прожила, а вспомнить по интимной части, собственно, нечего. Ну, для общей картины... Познакомились тривиально: на вечеринке в ресторане. На третьей минуте знакомства получила от него предложение встречаться — ну это я в расчёт не беру, вы догадываетесь, сколько у меня было и бывает до сих пор таких предложений. Инициатива встреч, можно считать, была исключительно моя, понравился активностью, напором, хотя сразу увидела: простоват, диковат, грубоват. Я была интимно близка с Иваном пятьдесят семь раз — на отдельном календарике дни отмечала. И — представьте! — на тридцати свиданиях он был нетрезв. Ну до изысков ли? С более эротичным и трезвым мужчиной за то же время, простите, я могла бы интимно встретиться далеко за сотню раз. Но это мне подай интим вкушать не торопясь, а Ивану достаточно перекусить: перехватил мой а-ля Наполеон кусочек секса между важных дел — и девушка уже не нужна, и куда-то уже

побежал. Я, бедненькая, даже подлечивалась дважды после таких его перекусок... Увы и ах, доктор: неоткуда взяться впечатляющему сюжету. Ивану бранная слава по душе, как воинствующему пустозвону — д'Артаньяну.

— Всё-таки варягу, значит, — удовлетворённо кивнул Ямщиков.

— Да, Рыцарь беспечного образа — погибай, но знай наших.

— При вашем разрыве с большим эксцессы были?

— Странно, но Иван, кажется, и мысли не допускал, что я могу отказать. Он приехал ко мне на квартиру вечером, опять навеселе, из какой-то своей компании, но по пути прихватил недурной букет чайных роз. Прямо с порога испросил моей руки, дурачась по обыкновению, и, я подозреваю, предложение делал всё же под настроение, а не по размышлению. Отказала. Решила — пора. Убежал в бешенстве, сметая всё на пути, дверью хлопнул. Затем приезжал, и не раз, я собралась с духом и ещё немного пожила с ним, не убивать же наповал, но потом... — всё.

— Ваш резкий отказ мог убить наповал?

— Определённо мог. Звучит, понимаю, очень нескромно... Мог убить, только скорее не как факт отвергнутых чувств, а как удар по самолюбию. У него, по-моему, гипертрофированное понятие о престиже. Ни с какими потерями даже временно не может смириться. Такой максимализм, я замечаю, имеет половой признак: ни одна даже самая эмансипированная женщина, самая отчаянная суфражистка не ставит свой престиж против жизни. Хотите исторический случай?

— Да-да! Обо всём, что ставится против жизни, — да!

— Деятнадцатый век, Санкт-Петербург, великосветский бал. Молодой офицер, танцуя с дамой, нечаянно, простите, пукнул и увидел: дама услышала. Он извинился, немедленно оставил даму, вышел из залы и — пулю в висок.

— А ведь легко могла спасти...

— О том и речь. Если б успела не дать ему извиниться, отвлекла чепухой — первой, какая на ум пришла, если б не отпустила от себя, не дала остаться одному. Ну шепнула бы ему на ухо: «И я так могу» — и всё обернулось бы шуткой. Сама пулячком поступилась бы — и спасла жизнь кавалеру.

— А вместо этого, наверное, беспечно растрещала всем, что случилось, опозорила самоубийцу...

— Именно так: вокруг сотни людей, а кроме неё столкнуть кавалера с роковой дорожки некому — вопрос его жизни

и смерти в одно мгновение решило её бездействие. Я держала этот случай перед глазами, о спрятанных в Соколых горах «калашах» и «макаровых» помнила, когда Ивану отказывала. И вот когда в одну из встреч в моей квартире дошло наконец до него, что отвергнут, — пришёл в ярость. Вскочил, на меня замахнулся, едва не ударил, и кричал, кричал бессвязно, грубо, бегал кругами, стулья сшибал... — фу, устроил настоящую сцену в эстетике романов Достоевского. Я не робка, но, признаюсь, до полусмерти испугалась — за него, за себя, завсех. Он, по случаю, рассказывал мне: Саблины, по материнской линии, в гневе ужасны — вот, пожалуйста, своевременно убедилась. Маша такая же. Я опять было задний ход дала: приезжай, мол, как прежде, но без мысли о браке... Это не малодушие моё, а положение вещей диктовало: нужно было тянуть время, спускать отношения на тормозах. Ну, тут он распоясался вконец: вазочку швырнул в стену, ринулся к дверям. Я в слёзы, уцепилась за его рукав, едва не висла на плечах, а он проволока меня за собой в прихожую, и кричал, матерился, вешалку сорвал... А когда оттолкнул и вырвался, грохнув дверью, я, уже в настоящей панике, первой в своей жизни, даже озноб прошиб и волосы на голове зашевелились, я, ожидая выстрела или что кинется в пролёт...

— Ожидали, что кинется в пролёт...

— Да! Я выбежала на лестничную клетку: «Иван! Иван! Ну, послушай!..» А он катился по лестнице вниз, бил кулаками по перилам, по дверям, кричал: «Если у тебя кто-то есть, я его убью!», и звук как из колодца от падающей громоздкой вещи: бу! бу! бу! бу! Соседи повывлезли: «Что?», «Кто?» Потом со дна грохнуло, весь подъезд как вздрогнул, и стихло. Пронесло — на этот раз...

— «Пронесло» — вы имеете в виду покушение на самоубийство?

— Именно!

— А теперь не пронесло... Вы считаете: Иван Саблин совершил покушение на самоубийство?

— Если это не криминал, то да: явный стереотип. Ищите женщину. Отношения с парнями у Ивана в полном порядке: он — душа любой мужской компании.

— Что было дальше?

— Вернулась в прихожую, стала перед зеркалом, смотрю на себя: из носа кровь — давление подскочило, из глаз — слёзы, общий вид... — хоть фотографа вызывай на «характерный снимок». Такого образа в моих портфолио ещё не бывало.

Никто со мною так дурно не обращался — никогда. «Тебе это надо?» — спрашиваю в зеркале себя. Тогда собрала с пола осколки незадавшегося брака, похоронила в мусорном пакете, утёрла нос и за телефон.

— Обзванивать, чтобы убедиться, что не остался один?

— Вы, Иван Николаевич, меня понимаете как никто — очень рада нашему знакомству. Тогда одна у меня осталась забота — расстаться по-хорошему и побыстрее. Выяснила: поехал «допивать» в ту компанию, из какой ко мне явился.

— А если бы не нашли, отправились его искать?

— Пожалуй, нет: чувствовала себя оскорблённой и несчастной. Доложила бы о ситуации в его семью и мушкетёрам — пусть теперь они ищут. В тот вечер больно уж раздражена была его письмом — днём его в «личку» мне кинул. Здесь один нюанс. Когда я пришла работать на телевидение и раскрутилась, мне на электронную почту стали приходиться сотни писем от мужчин — с признаниями в любви и предложениями руки и сердца. Я знаю, каким должно быть письмо от современного влюблённого мужчины или хотя бы представляющего себя таковым. Эпистолы же от Ивана — всегда пустейшие по содержанию и убогие по форме, типичный подростковый интернетный трёп: без знаков препинания, без всего... — «общение», одним словом. Я смирилась, но в тот раз добил «сюрприз»: прикрепленный файл с рисунком бутылки шампанского — «Вдова Клико». И обычный в его письме хохмо-лирический финал: «Целую милое своё Яичко».

— Почему «яичко»?

— Когда проходили в школе произведения Гоголя, попало сравнение: девичье лицо круглилось и светилось как свежее яичко. Мальчишки в классе стали искать подобное лицо — моё признали самым подходящим к такому сравнению. Как-то рассказала об этом Ивану — окрестил меня «яичком» и стал друзьям говорить: «Поеду к светлому яичку». Как вам такой образ любимой девушки? А если бывал рассержен, то, верно, за глаза, называл меня «крутым яйцом»? Нет уж, нехватку душевного тепла, отсутствие душевной тонкости смехом не заменишь. Утомительна была его весёлость...

— Спасибо, Наталья. И последнее — лично для меня: какое в вас сидит главное противоречие?

— Польщена, что заинтересовала вас, профессор. Моё главное противоречие: любопытство против осторожности.

Глава 10

Загадочность русской души

— Мне больше всех надо, а я буду отдыхать? — Маша, залитая дождём, усаживалась на заднем сиденье автомобиля и пристраивала поудобней сумку с торчащей крышкой термоса. — И вам сгложусь ещё. Я поняла: по-человечески людей просить — слишком долго выходит, даже без особенных надежд на благожелательный отклик.

— Отдохнёте! Погода — дрянь, не разбежишься, вас укачает, — приободрил девушку Клямкин. Он протёр капли дождя на боковых зеркалах и стёклах, потом бочком кое-как втиснулся на водительское сиденье и тронул машину. — И дорога — родная, узнаваемая; единственно, что всегда по-гоголевски романтически новая, с ключевым эпитетом: «И вдруг!» Дорога! Как много в этом слове для жителя самарского слилось! Погнали! А доктор Ямщиков пока о себе расскажет: как доктором стал, и именно таким.

— Да, пора мне оглянуться: как стал именно таким, — выдохнул Ямщиков. — И куда бежать дальше...

Он сидел рядом с журналистом и, набычившись, смотрел на зажатый лесом сектор дороги, выхваченной фарами у беснующейся тьмы. Косые волны дождя с остервенением били в капот и ветровое стекло, дворники их размётывали по сторонам, но тут же новые потоки и брызги со злым шумом налетали и охлёстывали машину. Шквалистый ветер не пускал вперёд, а его порывы качали машину. Капли воды покрыли боковые зеркала, стёкла запотели изнутри. Когда выехали на неосвещённое шоссе, Клямкин включил противотуманные фары и аварийный свет.

— Даю себе внутреннюю установку! — с иронией громко сказал Клямкин, вцепившись в руль изо всех сил. — Не попасть в открытый колодец, в яму, в канаву, а также под сваленное дерево или придорожный щит и ещё — не утонуть в луже. У честной компании возражений, пожеланий нет?

— Нет! — почти крикнула Маша. — Езжайте быстрее, мы торопимся!

Клямкин вопросительно посмотрел на Ямщикова. Тот повёл глазами и так, чтобы Маша не увидела, предупреждаяще поднял указательный палец. Журналист кивнул одними бровями.

— Значит, пожеланий нет, — сказал он. — Тише катишь — меньше платишь. Вы, девушка, устраивайтесь поудобней, там подушечка есть...

— Подушечка... Я буду слушать: мне, может быть, тоже интересно, куда Иван Николаевич намерен бежать дальше.

— Вам-то зачем знать?

— Это вы не всё знаете, вот так!

Журналист выразительно крикнул и опять покосился на Ямщикова:

— Ну-тес, тогда начнём пытаться бегуна... Вообще-то все анкетные данные вашей скандально известной личности в моей редакции давно уж имеются: губернская пресса к вашей неожиданной смерти на скользкой дороге, естественно, «всегда готова», так что про когда родились, про детство, детдом и прочее — это можно опустить. Дайте себя изнутри, расскажите, как формировалась личность — с подростка. Включаю диктофон...

Ямщиков обернулся к Маше. Та приблизилась к нему лицо, будто подставляясь под поцелуй, и замерла в ожидании.

— До семи лет рос в обычной семье. Потом — гибель родителей и детдом. Шесть лет в волчьей подростковой стае, но не успел зверёнышем стать — отобрали меня в Фонд российских мальчиков.

— Я знаю, — сказала Маша, просунувшись между передними сиденьями, — Николай Аршинов основал. Раньше он был фондом только для русских мальчиков.

— Фондом-генофондом... — сказал Клямкин и локтем задвинул девушку на место. — Выходит, закваска в вас крепкая, если не сломали: в детдомах иерархия почище армейской. Биты не раз были?

— И бит, и сам бил.

— Но налётчиком стать не успели.

— Не успел, но это дело случая — просто, считаю, повезло. Мы специализировались по налётам на дачные участки. Рядом с детдомом располагались большие массивы гаражей и дачных участков вдоль железной дороги. Реже набегали командой на гаражи, в основном на те, чьи владельцы растяпы или оказывались слишком пьяны. А вот дачи зачищали без разбору, только бы не бегала отвязанная сторожевая овчарка. Хорошо помню, как ходил по дачным просекам и дурел от волн яблочного духа. Хотелось в щепки разнести весь белый свет из-за такой несправедливости: сластей и фруктов мы в буквальном смысле не видывали на обеденном столе. Нет, какие-то убитые яблочки с червяками внутри и паршой снаружи нам изредка давали навалом в алюминиевых тазах, но они всегда имели сиротский вид: вялые, мёртвые, без живого духа — успели здоровые запахи потерять, пока лежали где-то на складах. А домашние дети, как мне казалось, как виделось через дырки и щели в заборах, домашние обжирались красивыми большущими яблоками, и крупной садовой земляникой, и вишней, сливами, зелёным горошком в стручках — всем. И мне хотелось учинить справедливость. Хотя дольше других воспитанников я надеялся: вот-вот взрослые опомнятся и сами придут ко мне, и принесут корзинку с земляникой, и скажут: «На, Ваня, кушай ягодку: ты хороший мальчик». За доброе слово и кулёк земляники я готов был, наверное, любого взрослого полюбить на всю жизнь. Когда перелезал через забор на какую-нибудь дачу и обнаруживал хозяев, то не сразу убегал, а нарочно давал себя увидеть, как бы предлагал свою «формирующуюся личность», чтобы дать шанс взрослым проявить себя...

— И те, естественно, проявляли... — усмехнулся журналист, притормозив и объезжая открытый колодец, — увидят «под ноль» стриженного пацана с окаянностью в глазах, да в казённой форме — и палку в руку.

— Палку, лопату, ком земли, половинку кирпича — что под руку попало, тем и угощали.

— Неужели так и никто!.. — высунулась Маша к плечу Ямщикова.

— Изредка угощали — обычно молодые пары или дети, а взрослые и старые — никогда. Их понять можно: ребёнку всегда мало, он завистлив по естеству, ему природой положено быть завистливым, однажды дай ему — не отвяжется потом. Вот

вам, СМИ, в тему, один образчик представлений самарских детдомовцев о предметном мире... У нас даже взрослые воспитанники были уверены, что виноград растёт на больших деревьях, и почти все мы хотели бежать на благословенный юг, чтобы хоть раз в жизни до отвала наесться фруктов и поблаженствовать на солнышке. А я бывал однажды на юге, ещё с родителями, и как-то рассказал ребятам и даже попробовал нарисовать, как выглядит виноградная лоза. Так меня дослушать не захотели — осмеяли. И, представьте, в конце концов и я стал им верить, что грозди растут в кронах высоченных деревьев, почему-то обязательно с иголками, а люди просто боятся на эти колючие деревья лазить на такую верхотуру, поэтому винограда мало и на всех не хватает. А чтобы наедаться всем от пуза, надо просто добраться до юга и самим собрать — мы-то не боимся лазить. Собрать будем для всех и, естественно, даром, только бы нам позволили наесться вдоволь. И мы зимой вечерами жгли во дворе костры из деревянных ящиков, курили и гадали: кто сколько за раз может винограда и прочего фрукта съесть. Да, эта наша зима... Грязный снег... Кажется, и жили только в ожидании лета, чтобы опять по дачам, остальное как бы и не важно. Не раз в то время задавал себе вопрос: чем я отличаюсь от мальчика, живущего с родителями в семье? В своём тайном альбоме разделил лист пополам жирной чертой и на одной половине рисовал ухоженного мальчика, стоящим между родителями на паркете, и он держал их за руки, а на другой — себя, стоящего одиноко на голой черте. И составил целые списки признаков, по которым я сходился или расходился с тем мальчиком. В сухом остатке: существенная разница заключалась лишь в том, что меня никто из взрослых не любит, не целует, не гладит, не балует, не защищает, а во всём остальном — без особой разницы. Я, когда пришёл к этому выводу, буквально вознегодовал на себя: вот ерунда-то, зачем мне эти телячьи нежности! Но терзания неприкаянностью своей продолжались, и я не мог понять: отчего? Ведь всё ясно, и я тогда уже всё для себя определил и решил. Наконец, обратился к одной молодой воспитательнице: обязательно, спрашиваю, чтобы тебя взрослые любили и заботились? А та возьми и брякни: любимые дети лучше растут и развиваются, поэтому мы, воспитатели, должны стараться всех вас любить. Но, говорит, от индивида тоже многое зависит: некоторые дети и на суррогате любви неплохо живут — от душевного склада

ребёнка это зависит. Оказалось, душа есть! А что это за душа такая, где она, спрашиваю. У многих воспитателей спрашивал. Те, в большинстве своём, отшучивались — загадка, мол. Стал я размышлять над загадкой, приставал к ребятам: у тебя какая душа?

— А тут в детдом приехал Николай Аршинов, подбирать ребят для своего фонда. Спросил: есть что-нибудь особенное? А ему: есть у нас один — душой интересуется, в перерывах между налётами на дачи и гаражи.

— Наверное, так и было. Из семидесяти инкубаторских пацанов забрал он меня одного, увёз, и начали в фонде со мною работать.

— Мамлюка для России готовить на деньги имущих патриотов...

— Неправда! — воскликнула вдруг Маша и толкнула водительское сиденье.

Клямкин упал на руль, машинально тормознул, машина сильно вильнула.

— Я читала об аршиновцах! Им ставят благородную цель — Россию обустроить. А престарелые начальники проворовались и обросли — и ничего уже не хотят или не могут!

— Ого, темперамент! — обернулся журналист к Маше. Проверил, пристёгнут ли его ремень. — Вы меня, девушка, по макушке своим термосом только не стукните, а то слетим в кювет или закончим под встречной фуруй.

— Не беспокойтесь: термос — семейная реликвия.

— Вы, девушка, чудо! Подле вас, доктор, всегда пасутся целые стада на зависть интересных особ... Ага, теперь припомнил: и я уже где-то что-то, кажется, читал про обустройство России, да и сам писал — раз двести. Ну-ну, доктор, и объяснили вам про душу?

— Направление мыслям, по крайней мере, задали. Главное, быстро убедили в наличии связи между душой и телом: в здоровом теле — здоровый дух, всё просто. В те отроческие годы я почему-то всегда, когда думал о человеке, всегда представлял и рисовал его стоящим на песчаном берегу реки или какого-то водоёма, в лучах круглого сияющего солнца, стоящим в одних трусах, широко раскинувшим руки и с победным криком готового броситься в воду...

— И я так рисовала, и я! «Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья!» — продекламировала Маша. — Мы с вами похожи, Иван Николаевич!

— Вырос — понял: я рисовал леонардовского человека в круге, только мой человек был в застиранных интернатских трусах. Аршинов говорил воспитанникам о загадке души вообще и об евразийской особенности русской души в частности, и я пленился этой загадкой и даже с некоторым удивлением иногда рассматривал своё лицо в зеркало: на меня смотрела загадка — так какой же я сейчас на самом деле, каким я стану? Вот появился у меня первый волосок над губой — чернее, кажется, обычного пушкового волоска. Усы растут! Рассматривал в зеркальце свои зрачки при разном свете. Потом где-то вычитал: возможна реконструкция человека по генам его детей. Это меня потрясло: оказывается, теоретически для всех детдомовцев можно воссоздать их родителей!

— Так ведь эти родители должны расти и всегда будут моложе своих детей, — сказала в недоумении Маша. — Зачем они?

— Мне было тогда лет четырнадцать — я не осознавал последствий. Для подростков нет невозможного. Я был потрясён возможностями человеческого разума, но продолжал ещё чувствовать свою никчёмность — ну что ничего не мог сделать сам. А что до загадки души... Носитель души — человек. Хочешь познать душу — познай сначала человека вообще. Я стал расчленять — и, само собой, вышел на медицину, психологию, социологию. Но главное для молодого — это всё видимое в человеке, его тело, а значит, медицина. И я поступил в медицинский. Ежегодно Фонд Аршинова собирал меценатов, и в этот день каждый воспитанник имел право под свой проект попросить финансовую поддержку и наставника. Так случилось, что не удалось мне посоветоваться с Аршиновым, и я, семнадцатилетний первокурсник, вышел на сцену и заявил меценатам: мне нужно столько-то и то-то на три года исследований.

— Ого, завязка! — воскликнул Клямкин. — Дайте пацану миллионы! Зал, естественно, вас сразу зауважал.

— А на что тебе миллионы-то, спрашивают. Тогда я гордо заявил: на себе и на добровольцах буду исследовать физиологические, биохимические и иные научные основы загадочности русской души. И потряс при этом папкой

с обоснованием проекта и бизнес-планом. В зале сначала возникло лёгкое замешательство, некоторые шёпотом переспрашивали. Потом все разом вылупились на меня, и на мгновение воцарилась тишина. Ага, думаю, дошёл масштаб проекта! Я просиял и непроизвольно, в поощрение, кивнул всему залу. В тот миг я любил весь мир. Послышался один смешок, другой... И тут заржал весь зал! Я пожалел тогда — пожалел впервые, — что родился на белый свет...

— Бедный мальчик! — воскликнула Маша и положила руку на плечо Ямщикова.

— Миллионы-то дали? — Клямкин, ослеплённый встречной машиной, едва успел объехать поваленный рекламный щит, как следующий встречный транспорт — большой междугородний автобус — окатил машину целой волной, и пришлось ещё притормозить и прижаться к обочине. — И куда ж ты так, гад, летишь со спящими людьми? Ваших будущих пациентов везёт. Вы, доктор, в отличие от меня, без работы никогда не останетесь. Не залил бы, гад, свечи... График движения у него... «Согласно графику — всех везу в морг»... Гад...

Клямкин опять вырулил на полосу и немного прибавил газу, одновременно притормаживая.

— Я тоже доктор — для своей машины. Ещё могу быть доктором для рукописей книг. Накатать мемуары планируете?..

— Не перебивайте рассказ! — гневно сказала Маша. — Все мы в чём-то доктора! А... миллионы мальчику дали?

— В тот раз не дали, конечно. Аршинов за кулисами кое-как меня успокоил, чего-то мне, помнится, обещал — и всё.

Глава 11

Кеша Полонский

— Застрелю! Через дверь застрелю! Мне терять нечего! Попомните Кешу Полонского! Я всех вижу, не спрячетесь!

— Маэстро Полонский, мне надо поговорить с вами, — громко сказал Ямщиков в закрытую дверь. — Вот моё удостоверение личности. — Ямщиков полез во внутренний карман пальто.

— Уберите руку! — взвился голос за дверью. — Знаем, чем такие мизансцены заканчиваются! А что там у красной шапочки из сумки торчит? Ракета?!

— Это термос с заваркой чая и мяты, — сказала Маша и приподняла термос из тряпичной сумки, висящей на согнутом локте. — Открывайте! — потребовала она. — это становится просто смешно!

— Подойдите, девушка, ближе. Голосок у вас поставленный, для жанра сказок сойдёт, но не мешает и саму разглядеть. Шапку долой и ближе, иначе не отопру!

Маша сняла шапочку, пригладила волосы и наклонилась к самому дверному глазку.

— Ну и маска! — уже спокойнее произнесли из-за двери. — С эдакой рожей — сидят под рогожей. Мы таких не держим-с. Эй, мил человек! Вашей дамочки у меня отродясь не бывало, если вы заявили в роли мстителя.

— Срочный деловой разговор с взаимовыгодным интересом, — сказал Ямщиков и подступил к самой двери.

— Да не бойтесь вы! — не выдержала Маша. — Я впервые к вам, честно! Мы так всех соседей перебудим. Открывайте, не бойтесь!

— Иннокентий Полонский боится! — За дверью началась возня с многочисленными запорами. — Да у меня арсенал целый! У меня электроника! Сигнализация! Полонский боится! Не видели вы меня в роли озверевшего прокурора. Я громовержец! Полонский через двадцать смертей прошёл!..

Дверь слегка приоткрылась. Ямщиков резко толкнул её плечом, и они с Машей ввалились в тёмную прихожую.

— Застрелю! — крикнул Полонский, откинутый дверью к стене.

И сразу затем из полутьмы в лица вошедшим огнём и громом ударил выстрел.

— Чёрт-те что: кино снимать! — заскрежетал Ямщиков, подхватив отпрянувшую и готовую упасть Машу. Из её рук выпала сумка и с глухим звоном грохнулась об пол. Ямщиков стал шарить по стене в поисках выключателя. — Это бутафорский пистолет, Марья Сергеевна! Да держитесь вы! Встаньте. Предупреждал же — к кому едем...

Ямщиков, наконец, включил свет.

— Бутафорский... — слабым эхом отозвалась Маша, вися всем телом на руке Ямщикова.

— Случайный, абсолютно произвольный выстрел! — пуча глаза, затараторил Полонский.

Это был неопределённого возраста узенький мужчина с приподнятыми как бы в вечном удивлении бровями и ямкой на подбородке на вытянутом холёном лице. Он живо всунул огромный пистолет в карман длинного, похожего на монашеское одеяние, белого кашемирового халата, подпоясанного позолоченной цепью, и шагнул навстречу вошедшим.

— Споткнулся вот: накидали... — он крепко поддал ногою женский сапог. — Я, — вновь мгновенно преобразившись, заговорщицки обратился он к Ямщикову и повёл глазами на дешёвенькую шубку на вешалке, — я не один, вы меня понимаете... Всё вышло так неожиданно: ночь, кромешная тьма, приход незнакомцев, выстрел!

На лестничной площадке гроыхнула дверь, и пропитый низкий голос заорал:

— Половинкин, петух грёбанный! Ты чё, козёл, дожидаясь?! Давно у меня ступеньки не считал, а?! Хочешь в лестничный пролёт без парашюта прыгнуть?! Развёл гадюшник, покою нет! По ночам уже шмаляют! Я щас тоже ствол возьму! Здесь те, мля, зона или...

— И это называется «элитарный дом»! — зашептал Полонский, пуча глаза. Он скоренько притворил дверь и сделал в её сторону трагический жест. — Полжизни угробил, чтобы в приличном доме квартиру купить, — и вот, полюбуйте на «учёного соседа»...

Дверь сотряслась от мощного удара ногой. Маша вскрикнула и вцепилась в Ямщикова.

— Щаз курну и мусоров на тя наведу! — слышался голос из-за двери, но уже без прежней ярости. — Слышь, мерин? Правила капиталистического общежития нарушаешь, а на это статья есть. Беспокойный ты: вертишься как юла. Глисты, что ли?! — Раздался издевательский хохот. — Не-не, щаз курну и легавых свистну. Кончился мой терпёж, душа крови жаждет. Слышь, мерин?!

— А бычок от сигареты о мой глазок затушит, — прошептал Полонский, склоняясь к дверному глазку. — Вот чума на мой дом! Я хочу со всеми жить в мире! Я налоги плачу! А с таким соседом на белом свете долго не протянешь. Скорей бы уж ещё кого зарезал, да посадили. Дай такому волю! Ему и свободы-то — за глаза! О, как я жажду крови!..

— Не, не ментов! Я на тя правоверных мусульман с шестого этажа спущу: пусть они тебя на Коране распнут за растление малолеток. Это только шахиду на том свете семьдесят девственниц отвалят за службу Аллаху. А ты какому шайтану служишь? В театре, петух, всё зайчиков играешь?!

— Кретин! — яростно зашептал Полонский. — Какая разница: Гамлета или зайчика играть! Дело — в «как играть»! Поди, урод, сыграй-ка зайчика на большой сцене, зал на тысячу мест, я посмотрю, какой ты косоглазый получишься...

— Разбился! — вскрикнула вдруг Маша, поднимая с пола свою сумку. — Бабушкин термос китайский, с драконами... Полвека служил, а я разбила... Что я маме теперь скажу?! — накинулась она на Полонского. — Из-за вас всё! Устроили спектакль!

— О сапог, о сапог споткнулся! — заторопился тот, сложив молитвенно руки на груди и обращая выпученные глаза то к Маше, то к Ямщикову. — В собственном доме проходу не дают! Накидали, — он опять кивнул головою на дверь, ведущую в комнаты, — и всё не на месте. А у меня порядок железный!

— А-а-а, сапог у вас не на месте?! — разъярилась окончательно Маша. — Я найду ему место! Я больше не могу! — почти крикнула она Ямщикову. — Все нам мешают!

Она схватила оба сапога, сдёрнула шубку с вешалки и вышвырнула их на лестничную площадку в дверь, которую поспешил приоткрыть Ямщиков.

— Опаньки! А теперь и хозяйку имущества! — слышался хохот с площадки. — Я её, мля, воспитывать буду. Родители не доглядели — и шляется к старым меринам...

Взбешённая Маша, между тем, угрожающе печатая шаг, направилась в комнаты.

— Это невозможно! — вскричал Полонский, тряся ладошкой перед лицом. — Напустили в квартиру дыму! Чем дышать прикажете?! Микробами из лёгких этого хама?! Курение вызывает ожог слизистых оболочек, голосовые связки грубеют — и артиста из театра пинком под зад! Я ещё и куплеты пою! — Придав лицу страдальческое выражение, Полонский ринулся на кухню. — Дезинфекцию! Скорее провести дезинфекцию!

И прикрыл за собою дверь.

Маша вытолкала из комнат полуодетую девушку — маленькую брюнеточку, испуганную насмерть. Та прижимала к животу остатки одежды и, попав на верхний свет, затравленно озиралась.

— Иннокентий Маркович! — пискнула девица в сторону кухни, судорожно завершая свой туалет. — Меня выгоняют!

С кухни слышался звон посуды, шум передвигаемой мебели и встревоженный голос Полонского:

— Кругом зараза... У меня премьера на носу... Не хватало ещё заболеть...

Ямщиков опять приоткрыл дверь.

— Не надо, не надо... — скулила девушка, упёршись голыми пятками в порог.

— Ты прости... Объясняться некогда... — Маша поднапряглась и вытолкнула девицу за дверь. — Так надо!

Как только щёлкнул замок, в прихожую явился Полонский. Лицо его было повязано платком, остались не закрытыми лишь глаза. С чрезвычайно озабоченным видом он принялся окуривать воздух дезодорантом, выписывая при этом рукою с пузырьком замысловатые фигуры.

— Пройдите! — сказал он Ямщикову строго и с выражением, будто впервые его здесь увидел. — Вы мешаете! Впрочем, если уж так приспичило, — быстро сменил он тон, — если вам Полонский и ночью позарез, разувайтесь аккуратненько вот на этом коврикe. У меня чтоб порядок железный! А это что за лужа?! Ах, термос... Ну, пролилось немножко. Почините!

Из-за двери слышались взвизги. Полонский, изобразив крайнюю степень удивления, перестал пшикать из флакончика и прильнул к дверному глазку.

— О-у! — воскликнул он. — Зиночка решила уйти! Что же вы меня не кликнули, друзья! Надо было попрощаться. Как некрасиво вышло! Ну вот: этот хам и Зиночку пытать принялся, лапоньку мою. Хам и хам! Схватил за волосы и сапогом перед лицом трясёт! Что?! Опять: «Зачем пришла к старому мерину?!» Вот напасть: взялся гостей моих сторожить! Такой сосед хуже таможенной заставы. Каждый день туда-сюда под страхом смерти пробираюсь. Сбросит в лестничный пролёт и скажет: сам прыгнул — стыдно, мол, стало правила капиталистического общежития нарушать. Всё, вызову его на поединок на рапирах, прямо на лестничной площадке, при свидетелях, на условии: заколотый продаёт квартиру. Я — вольный сокол: лечу, куда хочу! О-у! Так и знал: плюнул в сапог и швырнул с лестницы... Бычок о шубку затушил, и тоже её вниз... Всё-всё, убежала! Фух! — выдохнул Полонский, отрываясь от глазка. — Обошлось на сей раз. Больше не придёт, конечно, цыганочка моя... Впрочем, фотокарточки уже есть... А невозможно, знаете, стало жить! — живо обратился он к Ямщикову, который, сняв плащ и разувшись, почтительно стоял у стенки и, не обращая внимания на яростные взгляды Маши, сочувственно в ответ Полонскому кивал головою. — Можно сказать, чуть за сорок, самый мужской сок, вы понимаете... — Полонский испытующе посмотрел на Ямщикова, — а хамы, — он погрозил кулачком на дверь, — обзывают меринком. И это — по месту законного жительства! Куда бежать?! Где прятаться доброму человеку?! Да я в театре подростков играю! Юных безусых подростков и зайчиков. Ну Гамлета: он по русским меркам тоже подросток. Резвый мужчина, а этот... — сразу ментов. Застрелю! — неожиданно вскрикнул он, выхватывая пистолет из кармана и потрясая им в сторону входной двери. — Подстерегу — и аминь! Хватит с меня! Вы — свидетели, что не я шумел.

— Да-да, нравы ужасные, — засоглашался Ямщиков. — А девушке, простите, надо бы горяченького хлебнуть и отдохнуть часок-полтора, завтра у неё тяжёлый день, а мы тем временем потолкуем...

— Хлебнуть, горяченького хлебнуть! — засуетился Полонский, с восторгом разглядывая Машу. Флакон и пистолет он рассовал по карманам, сдёрнул платок с лица. — Водички родниковой сейчас вскипятим, киселёк есть, херес. Но сначала — ручки! ручки мыть! чудо вы моё расписное! А за выстрел роковой

не держите камень у сердца против вашего навек друга: позже вспомните — улыбнётесь!

Он размашистым жестом распахнул дверь в ванную комнату, кренделем было подставил руку, но Маша не взялась, тогда с гусарским поклоном пропустил девушку, а сам остался на пороге и как бы «по секрету» поманил тонким пальчиком Ямщикова. Тот подступил, выражая готовность ловить каждое слово.

— Цветок среди пожухлой травы, — зашептал Полонский прямо в ухо присклонившемуся Ямщикову. — Нет, вы приглядитесь к лицу... Эти загадочные тени под глазами юной полуночной девы — как они интригуют меня! «Какая ж тайна в свежем огурце!» — неожиданно и в нос пропел Полонский, хохотнул, припомнив своё, и, тут же став опять «таинственным», зашептал Ямщикову: — Я бы, пожалуй, усилил тени... А на щёчки — чуть-чуть лилового. А височки... Занавес!

Едва смочив лицо, Маша разглядывала себя в зеркало. Она поводила головою из стороны в сторону, пальцами трогала лицо тут и там и старательно не замечала в зеркале отражение Полонского. Наконец, девушка негодуяще взглянула на отражение Ямщикова, тот строго покачал головою, и тогда она поспешила низко склониться над умывальником.

— Эх ведь, батенька мой, дверной глазок уродует женские лица! — шептал Полонский. — Замечал не раз. За что деньги платил! Хам о стеклянный глаз окурки гасит — так тому и надо, чтобы красу не искажал! А линия бедра как прочерчена!.. Нет-нет, радость моя, не этим! — Полонский скакнул к Маше. — Вот вам полотенчико — вафельное, с эмблемкой моего театра. А петухи пусть ещё повисят, глаз порадуют. Своё ещё не отвисели, — оправляя махровое полотенце с гордыми красными петухами, продолжал он. — У меня порядок железный! А петухи вам — как? Ведь чудо?!

Маша, чтобы не отвечать, укрылась в белой вафле из драмтеатра.

— Как же прикажете вас звать-величать, ангел мой? — как бы удивляясь собственному вопросу, обратился Полонский к Маше.

Та убрала полотенце от лица и, набрав воздуха, собралась было ответить нечто нелицеприятное, но тут увидела, как стоящий за спиной Полонского Ямщиков опять сделал строгое лицо. — Мария, — выдохнула девушка. — А вас?

— О, Мария! — взвился Полонский. — Я знал! Естественно, Мария, а кто ещё! Честь имею представиться: Полонский Иннокентий Маркович! — Он склонил голову и стукнул пятками шлёпанцев. — Для своих просто Кеша, — многозначительно добавил он, пытаясь взять Машу под руку. — Заслуженный артист Российской Федерации, поляк, из дворян, шляхтич то есть наполовину, как Достоевский. Холост!

— Очень рада нашему знакомству, — сказала Маша, пытаясь бочком протиснуться мимо Полонского, но тот, вместо того чтобы принять протянутое ему полотенце, схватил Машу за руку, перегородил дорогу и, закатив глаза и вытянув губы трубочкой, взвыл ей прямо в лицо:

— Чёрная ночь! Промозглая ночь! Час роковой! Тонкая натура лезет в петлю! Спасенья, кажется, нет! И вот он, надежды луч! Ниспослана дева Мария! Упала звёздочка на мою ладонь!..

Маша отпрянула и вырвалась из рук артиста. Слёзы потоком хлынули из её расширенных ужасом глаз. Ямщиков шагнул в ванную комнату и протянул руки навстречу девушке. И тогда она кинула полотенце в лицо Полонского и, бессвязно что-то крикнув, отчаянно ринулась к Ямщикову. Сметя Полонского, она с разбегу высоко запрыгнула на Ямщикова, обхватив его в поясе ногами и голову — руками. Изо всех сил прижала голову Ямщикова к своей груди и, взахлёб рыдая, сотрясаясь и дрожа, бессвязно причитала: «Иваникола!.. Иваникола!..» Он сильно покачнулся, едва удержал, задышался, но не отдирает девушку, а только пяtilся в прихожую: «Я с тобой!.. С тобой!.. Всё хорошо!..»

Через пять минут, в углу гостиной, она уже спала, почти утопая в бутафорском громоздком строгих очертаний кресле чёрной кожи, местами протёртой. Девушка полулежала в беспомощной, измождённой позе: откинув назад голову, скрестив руки на животе и устало, как после дальней дороги, приоткрыв рот. Рядом, на низеньком столике с вычурными ножками, лежал аккуратно сложенный её свитер и стояли бокал с недопитым хересом и тарелочка с остатками сыра, над которым склонился громадный дряхлый кот неопределимой — но с несомненной претензией на экзотику — породы: сине-дымчатый, лохматый, с закисшими от старости глазами и опущенным хвостом.

Квартира выглядела пёстро и кокетливо. Большая квадратная гостиная походила на лавку начинающего антикара. Она была заставлена и увешана всякой всячиной. По двум стенкам громоздилась разношёрстная мебель в стиле ампира. Камин — весь в завитках рококо и с ажурной решёткой; справа от очага к керамической узорной плитке привалена большая поленница берёзовых дров, слева — прислонена массивная кочерга капризных линий, с вензелями хозяина, над которой кузнецу пришлось хорошенечко наломаться. У камина два кожаных зелёных кресла, опираясь на золочёные львиные лапы, вполубороте противостояли вокруг низенького инкрустированного столика с дуговидными ножками: на такой столик удобнее было ставить не бокалы с коньяком, а ноги в домашних шлёпанцах. На спинке одного из кресел лежала длинная белая, как саван, мужская рубашка; к спинке другого — прислонены горные лыжи с торчащими в креплениях ботинками и парой неровных палок. На стене против камина висели большие фарфоровые часы с вычурным циферблатом. Под часами красовалась бархатная рубинового цвета подушечка с приколотыми двумя советскими орденами. Почти посередине гостиной, в эпицентре мебельной композиции, стоял обширный диван белой кожи, усыпанный парчовыми подушками разного цвета и калибра. Рядом с диваном, на паркете, горбились два пуфа. Все три больших окна были закрыты непроницаемыми шторами тёмно-красного бархата с золотистыми разводами и кистями, смахивающими на театральный занавес. Там и сям виднелась новенькая аппаратура для цветомузыки.

— Какая дева залетела!.. — в восторге приглушённо взвился Полонский и для пущей убедительности поцокал языком. — Без всякой к тому же ступы и метлы!.. — Он по витиеватой траектории подошёл и склонился над спящей Машей. — Значит, любезный Иван Николаевич, вы ей не родня и... ни-ни?

— Ни-ни! — с готовностью ответил Ямщиков. Он сидел на краешке пуфа в почтительной позе, навтытяжку, и ел глазами Полонского. — Напросилась в попутчицы — всё. Но имеет отношение к делу, о котором я хотел бы с вами, маэстро, потолковать. О престижном и доходном деле, если договоримся...

— Понятно — о доходном: вломиться посреди ночи из-за пустяка! Странно, однако... — продолжил он, с неподдельным любопытством разглядывая лицо девушки. — Я нутром чую связь с нимфой...

Полонский каждое слово начинал выговаривать с одним чувством, а в конце слова чувство и интонация становились другими. Эти переключения сопровождалось по-восточному выраженной жестикуляцией. Ямщиков, наблюдая за хозяином, вымученно улыбался.

Кот, прикончив остатки сыра, разок-другой облизнулся, изловчился и впрыгнул к Маше на колени, шагнул к паху, обнюхал кругом, потоптался, мяукнул жалостливым котёночным тенорком, подёргал хвостом и стал устраиваться на покой.

— Связь с нимфой? — воскликнул Ямщиков с благоговением.
— У вас, верно, чудовищно развита интуиция!

— О-у! Я ощущаю в спящей красавице загадку! Кто она? — Полонский обернулся к Ямщикову. — Нет, я сам! Или жизнь прожита зря. Какая, однако, шея... — он вновь склонился над Машей и, уже не обращая внимания на Ямщикова, с нарастающим увлечением забормотал. — Это вам, девоньки-подруженьки мои, не уточкина белошейка — это вам, девоньки, шея!.. Нашего осветителя бы сюда... Солнечный лучик один — заблестала б шея! А лицо!.. Разрез глаз, веки!.. О-у! Белки — узким опрокинутым месяцем... Ресницы — клеить не надо!.. Рот — большой, узорный! Губы алые, пухлые, сочные, сильные — вот это рот! Таких ртов — да ни в одном театре, да ни в какой Москве днём с огнём!.. О-у! Щёки румяны без румян!.. Гладкий, слоновой кости, лоб! Проклятье, а я за каким-то мусором гоняюсь... — Полонский застонал и зацокал, молитвенно сложив руки на груди. — Вот: сделать ей макияж — спящей. Великая, друг мой, редкость — спящая красавица! — обратился он уже своим обычным наставническим тоном к Ямщикову. — Такая приходит в бранный мир только из прекрасной сказки. Лица у девиц обычно, стоит им уснуть, знаете какие? — Полонский обернулся к своему слушателю и, удовлетворившись его недоумённым жестом, продолжил: — Лица у них отвратительно тупеют и как-то ползут наперекос, словно прокисшее тесто из кастрюльки: смотреть противно, так бы и отхлестал по щекам! Я к ней с распахнутым сердцем, я к ней душой прикипаю, последним куском делюсь, а она, как уснёт, — точно меня и рядом нет: губёнки раскатает, язык высунет, слюни на подушку... Одна зараза! Да ещё бельё тебе поперемажет. Зинуля эта — что б вы думали? Я её в конце предупредил: смой хорошенько весь грим. Вечером сегодня, когда играл с ней прелюдию, — я её под испанскую цыганку нарядил, загримировал

— я умолял: смой грим хорошенько, аккуратненько, махровых петухов не трогай. Петухов, ладно: не тронула. Зато казённую вафлю-то уделала вусмерть! На секунду, на одну секунду в ванной комнате ни одной оставить нельзя! А кто стирать будет? Вот, с вашего позволения, такая Зинуля из сельской глубинки всего тебя запачкает, оберёт, а ты изволь за неё грудь на кривой нож подставлять! Обидно за самого себя: как это я целый месяц терпел её? Ни на какое ведь сравнение с моей Машенькой не тянет. Нет-нет, друг мой, большая редкость — девушка, красивая во сне! Мёртвые и то симпатичнее спящих выглядят.

— Ваша правда, — охотно поддакнул Ямщиков. — Мёртвые есть — что тебе огурчики. А вы трупы видели — вблизи?

— «Какая ж тайна в свежем огурце!» — весёлым тенорком, в нос, пропел вдруг Полонский. Отойдя от девушки, он сразу подбоченился, сценически посуровел и едва одним взглядом не забодал своего покорного слушателя. — А то я жмуриков не видел! Я со жмурами творил искусство, дорогой вы мой человек! Я, можно сказать, общался с ними непосредственно, когда в роль одну вживался. Вживался в труп! — вдруг прихотнул Полонский. — А? как вам шекспировского ранга оксюморон: «вживался в труп»! А моя Машенька, чу! — Полонский кивнул на девушку, — она и в хрустальном гробу красавицей лежать будет, как в русской сказке. О-у, друг мой, подойдём-ка ещё раз. Смотрите, — продолжил он торжественным шёпотом, когда Ямщиков подошёл и склонился над Машей. — Видите, меж бровями складочка вертикальная. Её при верхнем свете и не видно, а при боковом — нате вам! Это первая складка в её жизни, только-только сложилась — прямо, может, сегодня.

— Прямо сегодня? — прошептал Ямщиков, опять разглядывая лицо Маши на запоминание. — Значит, лицо её толечко сегодня начало обрастать горьким опытом...

— Именно! И заколка явно чужая. — Полонский взялся за волосы Маши. — Чужая, не новая; где-то наспех взяла — и побежала: времени на подготовку к выходу на сцену не хватило.

— А важно, что заколка чужая?

— Конечно — для девушки-то! Чужая заколка прицепится — и образ девы сломает, а за внешним образом, может случиться, и всю её жизнь!

— О заколке мы с Линнеем как-то не думали... Объективно: девушка видит сон — зрачки под веками дрожат, давайте-ка отойдём. Ей бы часок поспать...

Полонский отпрянул, упал в прикаминное кресло, поднёс саван к лицу и застонал:

— Жизнь — игра!

— Со смертью...

— И я в том смысле, просто не договорил. Смерть возвышает игру. Кому нужна лошадь со сломанными ногами? Её дело — бежать и везти, а не может бежать — смерть! Кобыла Фру-Фру сломала спину на скачках, и Вронский в тот же миг её — ба-бах! — застрелил. Жизнь-игра для кобылы окончилась: жалкий персонаж, и без жизненной роли — кому такой нужен?

— Ваша правда: словавшему обе ноги шахматисту никто не сострадает, а подвернувшего стопу футболиста жалеет вся страна. Вы, Иннокентий Маркович, не находите, что по ходу жизни человека частенько спасает самовнушение?

— Самовнушение — без него актёру никак! — взметнул брови Полонский, отбросив рубаху прочь. — Я сам себе гипнотизёр! Перед выходом на сцену накачиваю себя: «Я вам сейчас такого Хлестакова покажу — с балконов попрыгаете в партер, стены облупятся от грома аплодисментов, штукатурка упадёт, люстра рухнет, занавес! В ногах будете ползать, чтобы цветы взял!» Разрази меня гром аплодисментов! — вдруг прихотнул он.

— А как выйдешь?

— Да каждый мой выход на сцену бисируют! — Полонский уже набрал воздуха, чтобы бравадно продолжить, но вдруг осёкся и выдохнул. — Но, если положи руку на сердце, как выйдешь, так худо-бедно что-то, может, и выйдет. Издержки профессии: не всегда заряда хватает на весь спектакль или партнёры играют плохо, и тогда сам сникаешь.

— Знакомо...

— Хотя вспотеешь, охрипнешь, температура поднимется, сердце бьётся, как у греческого марафонца.

— А потом?

— А потом долго не хочешь из роли выйти, по инерции остаёшься героем, сам не свой, я не я, — и это приятно. Пережить ещё одну, как бы дополнительную, сценическую жизнь... Столько хорошего потом хочется сделать людям!..

— А если врача играете, хочется потом реально лечить?

— Ещё как! Прямо в гримёрке девицу какую раздеть и лечить! На сцене устал физически, а эмоциональные силы так возбуждены — только пищу неси! А интересно бы увидеть... — закатил глаза Полонский. — Вот дева лежит... Бархат, цветы, музыка... Я — в роли первого любовника — подхожу, бледный, кудри по плечам, шпага в ножнах... — сколько?... — Он сдёрнулся с места, подбежал к Маше и согнулся над ней. — Да, в руке моей букет из семидесяти алых роз... Да-да! Живых роз потребовать, а не бумажных лохмотьев у бутафора, как в тот раз!.. Подхожу... — Он разогнулся и, закатив глаза, принялся раскачиваться и двигать руками, как дирижёр, ведущий плавную мелодию. — Рядом заплаканная мать из-под чёрной вуали смотрит на меня с мольбою... Массовка пятится молча к кулисам, во мрак, и нас на освещённой сцене остаётся двое! Во всём мире двое: я и она! А между нами — розы, устилающие лепестками её бездыханную грудь... Грудь?! — Полонский встрепенулся и быстро нагнулся над Машей. — Грудь... впечатляет!.. И финальная мизансцена: я обнимаю её и целую в холодные губы... Занавес — и у зрителей, само собой, отбитые ладони три дня болят!

— И вы не забоялись бы поцеловать труп? — в полном восторге привскочил Ямщиков.

— Полонский — труп?! — оскорбился артист и, заложив руки за спину и приняв назидательный вид, подбоченясь, стал выхаживать восьмёрками перед Ямщиковым. — Полонский, сударь вы мой, роль осваивал прямо в морге, под сырой землёй! Репетировал в натуре, на жмурах из ящичков с формалином, так-то! Когда на «заслуженного» шёл, надо было чем-то особенным о себе заявить — я и взялся за роль советского партийного некроманта в авангардной пьесе.

— Но возможно ли — прямо в морге! Как вы там отработали перевоплощение?

— Вижу, начинаете меня понимать: именно отработал! Это, батенька мой, первоклассная актёрская работа была. Секрет есть у меня, безотказный. Этим, — Полонский сложил две «фиги» и потряс ими в сторону штор, — вот им! Но вам открою, цените! Если вообразить себе, что труп — вовсе и не труп, а так — загримированный человек притворился, то хоть целуйся с ним, как с артистом оригинального жанра. А чего труситься-то? Они там все стерильные — из холодильников или из ящичков достают, они не дышат, заразы вокруг себя не распространяют,

формалином пахнут или спиртом — вот и всё неудобство. Разницы-то, если подумать, никакой — труп это настоящий или, скажем, актёр загримированный. Патологоанатом мне говорил: бывало, уже тело остыло, и трупный запах появился, а сердце бьётся! Всё одно никакой угрозы от него — лежит себе беззвучно, бездвижно, ничего от тебя не требует. Да и различить трудно: если актёр с гримёром вдохновенно сработают — не отличишь актёра от жмурика, хоть зеркало к губам подноси. Природа, если рассуждать философически, равнодушна к тому, жив индивид или мёртв. А почему, спрашивается, я — вершинная часть той же природы — должен не быть равнодушным. А я ещё усиление приёма нашёл! Я воображал себе в этих трупах самых неприятных мне особ из нашей труппы, врагов заклятых. И внушаешь себе: этот сучий сын дышать тебе не даёт, живьём поедает, а сейчас безобидным телом прикинулся, чтобы только помешать тебе главную роль получить, оставить без корки хлеба, поклонниц твоих угнать!.. А вот накося, дружок, выкуси, — Полонский вновь сложил две тоненькие «фиги» и потряс ими в сторону штор, — мы тоже кушать и вкушать хотим. И — никакого страха! Больше скажу: я к этим жмурикам всяческое уважение потерял: увидел, как с ними в морге прозекторы и санитары обращаются — и как отрезало. Ему зубы золотые выламывают, череп ножовкой пилят, его вспарывают секционным ножом, штопают, а он, пепельный весь, лежит себе, будто его это не касается, даже не брызнет ничем на прозектора, не отомстит за поругание тела. И такого бояться? Я, школьником был, лягушку резал на уроке зоологии — и то на рукав брызнула. А этот лежит себе — и делай с ним всё, что только в голову взбредёт. Вот в таком плане, бывало, поработаешь над собою минутку-другую — и смело к жмуру. Уловили секрет?

— Как! — воскликнул Ямщиков непроизвольно и нахмурился. Он откинулся от Полонского и как бы иными глазами оглядел его с головы до ног. — Всего минуту на подготовку?!

— А то и полминуты: пока халат в коридорчике надеваешь. Я вам, пожелаете, сию секунду в принца Гамлета обращусь, а в следующую — в тёмно-зелёный унитаз из общественной уборной при автовокзале районного городка. Тоже невидаль — жмурик на мраморном столе. Дверь коленом поддашь — и бегом к телу, а сам грозишь ему: нашёл простачка, чтобы я поверил в твою смерть — враги вечны!

— Золотые ваши слова, — машинально отреагировал Ямщиков, задумываясь.

— В отличие от нас, в отличие от нас! — сокрушился вдруг Полонский. — Под какой колпак ни залезь — нигде спасенья нет, отовсюду норовят достать и прикончить. И от чего совсем тоскливо: одни уж тебя и прикончат, и зароят, так другие затем поедом едят.

— Это кто?

— Микроорганизмы всякие, червяки... Мы одни-одинёшеньки, а все, кто против нас, те кишмя кишат! Таково мироздание, друг мой, — родит всего раз, а убить норовит — тысячу. Какой тысячу! — миллион, миллиард раз! И убьёт непременно, если однажды не увернёшься. Кругом нас, куда ни глянь, притаились носители болезней, травм и смерти. А невидимых врагов — тех кругом просто немерено: что микробы, что вирусы, простейшие тоже. Хорошенькое, заметьте, названьице придумали: «простейшие». За такое четвертовать надо! Хотят бдительность нашу притупить, чтобы хлорку в воду сыпать перестали и попередохли все от этих самых простейших. Или вот, — встрепенулся он, — недавно: пропадает парик графа из моей уборной. И это перед самым выходом на сцену! Пришлось нацепить на голову какую-то мочалку! Представьте Полонского в роли графа в свете рампы пред восторженной публикой — с мочалом на голове! В драме, не в водевиле — в драме! Нимфетки, конечно, не заметили: эти всё проглотят, вот уж кто воистину простейшие. Но дама моего измученного сердца... дама сердца отказывается теперь со мной встречаться: я стал ей смешон! Полонский — смешон! Нет, друг мой, — Полонский возложил ладошку на сердце, — когда-нибудь всего этого я просто не вынесу! Хочется выбежать на площадь Куйбышева и заорать: «Простейш... в смысле: сволочи! Перестаньте мучить меня!» Как я страдаю!

— Не всё ещё потеряно, маэстро. — Ямщиков вскочил и обнял Полонского за плечи. — Предлагаю вам великолепный ход! Вернёте и ту даму, и...

— Все ходы, дорогой брат, — заскулил Полонский, — надёжно перекрыты. Богема неизлечима: только где сверкнёт грань таланта — сразу туда плеснут ведро помоев. У меня блестяще шла новая роль — обманутый муж, в водевиле. И вот, на днях... — там во втором акте место есть: «верный друг» заставляет меня — вот как вы сейчас, обняв меня за плечи,

— заставляет меня пятиться, но должен остановить за четыре
— не менее чем за четыре! — шага от оркестровой ямы и здесь
должен пропеть об измене моей жены. Я, по сценарию,
потрясённый, закрыв лицо руками, должен отступить ещё
на три шага. На спектакле пропел он — слюной отравленной,
гад, всего меня забрызгал, я делаю назад всего один шаг и...
падаю в яму, прямо на музыкантов! А те смычки выставили
и нанизывают. Каково? В зале хохот: думают, так и надо...
Полюбуйтесь. — Полонский вывернулся из рук Ямщикова,
обернулся к нему спиной и опустил с плеч халат.

— Объективно: обширный кровоподтёк в области девятого
позвонка... А это что за ужасный рубец? И на правом плече
шрам... в четыре... в пять швов!

— Швы — это мстители, воспитатели моей нравственности
и гражданской ответственности — с кухонными ножами
за пазухой. Простых вещей не понимают: я артист, у меня
не обывательский психотип, мне смена впечатлений нужна,
постоянные эмоциональные встряски. Потому что труд актёра
не гармонирует с привычным укладом семейной жизни, тем
паче при нагряншем откуда-то капитализме. Да что ваши
мстители — заговор со всех сторон! Вчера на спектакле
осветитель вместо белого и жёлтого направил на меня синий
и зелёный, а я выступал в бордовом костюме! Всё — зрительный
конец образу! А в зале две старухи смешили публику чиханьем.
Я монолог веду, а они уселись в партере, куда им в жизни
билета не купить, и художественно чихают. Обчихали не просто
роль — начхали на всю мою жизнь! И я поверю, что старухи
не подсадные? Или какой-нибудь сукин кот из-за кулис или
с первого ряда из зала начнёт смешить: покажет мне пальчик
или язык. Актёра на сцене рассмешить — проще простого!
А от его пальчика засипел и подавился — роль насмарку. Театр,
друг мой, скопище мелких зловредных насекомых, но с клешнями
и жалами скорпионов! Хожу по коридорам, озираясь: как бы
кто из-за угла не напал — в два счёта пристукнет, а на суде
скажет: мол, глубоко вошёл в образ Отелло, простите, не виноват.
И ведь оправдают! Пью, сударь мой, только из откупоренной
на моих глазах посуды, чтобы не подсыпали чего...

— Истина ваша, — сочувственно вздохнул Ямщиков,
усаживаясь на узорный диванчик. — По звериным законам
живут, будто и не женщина их родила. А позвольте
полюбопытствовать: много ли у вас нимфеток в зачёте?

— О-у! Вряд ли вы и представить себе можете, сколько!

Артист зигзагами подлетел к компьютеру, включил,
пробежался по клавиатуре и поманил к себе пальчиком
Ямщикова.

— Вот они, мои курочки, любуйтесь, — с гордостью
и видимым удовольствием пропел Полонский, листая
фотоальбом. — Все пронумерованы, с метрикой, биографией,
датами, с описаниями кое-каких интимных подробностей —
мне на память.

— База данных почище ментовской! — с неподдельным
восхищением сказал Ямщиков. — Не ожидал. И какие красотки
все!

— Страшных не держим-с! — Полонский вскочил, вытянулся
в струнку и шлёпнул пятками, преображаясь в гусара со
шпорами и саблей. — У меня здесь статистика железная:
сколько целеньких, сколько замужних не рожавших, сколько
мною обременённых, сколько каких. Без шуток, — Полонский
сделал внушительное лицо, — генератор моей жизни! Как
откроешь папку — свет опять белым покажется. На тридцать
лет моложе станешь: так бы жеребчиком и поскакал по зелёному
лужку во след резвой молодой кобылке с задраным хвостом.
Если бы не эти мстители... Но я!.. — Полонский вдруг стал
в позу для декламации: опёрся на выставленную вперёд ногу,
ладошку левой руки приложил к сердцу, правую руку отвёл,
как спортсмен-метатель, далеко назад. — Друзья! Не устрашимся
ада: / Упьюсь в море сладкого вина, / И девам не дадим
пощады, / В азарте душ искусимся сполна! Ну, друг мой,
подумали: Пушкин, Байрон, Мицкевич на худой конец? Я!
Живи всюю, пока не умер. Не старость пугает — забвение
страшит! Но я триста лет проживу. И со сцены не уйду! А помру
— завещаю театру свой череп, как реквизит на роль черепа
бедного Йорика из «Гамлета». С обязательным указанием
на афишах и в программках: в роли черепа — череп заслуженного
артиста Российской Федерации Иннокентия Полонского. А вот
и она, курочка моя... — Полонский взметнул средний пальчик
с перстеньком на экран, а сам подбежал к спящей Маше. —
Да-да, грудь! Такая же грудь! Изыди, сатана!

Он согнал пригревшегося кота с коленей девушки. Та
шевелинулась и глубоко вздохнула. Полонский отпрянул,
подлетел к монитору и, приподняв домиком узорчатые брови
и выпучив глаза, стал водить пальчиком по фотографии.

— Грудь узнал, — восторженно шептал он Ямщикову. — Полмира обыщи, а лучше бюста не встретишь. Такая, знаете... — Полонский закатил глаза и потряс ладошками, изображая высокую грудь, — стоит ровненько, линии изгибов просто идеальны, форма... — слов нет передать, с плотными сосочками, чистая... Возьмёшь, сожмёшь её... — хрустит! Честное слово Полонского, сожмёшь — и ощущение такое, будто хрустит! Нетронутая, как на прилавке, в фирменной упаковочке глянцевого. Стерильная чистота! Вот и у моей Машеньки такая же. — По зигзагу он снова подлетел к Маше и склонился над нею. — Размером здесь разве что капельку меньше. Это не грудь — судьба!

— У неё жених есть, — глухим голосом сказал Ямщиков и вlepил щелчок в нос коту — тот интересовался насчёт места на его коленях. Кот отпрянул, затряс головою и мяукнул жалобно котёночным тенорком. — Он боксёр, кажется.

— Тогда не судьба! — Полонский отстранился от девушки. — Потенциальный мститель, значит. Опасная дева, импульсивная очень — вам не показалось? Взять её я бы, пожалуй, смог, а удержать... В игрушки не годится.

— А как её надо брать?

— Она запрыгнула на вас — как?

— Как... ребёнок.

— Обхватив ногами и прижимаясь тазом — так запрыгивают на мужчину девы, готовые отдаться немедленно! — очень уверенно сказал Полонский и опять стал нарезать по гостинной замысловатые петли. — Такие девы или распутны, или не вышли из состояния взрослого ребёнка.

— Отдаться немедленно... Я с ней знаком-то всего часов пять.

— Не важно! Яблочко созрело: само падает с дерева — лови и кушай! Буквально: кто поймает, тот и съест.

— «Союз сердец и судеб!» — вслух прочёл Ямщиков старательно выведенную рукою надпись по низу фотографии.

— «И.М. Полонскому от искренней почитательницы вашего таланта. Светочка М.»

— Видите, какая липучка, — оживился Полонский. — Всего один раз встретились, а ко второму свиданию у неё в голове уже созрел «союз» — конкретно целит на законные узы. Не знал мой Светик: я сыграю Гамлета — и целое стадо новых тёлочек моё.

— А если сыграете зайчика?

— Когда играю серенького, в лучшем случае снисходительно, якобы с пониманием, улыбаются, после спектакля по воображаемым ушкам норовят погладить, сюсюкают, но цветов со всунутыми записками и пакетов с коньячком не воздают. Простейшие, лучше не скажешь. Позволь такой Светочке М. на шее повиснуть, миглом детьми обвешает — и подтирай соплякам задницы, корми-пои их по тридцать лет каждого, а сам на вторые роли уходи, мотайся по антрепризам.

— Гордая, похоже, девушка, — разглядывал фото Ямщиков. — Волевая, но без анархии и чрезвычайщины. С оглядкой на окружение, традиции. Как такую брать?

— Самолюбивая гордячка! Моя с нею тактика была такова: поменьше говорить о простом, об известном ей, быта не касаться вообще. Она хозяйственная девка, семейная душа, сама всё сделает и обустроит встречи в лучшем виде, такой лучше не мешать.

— «Поменьше говорить о простом»...

— Главное: не раскрываться перед ней, оставаться заманчивым недостижимым маяком, нераскрытой грозной тайной, чёрным рыцарем на горизонте. Ей мужчину подай как непокорённую вершину: тогда только захочет на неё взобраться — и будет лезть, карабкаться, всё ближе, как ей кажется, и ближе к тайне, но на самую вершину ты свою альпинисточку не пушай. Твоя вершина должна оставаться в её грёзах. Романтическое счастье такой, как Светуля, девы — гнаться за недоступным. А если до твоей макушки доберётся — считай, разоблачит, — сразу уйдёт: гордость не позволит ей жить с покорённым, с равным себе. Равного себе — и разлюбит, и может даже возненавидеть. Какая у девы Марии грудь!.. Должна хрустеть...

— Грудь — хрустеть?.. Вы уверены, маэстро: дева Мария того же типа?

— По меньшей мере, близкого: уснула — не успел её разговорить. В такую если эротичный мужчина втянется — ему будет или легко, или опасно, только назад ходу не будет.

— С такой девой нельзя разойтись?

— Можно, но развод чреват. Объяснить? — Убедивший в полной готовности Ямщикова слушать, Полонский продолжил: — Для наглядного сравнения возьму ту же Зиночку. Её полураздетой ночью выгнали на лестничную площадку; незнакомый обдолбанный хам, весь в наколках, обложил её матом и сбросил одежду в лестничный пролёт; она, в попытке

вызвать к себе жалость, отхныкала положенное для девушек её типа; потом, успокаиваясь на ходу, спустилась вниз; там, уже окончательно пережив стресс, оделась, навела марафет, вызвала такси и убралась восвояси. Даже не позвонила мне по сотовому, не потребовала объяснений, не прокляла — ничего. Потому что темперамента нет и готова была к расставанию. А дева Мария при таком стрессе...

— Могла бы сама прыгнуть в лестничный пролёт...

— Вот именно! Дева Мария опасна для окружающих — она создана не для игр. Я с той Светочкой еле-еле смог расстаться без крови. Она мне половины здоровья стоила! После неё, когда пришёл в себя и обрёл способность мыслить логически, я даже завёл специальную заповедь: «Не навреди себе» и следую этой заповеди по сей день: новый хомут на шею и пороховую бочку под зад себе не ищу. Светочка моя незабвенная была из семьи строгих правил, даже припоздала насчёт секса — такая, помню, в первый вечер напряжённая была, такая сильная новая пружина, дрожала вся, звенела, полночи укатать не мог... Пришлось двойную дозу всыпать...

— Линней догадался бы сам... — пробормотал Ямщиков. — Я правильно понял: Светочка отдалась вам в первый же интимный вечер?

— В первый! Не она одна. Говорю же: у меня глаз-алмаз на созревшие яблочки.

Полонский хохотнул и, довольный собой, вновь принялся зигзагами кружиться по гостиной.

— Значит, вы задаёте своим курочкам некий образ — весёленький и самооправдательный, а в это время классически трясите их, как грушу? Особенно зажатым девам подсыпаете возбудитель.

— О, друг мой, вы делаете успехи! Я организовываю своим курочкам «роковой порыв». Сюда входит, вы правы, задача деве образного строя, даже если точнее — образного алгоритма, чаще всего романтического и утешительного, оправдательного для них — и курочка моя. Стоит целку окунуть в лелеемый ею годами романтический сюжет — и она идёт вразнос. По жизни — вменяемые, вполне здраво рассуждают, а поколеблешь спокойствие — сразу оборачиваются дурами! Всё где-то носятся, всё что-то ищут, ждут... Дуры! Это возрастное: как стукнет двадцать — умнеют все.

— Мне тоже по роду службы приходилось организовывать порыв, — очень скромно промямлил Ямщиков, — но, увы, часто без успеха...

— Везде, родной вы мой человек, везде нужен профессионализм, возведённый в степень полной самоотдачи: что у распоротого и зашитого трупа, что у юной девы на груди. Я даже если беру от природы вялую и закомплексованную курочку, полумёртвую, то бужу её в один вечер и плясать заставляю! И пляшет, как миленькая, даже голой на столе, потому что естественных противопоказаний к этому никаких у неё нет — одни самозапреты. Главное — найти струну, а потом дёргай её, как и сколько хочешь. Дайте мне слепого бройлера — даже синенького и без перьев, и в один вечер — слово графа Полонского! — в один вечер я заставляю его почувствовать себя счастливой пёстренькой Курочкой Рябой, снёсшей золотое яичко!

— Да!.. — с внушительным сожалением сказал Ямщиков. — На пустяки расходуете силы и талант, дражайший Иннокентий Маркович, на пустяки. Разве это ваш масштаб — под юбки лазать да роли второстепенные играть? Ни почёта, ни денег. А большие физические и эмоциональные нагрузки выдерживаете?

— Извольте пример. Как-то назначили самый кассовый спектакль на первое января. Повторю: на первое января! Я, как малопьющий, сыграл четыре персонажа! Старого советского прокурора, большую лошадь, английского шпиона и певичку из хора при культпросвете. И у меня — первого января! — пафос рвался из души: ни одной фальшивой нотки! А мой монолог большой лошади одна известная столичная критикесса тогда объявила событием театрального сезона! Как я сыграл большую лошадь!.. Ей бегать, скакать охота — ан нет сил! Зритель жалеет обездвиженных персонажей как-то по-особенному.

— Всё как в реанимации...

— Весь зал плакал на коленях! Что лошадь: таракана очеловеченного я изобрази, зритель — слово Полонского! — обрётся весь, вторую Волгу у моих ног наплачет! Зритель одинаково реагирует на все очеловеченные персонажи, что тебе Кот в сапогах, что зайчик, что большая лошадь или чёрный большой таракан. Если зритель попал в твою образность, в твой нерв, в твой ритм, в твой строй — он твой! Хочешь добиться

немедленного успеха — должен сцену безукоризненно организовать. Второго случая может не представиться: есть вещи, которые нельзя откладывать на потом.

— Ваша правда... Ритм задаёте музыкой?

— Тематической музыкой тоже. Но прежде всего — нежные ласки, касания.

— Вы считаете: тактильные ощущения человека, возбуждение определённых органов усиливаются и могут регулироваться подходящей по ритму музыкой?

— Определённо! Когда начинаешь массаж сначала подушечек пальцев, даже ноготки ласкать можно, постукивая по ним своими ногтями мелкой дробью, а чтобы дошло до глубин, надо, чтобы её кисть расслабленной была и обязательно тёплой. Мелодию можно подобрать по ноготкам и на ушко её мурлыкать в такт — получается целый симфонический оркестр, потому что инструменты в сантиметре от слушателя. А массаж сердца...

— А сердце вы тоже массируете музыкой? — почти вскричал Ямщиков.

Полонский от неожиданности вздрогнул и отшатнулся, но, взглянув испытующе на сидящего на пуфе Ямщикова, решительно шагнул к нему и, как полководец, отправляющий преклонённого воина на смертный бой, положил одну руку ему на плечо, а другой подбоченился:

— Вы о сердце не в переносном смысле, вы про насос?

— В прямом: вы для массажа сердечной мышцы подбираете музыку в нужном вам ритме? Чтобы регулировать частоту и интенсивность сокращений?

— Можно и так сказать! Я у них даже незаметненько пульс считаю: потому что нельзя переборщить. У меня цветомузыки такая коллекция — на любую недотрогу хит найдётся.

— А говорите: шляхтич. Вы роковой восточный мужчина! Я просто ролею от мысли, что вы можете раскрыть мне свой главный секрет...

— Позавидовали?

Ямщиков посмотрел на часы.

— А что именно тянет неопытных дев к вам, к...

— Договаривайте уж: «К облезлому козлу»! — самодовольно ухмыльнулся Полонский и прищурился на Ямщикова.

— Как вы могли!.. — Ямщиков всплеснул руками и потом молитвенно сложил их на груди. — Но объективно: если это массовое и устойчивое явление, если процесс обучения

поставлен на поток, должен же быть железный мотив у обеих сторон.

— Охотно объясню, друг мой, охотно! Признаться, редко приходится откровенничать со столь капитальным слушателем мужского рода. Итак, вы, — надеюсь всё же, не без толики зависти, — думаете: и чего только нимфетки нашли в этом... ну пусть — в стареющем козле?

Ямщиков протестующе замахал руками, но Полонский был непреклонен и чуть ли не с угрозой повторил:

— Да, объективно старый мерин, как сосед-уголовник аттестовал. Тем, заметьте, больше почёта! Давайте как мужчина с мужчиной... Перед вами старый облезлый козёл со спиленными рогами, но! Но он — победитель козлов молодых и бодливых: все они у меня рогиносцы!

— Я уже это где-то сегодня слышал... — пробормотал Ямщиков.

— Молодые, а рогиносцы! Раньше старики рогиносцами были, теперь — молодые. А, спросите, почему?

Ямщиков в полном недоумении развёл руками:

— Вам кафедре — и лекции на психфаке читать.

— Потому что логического порядка развития отношений не признают. Бодливые они не в меру, своенравные, рассеянные, а в интимных отношениях нужен порядок железный, иначе можешь рассчитывать только на случайное везение, но этот путь — для дурачков. Нежные создания, они мне какими, думаете, достаются?

— Не могу себе даже представить. — Ямщиков покосился на Машу. — Зависимыми?

— Оскорблёнными, униженными, в лёгком случае — разочарованными, в тяжёлом — поруганными и оттого озлобленными. Ей шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, а она уже кем-то или чем-то оскорблена.

— И вы берёте их на сочувствие?

— Точно так!

— Но реально не помогаете.

— Приходится немного помогать и реально. Но всем подряд помогать — о себе забыть!

— И это я где-то сегодня слышал, — пробормотал Ямщиков и нахмурился.

— После одной-двух влюблённостей или связей с парнями, — продолжил Полонский, выписывая свои «восьмёрки» по залу,

— она уже готова заматереть, но ещё бессознательно не хочет расставаться с детством, с тем самым детством, когда папа-мама добрые слова говорят, по головке гладят, из школы встречают, сюсюкают. У иной девицы и родители под боком, но в них она уже не найдёт сочувствия и прощения, для них она уже взрослая, самостоятельная.

— Переняли у Запада...

— Глобализация. Я по натуре сочувствующий человек, мне не надо перед девушкой притворяться — позыв изнутри идёт. Меня одно убивает: как мало нимфеткам надо! Я негодную даже на них! Всё изначальное благоговение перед ними растерял. Как вы говорите, «объективно»: ей достаточно простых слов, простых ласк, элементарного внимания и предупредительности. Киселька подать, хереса рюмочку вовремя поднести, погладить — и слёз как не бывало, и уже смущённая благодарная улыбка, и уже почти твоя. В лице моих девочек я люблю всех женщин мира и, простите, проклиная весь род мужской.

— В зачине — навели разговор на тему обид и вызвали слёзы...

— Значит, она раскрылась!

— Потом добились смущения и благодарности...

— И она моя! Разведёшь её на откровения, она все свои обиды вывалит в мою жилетку, потом лёгкая истерика, слёзы, четверть часа по головке гладишь, шепчешь какую-нибудь чепуху, простейшие фразы, здесь важен тон, родительские касания, человеческое тепло важно, а не содержание речи, я свои тексты даже воспроизвести сейчас не смог бы, хотя роли учу легко: всего Гамлета — за два с половиной дня...

— А дальше?

— Дальше самое интересное: воспитание чувств! Я учу её ценить самую себя, учу не соглашаться на прежние отношения, которые принесли ей разочарование и боль. Я прививаю ей вкус к культурным уважительным отношениям. Я становлюсь её лучшим другом, советчиком. Стать не только любовником, а и лучшим другом — это, согласитесь, многого стоит.

— Поднимаете рыдающих с пола... У вас целая технология, свои техники.

— Фу, как грубо! Это у вас, практикующих врачей, свои техники, а я... практикующий друг: я вожу близкую дружбу с девами слегка побитыми, но ещё не забитыми, с девами, какие сохранили прелесть непосредственности и веру в своё светлое

будущее. Только с такими! Специализация неизбежна в любом деле. Я же не пойду в ночной бар искать прокуренную нимфетку без лифчика и в стрингах.

— Лучший друг девушек, но не бриллиант... — Ямщиков опять посмотрел на спящую Машу. — А я, захоти, мог бы стать лучшим другом девушек?

— Вы женаты?

— Нет.

— Холостого будут воспринимать как потенциального жениха: легко не отвяжутся. Для роли лучшего друга девушки нужен или прочно женатый, или ещё какой заведомо временный: престарелый, инвалид, уродец или — чтобы это было очевидным для неё — слишком проблемный. Чтобы она ещё при завязке романа определила: кавалер хотя временный, но полезный, и спокойно отнеслась к неизбежному расставанию, а ещё лучше, чтобы даже сама запланировала расставание по окончании курса. Юные девы привыкли в школе всему учиться у взрослых, это вошло в натуру, стало стереотипом, так почему бы не поучиться любовным отношениям? Сейчас за это на всяких тренингах даже деньги гребут, а здесь, — Полонский широким жестом обвёл стены гостиной и закончил указующим перстом на недопитый бокал хереса, — все расходы мои!

— Мужчина для девушки как стартовая площадка для ракеты...

— О-у, в самую точку! Капитальная стартовая площадка — я так и собирался сказать, вы опередили.

— Иннокентий Маркович, а если девушка воодушевлена такой перспективой: «Ой, значит, у меня будет настоящий роман со взрослым мужчиной!» — она из вашего контингента?

— Заявка «со взрослым мужчиной» — это, значит, ей почти всё равно с кем, это сложившаяся внутренняя установка. Говорю же: созрело яблочко и падёт в лапы тому, кто первым успеет подставить.

— Остаётся всё же этический момент.

— О-у, о нём мстители регулярно мне напоминают. Они не учитывают специфику контингента: для них все молодые девушки — «просто девушки». Но «просто девушек» нет в природе и в обществе, они есть только в статистике народонаселения. Спроси любую: ты «просто девушка»? Обидится насмерть: «Я такая-то!»

— У вас, как я понимаю, есть собственная типология девушек: типология для целей обучения любовным отношениям. В нашем центре один учёный муж разрабатывает типологию людей для целей реаниматологии...

— И я чувствую себя учёным-исследователем, хоть иди и сейчас диссертацию защищай! Если девушка во цвете лет встретила и полюбила парня, разве ж я б к ней полез. Я не претендую на успешных во всём или везучих девушек — эти пробегают мимо меня, не оборачиваясь, пританцовывая и улыбаясь своим мыслям. Я врачую, на ноги ставлю тех неопытных дев, которым сразу не повезло, которые вляпались в не того парня, а дальнейшее их неведение о том, как надо выбирать мужчину и строить с ним отношения, может привести к драме или даже к трагедии. Такую вляпавшуюся деву я целенаправленно и быстро воспитываю. А полезно ли ей самой воспитываться до тридцати лет, делать аборты, лечить гинекологию, если и во второй, и в третий раз вляпается не в того? Зачем ей столько лет и здоровья терять, когда у меня она к девятнадцати, к двадцати годам — уже опытная дамочка, и ни болезней, заметьте, ни абортов, ни душевных травм. Я всех дев сподвигаю искать себе жениха, настраиваю на поиск и наставляю, и они охотно мне докладывают о кандидатах в женихи, советуются. А когда влюбилась или познакомилась с перспективным и достойным её, отечески благословлю — и она сама тихо-мирно уйдёт. Иные девы потом благодарят за науку: годы проходят, и они начинают соображать, как много полезного от меня получили.

— А если связь откроется, являются мстители?

— Не обязательно мстители. Недавно мамаша одна взялась со мной говорить: оставьте мою дочь, вы, мол, в два с половиной раза старше, ей учиться — и бла-бла-бла. Причём тут возраст воспитателя, если мать для своей кровинушки-дочери — ноль.

— Ноль как воспитатель?

— Как друг! В таком возрасте нормальные мама с дочкой становятся уже подругами. Оказалось, мамаша даже не знала, что её дочура на почве разрыва со своим первым парнем — одноклассником с первого курса в универе — перестала ходить на занятия, её отчислили из вуза, и она четыре месяца морочила голову родителям: уходила каждый день из дома поутру и возвращалась вечером страшно уставшая от учёбы.

— А вы?

— А я добился, чтобы на моей груди дева успокоилась, пережила разрыв и восстановилась в университете. Я убедил её продолжить образование, наказать изменника своим ослепительным видом и отличной учёбой.

— А она?

— Восстала из пепла! Преобразилась, повеселела, в весе добавила семь кило триста — сам еженедельно взвешивал, у меня порядок железный! — она совсем перестала болеть. А всё моя доброта, ненавязчивое воспитание, пустяшная забота, пробежки по набережной, хорошая книга вместо интернета и сериалов, регулярный продолжительный секс. Она падала за смертью и засыпала: пара месяцев — и кризис прошёл.

— А чем кончился разговор с мамашей?

— Мамуся оказалась ужасно вспыльчивой, но способной оценить мою железную логику. Договорились так: я держу её дочь ещё один месяц, чтобы в тихой гавани закончить восстановление, потом снаряжаю и отпускаю корабль в вольное плавание.

— А возвращаются... в тихую гавань?

— Бывает! Как заштормит, летят на всех парусах: за советом или текущим ремонтом... — ну вы понимаете.

— Да, регулярный продолжительный секс быстро вырабатывает стереотип. Особенно у зависимых неуспешных типов.

— Других я не могу привлечь и удержать, да мне и не надо — зачем рисковать.

— А когда попробуют молодого, не жалеют, что начали с вас?

— Я им сразу внушаю: наши отношения — особенные, поэтому они «не в счёт».

— Блистательная технология! Ваши особенные отношения, маэстро, полагаю, включают некоторые интимные излишества?

— Излишества, как вы их называете, — это вполне разумная и приемлемая плата девушки за обучение отношениям. Секс — основной инструмент обучения. Без секса я просто не встречаюсь, без него мне с девицами неинтересно: чего они могут мне — Полонскому! — дать, кроме своего тела?

— Ну да: простейшие же... О чём с ними разговаривать, остаётся только попирать...

— Но остаётся попирать — мне! Вот если бы девушку так попирали какой-нибудь недостойный юнец, который думает только о себе, это было бы для неё позорно и опасно. Я пользую

девушек, не скрою, с некоторым арсеналом излишеств, с фантазиями, но поскольку это «не в счёт», то со мной «можно всё», — и девицы пребывают в состоянии полного этического самооправдания и физического довольства. После моей обработки их уже никакой сексуальной коллизией не смутишь, а это важно при выстраивании новых отношений. Они же ужасно трусят перед неизвестностью.

— Мне, граф Полонский, просто некуда укрыться от вашей железной логики! А какой лучший возраст для любовницы — из девушек вашего контингента?

— Для взрослого опытного мужчины лучший возраст любовницы — девятнадцать лет. Начать пользоваться в девятнадцать и закончить в двадцать один — высший класс! Сам и не хочешь, а влюбишься в тело от всей души. Какой азарт, какая всегда охота! Сладчайших соков — залейся! Уже в двадцать два — совсем не то. В двадцать три — заметное охлаждение, отстранённость: иная уйдёт, не попрощавшись, даже обидно. Девятнадцать — самый сок!

— А восемнадцать, значит, рановато... — сказал Ямщиков, покосившись на спящую Машу.

— В восемнадцать она ещё как следует не натомилась. И нет ещё страха перед двадцатью, а двадцать для девушек — это первый возрастной рубеж. Пусть натомится, а в девятнадцать прорвёт — и грянет бразильский фестиваль! У совсем ранних шлюшек всё по-другому, но я таких не держу.

— В вашей зооколлекции таких голотипов нет... А ордена на стене и горные лыжи — для создания положительного образа владельца?

— С чего так решили? — Полонский остановился и вскинул брови домиком.

— Юные леди советских орденов не знают: им хоть мальтийский крест на стенку вешай. А лыжи — сильно устаревшей модели, но на них ни единой царапины, кожа на ботинках местами иссохла...

— О-у, да вам не хирургом — следаком в райотдел.

— Профессия научила внимательным к деталям быть.

— Бутафория, конечно, для создания образа. Девиц успокаивает: заслуженный и спортсмен, чего такого бояться. Не рассказывать же птичке, что высоты боюсь...

Полонский подцепил за живот неприкаянного кота.

— Иди ко мне, любимый! Хороший ты мой кот! А ну, встали на задние лапы, пошли... — Полонский согнулся, взял кота за передние лапы, растянул и повёл его впереди себя. Кот, выпятив пузо, спокойно пошёл. — Ну вот: и сразу мы приобрели человеческий вид и поумнели. Был простой лежебока — стал кот учёный. Одиссей мог бы многое о хозяине рассказать. Сдохнет обжора мой — чучело набью, так за тринадцать лет к нему прикипело... А теперь станцуем для гостя. А ну: как мы умеем танцевать? Нет, лучше покажем акробатический этюд! Заслуженный артист — он и посреди ночи артист...

Полонский опять взял кота под мышки и стал подбрасывать его к потолку. Кот сохранял спокойствие, дёргался несильно, только иногда мяукал котёночным тенорком...

Глава 12

Коллективный врач

— Дожил! Дожил! — Полонский ёрзал на переднем сиденье и при каждом вскрике локтем толкал сидящего за рулём Клямкина. — Верил я, всегда верил: распахнутся когда-нибудь двери, войдут люди и скажут: «Пойдём с нами, Иннокентий Полонский! Без тебя — конец всему!» И я уйду на великое дело! Брошу всё и вся — и уйду! У меня как раз три дня без спектакля... И аванс дадите?

Клямкин отстранялся, как мог, от Полонского и с растерянным удивлением поглядывал через зеркальце на Ямщикова. Тот располагался на заднем сиденье, одною рукою обнимая привалившуюся к его плечу спящую Машу, в другой держа надкусанный пирог.

— А фильм когда будет готов? — обернулся артист к Ямщику.

— Снимать начнут сразу по вашему прибытию, — не прожевав, ответил тот.

— Ну а сценарий?

— Сценарий... Вы из мрака ночи, из шторма заходите в вестибюль, бледный и слегка несобранный, залитый дождём, чтобы зритель понял: героя экстренно вызвали в предсмертную ночь... Короткое интервью корреспонденту областной газеты...

— И корреспондент меня ждёт? — заёрзал Полонский.

— Корреспондент уже не просто ждёт, — сказал Клямкин почтительно и передал Полонскому свою визитную карточку, — но и сам напросился отвезти вас на съёмочную площадку.

— У вас и съёмочная площадка есть?

— Есть. Но прокат фильма, маэстро, — сказал Ямщиков, — возможен будет только в случае успешного завершения цикла лечения.

— Без проблем! — заторопился Полонский. — Сыграем как по нотам! Благородного юношу, преследуемого костявой смертью, остановить за шаг до могилы, прикрыть своей грудью! Здесь, друзья мои, гамлетовский пафос нужен! Быть или не быть! Иннокентий Полонский в роли отца, поднимающего со смертного одра своего названного сына. У-у-у, они все подохнут от зависти! — Он погрозил кулачком в ветровое стекло. — Все, все у меня попередохнут как прусаки-тараканы! А эта мадам ещё будет валяться у меня в ногах, задам я ей хорошую порку... Нет, люди добрые, какова судьба-злодейка! Сколь тяжка доля Полонского! Невинный юноша лежит на смертном одре, а я, последняя его надежда, в неведении лежу в постели с какой-то... простите, невылизанной кошкой из общаги! Я не переживу, официально вам заявляю, не переживу, если... У-у-у, я знаю, что такое угодить в морг! Никогда — вы слышите? — отнёсся артист к журналисту, — никогда Полонский не допустит, чтобы наше младое племя загнали в морг! Сам лягу за него! Пусть лучше мою кровь спустят! А... её, что — в обычную канализацию спускают?

Ямщиков поперхнулся пирогом.

— О-у! — Полонский коснулся руки оторопевшего Клямкина. — Этот вопрос, конечно, не для печати. Но в крови зараза, трупный яд, а он почище синильной кислоты. Дезинфицировать стоки с морга надо самым беспощадным способом. Чтобы ни одна бацилла не проскочила! Я, кстати, убиенных животных — ни-ни, не потребляю. По праздникам только курочку — живую — на рынке беру, весёлую такую, пёстренькую, сам зарезу, ошпилю и тут же стоговорю. Вот еда мудреца. Триста лет проживу! Меня мороженой дохлятиной из супермаркета не прельстишь. Знаю я этих продавцов: им бы только падаль всучить. Теперь вперёд, Росинант, — Полонский локтем с размаху въехал журналисту в бок, — пересечём пространство безвестности!

— Насчёт канализации — как? — выдавил Клямкин, поёжившись от удара. — К вам был вопрос, надежда-доктор. Только вы расскажите, как есть на деле, а я уж знаю, как разжевать для впечатлительного народа.

— Желаете продолжить разговор... — отозвался Ямщиков мрачно. — Извольте. Год тому назад вы о нас писали: надо запретить им экспериментировать на людях, иначе кончится тем, что они подавятся человеческой икрой и далее в том же роде. Вы не отказались от этой позиции?

— Не вижу пока оснований. Впрочем, одно я усвоил: не все ваши новации поддаются испытаниям на обезьянах. Но этика! Как вы развяжетесь с этикой? Ничего святого: вам что красотка с грудью из календаря, что жена родная...

— Жена — родная?! — воскликнул Полонский. Он отпрянул от журналиста и скорчил лицо своё в негодовании. — Вот новость! Забыли Дарвина: в натуре дети — родные, жёны — чужие. Не видели, зная, как эти «родные» твоё имущество при разводе делят. У нас три четверти состава труппы во множественных разводах с осложнениями. Фиолетовым станешь от таких треволнений! Никогда не женюсь!..

— Вы лечите, — с напором перебил Клямкин, — но можете и судьбу сломать, семью развалить.

— Уже и Катю Светлову нам припомнили, — усмехнулся Ямщиков.

— Катя Светлова! — взвился артист. — «Мисс Волга» прошлого года? Но она с глянец смылась куда-то.

— Мисс работает сестрою милосердия у доктора Ямщикова. Каково вам? — обратился Клямкин к артисту.

— О-у, прекрасные кадры! Глазки, ножки, попа!.. А какая грудь! Какая грудь!! Животворная грудь! Сладкая пилюлька. За такой сестрёнкой милосердия, коллеги, чтобы только хоть разок за нею по больничному коридору пробежать, любой калека зайчиком из койки выпрыгнет, а я — объективно! — я и из гроба с заколоченной насмерть крышкой вскочил бы и погнался. Ответственно заявляю, друзья мои: такая грудь, вкупе с приветливостью выражения лица и лёгким поощрением интима, полумёртвого на ноги подымет и бежать за собой сподобит! Великая Образцова в телеинтервью говорила об однажды увиденном в испанском кабачке местном брутальном певце: «Я бы пошла за таким на край света!» Сама Образцова пошла бы за залётным певцом из кабака. Катя Светлова — не услышать мне грома аплодисментов! — полумёртвого мужика на ноги поставит. Была бы только вера, появиись только надежда, что ты сможешь стать кандидатом в её кавалеры.

— Только не надо про веру, — с досадой сказал Клямкин. — Уже, доктор, обратили нового рекрута в свою веру... Не верю я в сладкоголосых сирен. Хочу выздоравливать надёжно и просто: с лекарствами, процедурами и физическими упражнениями. Вас лично, Иннокентий Маркович, такая сладкая пилюля хоть раз на ноги подняла?

— А то! — Полонский крайне оживился и перешёл на доверительный тон. — Как мужчина мужчине, не для транслирования пиплу... Стоит мне приболеть, коллеги, я ни к каким врачам и таблеткам — ни-ни! А вечером звоню в наше общежитие, девушке, какая пожалостливей, посострадательней — из своего резерва...

— И у вас уже есть свой кадровый резерв? — сказал Ямщиков серьёзно. — И своя типология... А я думал, мы бежим впереди планеты всей...

— Бегут они! Догоните сначала Полонского! Прилетит она, пощечет чисто райская птичка, приласкает, киселька сварит, тёпленького подаст, ножками поиграет, на гитаре потренирует, споёт умильно, коснётся меня там-сям, прижмётся, согреет, пошепчет... Доставит тысячу маленьких наслаждений, тысячу! А, друзья мои, что есть счастье? — подпрыгнул вдруг Полонский, едва не вырвавшись из ремня безопасности. — Ладно, записывайте моё определение, дарю! Счастье — это ощущение получаемого наслаждения. Сильно?! Потрясены?! То-то! У меня определения железные, для энциклопедий. И вот я налюбуюсь ею, надышусь, потрогаю её всю, а то и помну её легонько, то-сё — и засыпаю счастливым и умиротворённым, а наутро — здоров как бычара! Наслаждения лечат! Надёжно и просто. И задёшево. Получи заряд наслаждения — и катись колобком дальше. Только без экстрима: колобок, но без экстрима!

— Вы серьёзно?! — Клямкин в недоумении взглядывал то на Полонского, то — через зеркальце — на Ямщикова.

— Слово графа Полонского! Но! — Полонский выставил в ветровое стекло указательный палец с огромным перстнем. — Не каждая лечит, иные — калечат!

— Объясните невежде! — уже начинал яриться Клямкин, прибавив скорости.

— Какая поёт, мурчит или щебечет — та и лечит, а какая лает, ржёт или мычит — та калечит.

— Нет, вы серьёзно?! — подъярзнув, взвился журналист и уже всем корпусом оглянулся на Ямщикова. — Я, отец трёх

детей, живу с супругой двадцать пять лет в мире-согласии, я, заболев, стану звать к себе вашу, как её, природную сестру милосердия, я, уважаемый в городе человек, потащусь к сладкоголосой сирене из модной клиники? Так?!

— Именно так! — почти закричал Полонский. — Если хотите гарантированно выжить.

— Маэстро Полонский поступает совершенно в русле методологии колвавра, — начал серьёзно Ямщиков. — Почему мы привлекли именно Катю Светлову... Удалось выяснить: она с детства по-настоящему любит младших братиков и домашних животных и умеет ухаживать за ними — это во-первых.

— И я своего Одиссея по-настоящему люблю! — вставил Полонский. — Лучший в городе ветеринар кастрировал!

— ...Во-вторых, она оказалась склонной к сопереживанию и подвижничеству, у неё сильно развито чувство долга — настоящая русачка. И, в-третьих, мы успели перехватить её у фотографов, эстрадных продюсеров, рекламщиков и всей этой... братии, не дали втянуть её в стандарты модельной жизни. У Кати грудной замечательный голос. Она поёт романсы под гитару и фортепиано. У неё томный зовущий взгляд, изящные телодвижения. Её прикосновения нежны и вызывают реакции у любого мужчины. От неё исходят воодушевление и надежда — и к больному возвращается вера в себя. Она умеет всплакнуть к месту, умиленно и восторженно, но не горько. Её присутствие ускоряет восстановительные процессы больного — это установлено клинически, с помощью не вызывающих сомнений технологий, статистика железная, как говаривает наш дорогой Иннокентий Маркович.

— Тогда объясните популярно бедному популяризатору, — с неприкрытой досадой сказал Клямкин, — на что опирается ваше лечение дивной грудью? Только без железной статистики, пожалуйста: её я из ваших отчётов возьму.

— Мы исходим из наследуемого природного свойства, в силу которого мужчины и женщины стремятся выбирать и по возможности обладать усреднённо красивым представителем противоположного пола. Внешняя красота рождает впечатление, и это впечатление, если его воссоздать в целях реаниматологии, может мобилизовать жизненные ресурсы больного и, тем самым, ускорять восстановительные процессы, по сути — творить жизнь. Мы, впрочем, пускаем в дело и красоту идей. Недавно был у нас один изобретатель, с позиций обывателя

— немного шизик, мы дали ему кличку Бруно Второй; на женщин — ноль внимания, вся жизнь завёрнута в патенты. Так мы привели к нему сподвижника, тоже немного звезданутого, обуреваемого идеями и проектами века. Посвятили его в последние неосуществлённые проекты больного — такую морковку для больного выбрали, пропитали сподвижника этими проектами — под небольшим гипнозом, чтобы не сбивался с нужного нам маршрута. И наш колваврач по мотивам тех проектов страстно и убедительно расхвалил больного, распалил его, зажёл новую надежду. Пригласили экспертов из патентной организации, кого больной знал лично, в лицо. Те торжественно выдали больному пару новых патентов, заверили: вот-вот, мол, решится вопрос ещё в отношении нескольких заявок нашего больного... Дали веру в то, чем больной дорожил гораздо больше, чем жизнью. И тем подняли...

— Но это обман! — воскликнул Клямкин. — Какое-то изощрённое издевательство над больным человеком, введение в заблуждение, уголовное, собственно, дело! Об этом я и писал!

— Вам приходилось идти по рельсу или по скользкому бордюру, когда то одна, то другая нога срывается, и вы шатаетесь, едва не падаете?

— В детстве в девяносто вторую школу ходил по железнодорожному рельсу, по Линдовской ветке на проспекте Маркса.

— И наловчились с годами по сто метров, не падая, проходить. А вот когда в первый раз пошли, то на десяти метрах по три раза срывались. И тот больной наш в одно дежурство по три раза сознание терял на несколько часов, и у него продолжались ещё остановки сердца, непрерывная вентиляция лёгких — сам не дышал, и переломы, и острый живот. Вопрос: в эти критические часы обществу нужно думать о паре липовых патентов или о спасении жизни одного из нас? О спасении, может быть, Джордано Бруно Второго! Несоизмеримые величины: жизнь и введение в заблуждение. Если вас, журналистов, лишать жизни за каждое введение нас в заблуждение, борзописать станет попросту некому. Изобретательская одержимость до сумасшествия довести может. Изобретатели стремятся к патенту, как голливудские актёры к «Оскару».

— Артисты ради славы готовы на любые жертвы! — воскликнул Полонский.

— И репортёры за сенсацию готовы пол сменить, — сказал Ямщиков.

— Попробуйте-ка всё это объяснить пиплу, — огрызнулся Клямкин. — Публика ждёт от СМИ критики всего неэтичного. Знаете же текущие настроения в верхах, установки Кремля.

— Вы, господа критики, вы в оценке нашего дела должны, наконец, для себя определить меру, — со сдержанным гневом сказал Ямщиков. — Мера в реанимации одна — жизнь больного, всё! Жизнь, а никакая вовсе ни этика. Этика — понятие относительное, объект вечного шельмования, а жизнь человека — понятие конкретное, невозполнимое. До этики нашему больному ещё доползти как-то надо. Всё, что вызывает подъём, мобилизацию сил организма, — это всё должно признаваться этичным лечащим средством. Красивая отдающая себя женская натура пробуждает в организме больного мужчины спящие резервы — и мы берём это сильнейшее и безобиднейшее лекарство. Особенно для мужчин эротического склада. А больным женщинам, естественно, подводим отдающих себя красавцев. Мужчины, в большинстве своём, вот так вот рядом, — Ямщиков протянул руку к плечу Полонского, — на вытянутую руку, ни разу не видели, точнее, не ощущали рядом с собой приветливую с ними ослепительно красивую женщину, упакованную красавицу, мечту во плоти. По телевизору видели, в чужой, возможно, в чьей-то жизни видели, а рядом с собою — не ощущали. Ни разу — за тридцать, за пятьдесят, за семьдесят лет жизни. А между тем, мужчины отчётливо представляют себе: есть где-то в мире по-настоящему красивые и доступные ему женщины, только всегда почему-то не про мою честь.

— О-у, ещё как представляем! — крутнулся на месте Полонский. — Ещё как! Разрази меня гром аплодисментов, я б и диссертацию про натуры женщин мог накатать — так одними определениями и шпарил бы все пятьсот страниц!

— Правильно ли я вас понял, — сказал Клямкин, пробуя усмехнуться, — попади к вам в реанимацию одержимая модой Эллочка-людоедка, вы подымали бы её с помощью платья, отороченного собакой?

— Да! — одновременно сказали Ямщиков и Полонский.

Но развивать утверждение вдохновенно взялся артист:

— Коже понятно: для реанимации Элочки-людоедки нужно взять журналы с фотками Вандербильдихи, найти похожую на неё модель и сочинить сценарий типа: как Эллочка, напялив

на себя платье, отороченное крашенной гуашью собакой, убивает наповал заносчивую конкурентку. Финальная сцена: поверженная Вандербильдиха бьётся в предсмертных конвульсиях у ног Элочки, истерично кричит: «Ты убила меня своим шикарным платьем! Ты супер! Теперь все метросексуалы — твои!» Так, коллега?

— По идее сюжета — точно так, — ответил Ямщиков. — Вы, Иннокентий Маркович, суперкреативны, я вами начинаю гордиться.

— Я, что ни выдам, всё окажется истиной! — изо всей силы заставляя себя быть скромным, объявил Полонский и выразительным кивком поклонился слушателям.

— Сумасшедший дом... — не сдавался Клямкин. — Отказываюсь вас понимать.

— А я всегда сомневался в разумности отцов семейств, — с нескрываемой иронией в голосе адресовался Полонский к Ямщикову. — Казалось бы, выросли большие дядьки, обросли всем на свете, даже успели врать, но так и не доросли до жизнетворного креатива...

— Товарищ Клямкин всё же не либерал-пересмешник, — заступился за газетчика Ямщиков. — Другие представители СМИ топчутся на мне с нескрываемым наслаждением — значит, по определению Иннокентия Марковича, счастливы. Серьёзно, Иннокентий Маркович, и я счастлив, что познакомился с вами. То есть, объективно, получаю наслаждение от общения с вами. А воздастся вам почётом и звонкой монетой.

— Давно пора! Узнают они у меня истинного Полонского! Вылечу сына — представите меня на народного артиста России.

— Вы будете пробовать господина Полонского на роль отца? — спросил журналист. — При живом родном отце?!

— Родным для тяжелобольного человеком можно стать легко, — сказал Ямщиков. Он отстегнул ремень безопасности и стал укладывать обмякшую во сне Машу к себе на колени. — Заболел — и восприятие становится иным, привычные миры искажены болезнью. Для тяжелобольного тот роднее, кто вселит надежду, а лучше — уверенность в скором выздоровлении. С этой позиции самым родным человеком для больного человека на короткое время мог бы стать его лечащий врач. Но большинству врачей не хватает эрудиции и фантазии, чтобы направить свою энергию в нужное русло. Теперь молчим: пусть уснёт покрепче...

Разговор прервался. Ямщиков стряхивал крошки от пирога, прилипшие к Машиной шапочке и к выбившимся из-под неё кренделькам волос; девушка продолжала спать, время от времени что-то бормоча или со всхлипом вздыхая. Полонский вертелся, лазал по своим карманам, взмахивал руками, поминутно вырывался из тисков ремня безопасности; он что-то сочинял и записывал в книжечку и временами — с экспрессией, весь в шёпотах и сдавленных вскриках — репетировал новую роль отца у смертного одра сына. Артист мешал вести машину, но Клямкин, получив от Ямщикова предупредительный жест, замечаний не делал, только раз за разом пристёгивал беспокойному попутчику ремень безопасности и, набычившись, через мелькающие дворники и струи воды, со злым шумом бьющие в ветровое стекло, смотрел на дорогу, убегающую в размытую тьму. По просьбе Ямщикова он добавил скорость и вцепился в руль уже изо всех сил.

Опять ехали на Красную Глинку, мимо чёрного леса, с двух сторон обступившего насыпь широкого и скользкого шоссе. Вырисовывались там-сям куртины кривых скелетов берёз да кривые стволы белёсых осин. Стёкла запотели, Клямкин включил кондиционер и большим старомодным платком обтёр замокшее опять лицо.

— Литератор сказал бы: «Небеса глумятся над непривычной к штормам Самарой», — попытался шутить Клямкин. — Небес нам ещё не хватало...

— Занавес! — приглушённо вскрикнул вдруг Полонский и кивком поклонился воображаемой публике.

— Значит, поговорим об эвтаназии, — сказал, вдруг посуровев, Клямкин, продолжая вглядываться в темноту. — Включаю диктофон.

— Есть активная и пассивная эвтаназия, — сразу начал Ямщиков. — Пассивная — на каждом шагу. Когда говоришь с очень пожилой женщиной — необязательно больной, услышишь про смерть её подруги во сне и такой комментарий: «Повезло ей: не пришлось в больнице мучиться, а то бы врачи извели болями, залечили до смерти...» Старики устают жить в болезнях и немощи, для многих долголетие — наказание, а больница — казнь, просят забрать их домой, умереть среди близких людей. При постоянных болях молятся о смерти как об избавлении от страданий.

— Человек имеет право отказаться от лечения, включая вашу реанимацию, — с напором сказал Клямкин. — Я не крутой демократ, но право выбора...

— Ага, опять ваше «право!» — перебил Полонский. — Право усыпить человека как бездомную собаку.

— Я не то чтобы сторонник активной эвтаназии, но — будем честны! — есть ограниченный бюджет, и врачи обязаны участвовать в рационаровании медицинских ресурсов государства. Поддерживать жизнь безнадежного больного во что бы то ни стало — такую медицинскую помощь бедная страна вряд ли может себе позволить.

— Врач, хоть один раз выполнив просьбу об усыплении, не сможет работать дальше, — сказал Ямщиков с нарастающим раздражением. — Активная эвтаназия пока что недопустима. В моей личной практике набирается шестнадцать случаев безнадежных больных, на которых все поставили крест и лечили по инерции, а они взяли и выжили. В мире полно неразрешимых вечных вопросов: как избежать несчастной любви, что такое справедливость, чья земля и... прорва других, — и я скорее предпочту с ними жить, чем пытаться обязательно, через кровь, их разрешить.

— Но факт: пожилые больные, выписанные после реанимации, живут в среднем всего лишь полгода, — упорствовал Клямкин. — И можно представить, каково качество этой жизни. Многие родственники побывавших в реанимации стариков говорят, что не хотели бы продолжать лечение во что бы то ни стало, а предпочли тихую смерть от наркотика.

— В цепи «жизнь — смерть» врач должен знать своё место и решать вопрос на своём уровне максимально хорошо. В эвтаназию же включается тема прекращения исполнения своих обязанностей врачом. Разреши сейчас у нас эвтаназию — и врачи неизбежно начнут «подсказывать» больному или его родственникам. Начнут ещё в приёмном отделении списывать больных в расход, начнут составлять «чёрные списки» по больнице. Медицинский бюджет, да, сохранится — в краткосрочном исчислении. Но медицина не сфера распределения, а сфера обслуживания. Объективных критериев между «больным» и «безнадежно больным» не существует. Право выбора смерти или жизни — это часто инфантилизм, временная потеря воли к жизни и, конечно, путаница понятий «хочу» и «возможно». Ну, допустим, ты «хочешь» умереть

— в кавычках хочешь! Но мало ли чего ты ещё хочешь? Может быть, ты атомную бомбу взорвать хочешь. Цель медика — обслужить больного, а не решать, кого лечить, а кого оставлять умирать без помощи или оказывать ограниченную помощь. Реаниматология — последняя инстанция, а представьте, что не только реаниматоры возьмутся решать исход для больного?

— Любкой врач, что ли? — с испугом дёрнулся Полонский.

— А если врач — коновал?

— Не врач, а любкой человек. Фельдшер «скорой помощи» не станет шинировать и обезболить больного с тяжёлой травмой; врачи из периферийных больниц перестанут обращаться за помощью в крупные медицинские центры; прохожие перестанут вызывать «скорую помощь» для упавших на улице или сбитых машиной людей; МЧСники на месте пожара будут добивать топорами сильно обгоревших... Получим некоторую экономию медицинского бюджета. Но после этого порядочный кардиохирург, думаете, отдаст своего прооперированного больного в ту реанимацию, где руководством к действию является оценка дежурным анестезиологом перспектив больного? Убийство смертельно больных неизбежно сдвинет критерии — и начнём убивать просто больных, путём неоказания помощи. Эвтаназия, как революция и война, опасна тем, что, начав убивать «правильно», то есть исходя из какой-то «полезной» для общества идеи, врач втягивается в процесс и начинает убивать уже всех подряд — такова человеческая психика. После кровопролитной гражданской и двух мировых войн в России многие отвоёвавшие уже не могли вернуться в нормальную мирную жизнь: дома стреляли в собственных жён, в матерей своих детей. Тридцать седьмой год — это ещё и истребление увязнувших в крови революционеров, которые уже не могли остановиться и перейти от бойни к мирной жизни. Невольные мясники препятствовали строительству мирной страны, строительству социализма и были казнены — вот суть тридцать седьмого года. В любой стране рост послевоенной преступности — факт, взлёт преступности и самоубийств среди участников вьетнамской войны в США — факт, «афганский синдром» у нас — факт. Всё хорошо изучено.

— Вы думаете, — сказал Клямкин, — начни доктор лишать жизни смертельно больных, он неизбежно нравственно переродится?

— Да. Таких врачей вскоре самих придётся лечить принудительно или отстранять от профессии. А уж в криминальных и иных целях эвтаназия будет использоваться наверняка, заведомых «пользователей» полным-полно: наследники, конкуренты, мстители, Раскольниковы среди врачей, юные диссертанты по эвтаназии... Врачам нельзя убивать больных ни при каких обстоятельствах.

— А чем больному Саблину было плохо в государственной клинике? — спросил Клямкин. — Вы, врачи, должны знать всё друг о друге.

— Мы знаем многое, но не всё. Там в некоторые смены реанимационные мероприятия с больным Саблиным проводились формально и...

— Как формально? — крутнулся Полонский. Он опять выдернул ремень безопасности и всем корпусом обернулся к Ямщикову. — В реанимации разве можно формально?! Последний заслон перед моргом!

— Тише вы, разбудите. Не под запись... Мало того, что к Саблину отнесли формально, ещё дважды отказывало электропитание, — со злостью сказал Ямщиков, когда журналист выключил диктофон. — Один раз это привело к остановке сердца больного. Мы пока ещё не всю картину лечения знаем, но утверждаю: больному Саблину уже повезло, что дожил до нас.

— А я хотел бы умереть красиво, — сказал вдруг Полонский, уставясь в темноту дороги. — Я, конечно, триста лет проживу, но на триста первом — красиво уйти, как со сцены. Чтобы с живыми цветами, макияжем, под звуки аплодисментов и весёлую музыку.

— С макияжем? — вставил Клямкин с ядовитчинкой. — А не интубированным, не истыканным катетерами, не с выпиленными рёбрами?

— Да, умру с весёлой помпой, чтобы народ погулял и вспомнил! Напишу в завещании: умирать меня чтобы принесли на сцену в любимом кресле, в котором спала сейчас дева Мария. И чтобы с чучелом кота Одиссея на коленях. Решено! Подпишу всё имущество в пользу родного театра, приму наркотик первый раз в жизни — и поминайте как знали народного артиста Полонского. Моё право!

— Кр-р-расота! — сказал Клямкин и опять почти насильно пристегнул артиста к сиденью. — На сцене драмтеатра в гробу

лежать с чучелом кота. А долголетие, господин Полонский, — это страшное наказание. Уже средневозрастные люди не успевают приспособиться к современному миру — это не их мир, им нет в нём места, а вы загнули — триста лет, прям как пушкинский ворон! Накаркаете себе наказание. Сбавьте до полутора сотен...

— Всё равно, государство и общество, — перешёл на доверительный шёпот Полонский, ничуть не обидевшись на издевательский тон журналиста, — не должны распоряжаться мной в последние дни — хватит с них, нараспоряжались. Даёшь триста — я оптимист!

— Доктор сейчас вам скажет: «Пессимист — это оптимист после инфаркта». Я прав, доктор?

— Да, после катастрофы со здоровьем характер человека меняется кардинально. Завещания нужно писать заблаговременно — под этим подпишется любой реаниматолог и анестезиолог.

— В Америке популярны завещания с порядком ухода из жизни, — сказал журналист. — Целые страницы посвящены порядку ухода при разных вариантах фактуры: много фантазий...

— О-у, и здесь америкосы нас обскакали. — Полонский обернулся к Ямщикову и склонил голову. — А, дорогой профессор, если рассуждать логически, с какой стати моей жизнью будет распоряжаться реаниматолог, даже уважаемый? Реаниматолог, анестезиолог — да они познакомятся с Иннокентием Полонским только в самые последние часы его... моей жизни. От незнакомых людей смерть принять? С какой стати? Если не на сцене в театре, так лучше уж дома, лучше с поклонницей, да лучше даже уголовник-сосед! С соседом меня хоть какая-то часть жизни связывает. А в палату зайвится, извините, какой-то мужик в халате, меж колпаком и повязкой узкая щёлка для глаз, да и те в очках, чтобы брызги крови на слизистую не попали, и говорит непонятно, лучше бы уж обматерил, как сосед, — и такой перекроет тебе кислород? Нет, лучше — я горнолыжник! — разбежаться, разлететься и в свободном полёте, под телекамеру, — в пропасть. Вот это конец! На людях смерть красна! Только найти на Кавказе подходящую пропасть... ну чтобы съёмочная площадка, освещение, восторженная публика, музыка, румяные девушки ручками в красных варежках машут — я видел картину...

— И рухнете в глубокий свежий снег, — торжествуя, почти весело перебил Клямкин. — Спасатели вас

вытащат — и в ближайшую реанимацию. А там прекрасная сестра-анестезиолог в парандже окружит вас своей прекрасной грудью и споёт обволакивающий романс на родном языке. Так, доктор?

— Увы, — нехотя откликнулся Ямщиков. — Медсёстры-анестезистки, проработав двадцать лет, уверены: больных после наркоза будят прозеринном, и никакие благие просветительские намерения государственной медицины, увы, не помогают. Спасибо, Марь Иванна, что вообще пришла.

— А молодая смена? — удивился Клямкин. — Мединституты отнюдь не пустуют.

— Нужны девчонкам грязь, смерть, трупный запах, проклятья родни, гепатитный риск? Им замуж за богатого нужно — так либералы по телевизору воспитали. Государственная медицина катится в пропасть, исключая немногие бластные центры. У меня в Пироговке был начальник-пенс: увешан наградами, песок сыпется, а проверял каждую наркозную карту под микроскопом — каждую. А теперь интернов никто не учит. Где кто успел, упробил доктора дать что-нибудь руками сделать — вот и всё обучение трубосуйству.

— Халтура! — поддакнул артист, придав лицу мученическое выражение. — Все мы бегаем по халтурам. Противно...

— Нижайшие требования российского общества к медицине — неиссякаемый источник профессиональной деградации и безответственности врачей.

— А как же слова Шекспира из «Генриха Шестого»: «Когда другие спят, на страже бодрствуй!», — продекламировал Полонский. — Я-то артист: ну, положим, без вдохновения, из рук плохо сыграл — так никого ж не убил, а врач...

— Ав больницах происходят, как мы их называем, «ритуальные убийства», — отчётливо сказал Ямщиков.

— Масоны в белых халатах?! — воскликнул Полонский. — Всё: лечусь дома — и триста лет проживу!

— Поясните, где и как происходят «ритуальные убийства»? — живо подхватил тему Клямкин. — Запись вырубил, а то вам, доктор, за всё сказанное жизни не хватит отсидеть.

— Там, где статистика выживания напрямую зависит не от степени тяжести состояния больного, а от состава дежурной бригады. Там, где самое страшное время суток — долгая ночь с пятницы на понедельник...

— О-у, это же самое время для жизни! — откинулся Полонский почти в испуге.

— ...Там, где на утренней конференции на полном серьёзе идёт обсуждение необходимости перевода больного из отделения терапии в реанимацию после малоинвазивной манипуляции только потому, что потребуется обезболить с применением наркотиков. Там, где лечащий врач не может сам себе выписать фенотарбитал или феназепам...

— И, наверное, ещё там, — припомнил Клямкин, — где телепрограмма «Кома» для подростков — о вреде наркотиков — шла в два часа ночи.

— Госканалам подай рекламу! — завозмущался вдруг Полонский. — Доходы от рекламы простомола для государства важнее заботы о молодом поколении. Хорошо ещё, у меня детей нет... кажется.

— Итак, вы, доктор, за то, чтобы лишить больного права выбрать для себя смерть, — объявил Клямкин. — Мотивируйте.

— Болезнь ослабляет или даже поражает волю человека. Он становится способным принимать решения во вред себе. Между тяжелобольным и врачом невозможен продуктивный диалог. Тяжелобольной, он как вусмерть пьяный: совсем другая личность, не узнаваемый даже близкими человек, даже не вполне человек — у него реальное и абстрактное могут совместиться в одно или даже поменяться местами. Для садистов манипулировать сознанием больного — сплошное удовольствие. Но надо видеть больных с распадом, которые до последнего дня и часа радуются жизни, радуются родным людям, радуются еде, выпивке и радуются куда больше, чем здоровые вокруг. Смерть неизбежна, но это не значит, что можно заменить врачей на палачей. Если желание умереть было высказано человеком в распоряжении или завещании давно, в здравом уме и трезвом рассудке, тогда, я допускаю, может вступать в действие его гражданское право. Допустим, будучи в полном здравии, написал человек в завещании: «Если у меня обнаружат неоперабельный рак, отрубите мне голову, а здоровые органы возьмите для пересадки», — ладно, заводим в клиниках гильотины, лицензированный садист рубит голову и получаем мешок органов для пересадки. Благородно со стороны больного, полезно для общества — гром аплодисментов.

— Взять из меня органы для пересадки! — вскинулся Полонский. — Я!..

— Тише вы, — шикнул на артиста Ямщиков. — Разбудил-таки...

Маша поднялась с колен Ямщикова, села, стала зевать, глядеть по сторонам, разминаться и оправляться.

— Я завещал театру свой череп, а про органы-то забыл! Доктор, в трёхсотлетнем возрасте органы ещё сгодятся бедному народу?

— Бедному народу может сгодиться всё. У человека клетки полностью заменяются за несколько лет.

— «Какая ж тайна в свежем огурце!» — пропел вдруг Полонский, просяив в отражениях фар встречной машины на ветровом стекле. — Звучит жизнеутверждающе: старик внутри — тоже молодой!

— А что у вас в бригаде за пляски с бубнами у костра и заклинания шаманов? — спросил Клямкин. — Не лучше ли пригласить психолога, как делают в футбольной команде.

— Реаниматологам психологи нужны больше, чем футболистам: на каждое дежурство нужно настраиваться как на финальный матч. Рядовые врачи-реаниматологи в государственных клиниках перестали бояться смерти больного. А мы в бригаде заставляем себя бояться. Мы, как военные, подбадриваем себя командами перед атакой, чтобы не победить гадину — победить смерть нельзя, а заставить временно отступить. Вот это для нас торжество наступает, когда больной очнулся и есть показания на улучшение.

— Романтический бред! — прошептал Клямкин.

Но Маша услышала:

— Где вы увидели бред?

— Панно с собаками и волком в приёмном покое напоминает бред в стиле Брейгеля! — произнёс журналист уже громко и с вызовом. — Волки — по Брейгелю, а собаки написаны почти в иконографическом изводе. Я всё равно знаю: в реанимации по-тихому прекращают медикаментозную терапию и убирают кислород, а в истории болезни описывают героические спасательные мероприятия. Это обман! А потом является аспирант и на этом обмане защищает диссертацию. И обман обретает научную подпорку, попадает в инструкции, в книги.

— Намеренные обманы, конечно, случаются, — сказал Ямщиков. — Но чаще всего при отключении систем

жизнеобеспечения безнадежного больного медицинским персоналом движет сочетание дикой усталости, лени, плохого настроения, отчаяния и чёрт знает чего ещё...

— И чего же ещё? — подхватил Клямкин. — Колитесь до кучи, доктор Ямщиков, не для записи: я не хочу, чтобы вас лишили дипломов, отлучили от профессии и упекли за дискредитацию официальной медицины.

— Ещё рассуждения врачей: «На двенадцати койках лежат четырнадцать больных, а тут ещё на него время тратить, всё равно умрёт». Хотя безнадежных больных не бывает, точнее, не должно быть. Такие и подобные мысли преобладали бы у врачей при решении проблемы эвтаназии. Но есть и другой вариант вневрачебной этики. Это когда так называемый безнадежный больной героически лечится суперлекарствами за большие деньги. Родственники всё понимают или делают вид, что понимают, но желают «спасать до конца», чтобы совесть была чиста, и потому обеспечивают докторов материально. В этом случае больной становится для медперсонала дойной коровой, а у врача кардинально меняется мотивация труда: ставится цель не исцелить, а продлить жизнь больного.

— А это разве не одно и то же? — удивился Полонский.

— Не одно! Это означает применение совершенно разных способов, разных лечебных процедур и медикаментозных средств.

— И родственники не догадываются? — с волнением сказала Маша.

— Могут и догадываться, но ничего не смогут доказать, — ответил за Ямщикова журналист. — Записи-то в историю болезни делаются совсем другие.

— Почему? — сказала Маша и вся сжалась.

— Потому что бригада реаниматоров, — бросился в наступление Клямкин, — это мафия с внутренней...

— Железной дисциплиной и круговой порукой! — успел вернуть Полонский. — Мафия в белых халатах!

— Ну да! — ещё с большей убежденностью подхватил журналист. — Зачем таким врачам эвтаназия? Зачем им терять прибыльный незаконный бизнес?

— Что вы несёте! — вспыхнул Ямщиков. — Марья Сергеевна, оба эти знатока живут в мире заговоров. Мафиозный бизнес в реанимации единичен, исчезающе мал, поверьте спецу. Рынок

незаконных операций и процедур развит куда меньше, чем в других сферах деятельности.

— А есть случаи, когда на больном врачи поставили крест, а он взял да и выжил? — спросила Маша.

— У каждого врача наберётся по несколько случаев, когда лечили уже как бы по инерции, а больные взяли и выжили. До упора лечат только безнадежно больных детей: здесь коллективная врачебная совесть, наверное, не позволяет отключить системы жизнеобеспечения — у врачей тоже есть дети.

— А стариков, одиноких... отключают? — заёрзал Полонский.

— В каких случаях отключают — конкретно?

— Перед новогодней ночью, к примеру: врачи тоже люди, хочется выпить, посидеть, поржать над анекдотом, а тут привозят штабеля вусмерть упившихся или передравшихся, порезанных, подстреленных, с ожогами от фейерверков, всяких... — и иди готовь койки, принимай, выполняй процедуры. Если койки все заняты, могут и отключить какого-нибудь старичка — освободить место для новенького. Тем более, если нового привезли родственники или друзья и вручили ценный новогодний подарок или купюры, а назавтра обещали привезти ещё...

— О-у, чую, не дадут мне в государственной больнице протянуть до трёхсот, — привзвыл артист. Он сокрушённо покачал головой и поцокал языком. — Всё, Иван Николаевич: записывайте графа Полонского к себе в перспективную очередь: денжат я подкоплю, не все артисты вертопрахи... Снимете обо мне клип, а уж я распоряжусь: медную табличку на двери квартиры повешу, чтобы «скорая» везла прямо к вам. В госклинике отключат от кислорода перед боем курантов... — нет, это слишком: я так люблю праздновать Новый год!

— Только учтите, Иннокентий Маркович, — без тени насмешки сказал Ямщиков, — если у вас, кроме чучела кота Одиссея, не окажется родни и близких друзей, то единственная дополнительная надежда — это реанимирующий клип. Поможете создать сюжет?

— Я — помогу?! — сразу оживился артист. — Я продиктую сценарий! У меня сейчас, пока ехали, уже созрели три великолепных сценария, а завтра станет тридцать три, вы меня знаете! Голливуд, Болливуд... — всё вчерашний день: будет вам на Красной Глинке теперь Полливуд, слово Полонского!

Одиноких стариков отключают... дышать не дают... — мафия! Один только кот... Или взять да жениться? Дева Мария, пойдёте за меня замуж? — обернулся Полонский к девушке. — Я вашего брата спасу, как родного — бесплатно! Доктор — свидетель! Отказываюсь от гонорара!

— Спасибо, Иннокентий Маркович, — очень сдержанно ответила Маша. Она взглянула на Ямщикова и улыбнулась ему краешками губ. Ямщиков поощрительно кивнул девушке и взял её за руку. — Я ценю порывы благородных людей. Но у меня уже есть достойное предложение, и я склонна его принять.

— Вы сейчас как матрона сидите. Эх, по каким закулисам бегал, а рядом деву не доглядел... Водитель, включите в салоне свет!

— Дорога еле видна — какой свет! — возразил Клямкин, вглядываясь в темноту. — Хотите влететь? В реанимации, доктор, — это пусть тоже не под запись, — больные кончают жизнь самоубийством?

— Да, но это категорически запрещено освещать. Когда я работал в Пироговке, в мои смены было три случая. Больной — врач-гинеколог, женщина, миастения, обострение болезни не отвечало на лечение в течение трёх недель, от трахеостомии категорически отказалась, а потом тихонько экстубировала себя. Второй больной — инженер с авиационного завода с хронической почечной недостаточностью; я разговаривал с ним по душам, и не раз, уговаривал продолжить лечение. А он умолял меня выписать, чтобы умереть дома, среди родных. Ну как я такого выпишу: любая проверка — и самому в тюрьму сесть? Однажды ночью он просто рассоединил шунт и...

— Шекспировские страсти в труппе лежачих пластом! — воскликнул Полонский. — А я об этом даже не думал. Да я и «народного» себе отхвачу... Иван Николаевич, любезный мой друг, давайте мы с вами напишем пьесу, трагедию о...

— Напишем и пьесу! Третий самоубийца — с массивным пищеводным отравлением — трижды перекусывал зонд Блэкмора; два раза успевали заменить, в третий — стажёр прошляпил — умер. На вскрытии — тромбоз нижней полой вены...

— Ваня — жизнелюб, — со страстной убеждённостью сказала Маша, — он перекусывать себе вены не станет!

— О-у, жизнелюбы — часто психи! — с азартом возразил Полонский. — Есть в нашей труппе один «жизнелюб»: он

в прямом — не в переносном! — в прямом смысле головой о стенку бьётся, выйди что-нибудь не по его. Даже как-то — пустяшную роль не дали — вены резал: доказывал свою незаменимость для театра. Подумаешь — роль не дали: ну выпил вечером — и забил... забыл. Такой жизнелюб, что дурак!

— Ваня вам не дурак! — воскликнула Маша и чувствительно ткнула Полонского кулаком в плечо. — А все артисты — пьянчуги и потаскуны!

— Выкусите, господин артист, комиссарского тела! — засмеялся Клямкин с подсвистом и, притормозив, даже закашлялся в платок. — Теперь буду, Мария, за вами следить: включу в свой список интересных самарцев, можно?

— Можно! Да, я очень интересная, очень!

— А что, дева Мария, вам снилось? — сказал Полонский, спеша перебить внимание Маши к журналисту. — Вы бормотали что-то: «Ни вам, ни колам...»

— Ой, я, кажется, проспала весь разговор... Нет, что-то слышала... Даже вопрос какой-то хотела задать... — вам, Иван Николаевич.

— Я напомню, — сказал Клямкин. — Хотели спросить: так эксперимент был сначала над собой?

— Какой... над собой? — Маша нахмурилась журналисту в затылок. — Иван Николаевич вам не подопытный кролик!

— Именно подопытный кролик, — гордый своей осведомлённостью, объявил Клямкин. — Ваш, спящая красавица, обожаемый доктор в лучших традициях науки сначала поставил эксперимент на себе: сотрудники ввели его в искусственную кому, а потом оживили с помощью заранее снятой сцены.

— Честно?! — Маша схватила Ямщикова за локоть и с силой подтянула к себе. — Вас — в искусственную кому? И вы лежали, как Ваня — серый, бездыханный, весь в трубках, навзничь?!

— Ну не ждатель же, когда тебя собьёт самосвал, — сквозь зубы сказал Ямщиков. — Пристегнитесь ремнём... Клямкин, жмите! Опыт ставили трижды: сначала на Линнее, потом на мне, потом на Колычёве. Затем уже подтянули добровольцев: студентов и уголовников.

— И вы могли умереть?! — вскрикнула Маша и отшатнулась от Ямщикова. — Добровольно?! А как же... я... мы... все?

— Этого больше не повторится, Марья Сергеевна. Пристегнитесь — мы разогнались, наконец-то... А в то время

бригада не могла поступить иначе. Прежде чем рекомендовать новую технологию, нужно было провести клинические испытания на человеке.

— Я тоже вас зауважал, — обернулся артист к Ямщикову. — Вы испытатель. Заслуженный... — нет, даже народный — как лётчик-испытатель нового самолёта! А если бы техника отказала? Кирдык? А пусть и кирдык! Всё, грянет зима — махну в Сочи: испытывать себя горными лыжами. Пора графу Полонскому становиться брутальным! Не ждать же, в самом дела, самосвал со щебёнкой из-за угла...

— Дорого бы я дал, чтобы увидеть ваши реанимирующие клипы, — сказал Клямкин.

— Они не подлежат разглашению без согласия больного. Действуют и зарегистрированные авторские права.

— Я так полагаю: скоро вы начнёте предлагать снимать такие клипы заранее, — серьёзно сказал Клямкин, — в упреждение несчастных случаев.

— Уже год предлагаем, и люди идут.

— Богатеи?

— Пока, да, богатеи и средний класс. Но если поставить на поток, завести на Красной Глинке... свой Полливуд, цена процедуры снизится в разы.

— Только не надо обесценивать мой Полливуд! — вскипел Полонский. — Новых идей в мире и так позарез не хватает! Надоело мне бегать по халтурам на корпоративы, с халтурами долго не протянешь: все соки выжмут. А Полливуд — затея мирового масштаба, и я!.. я!.. Все в Полливуд! Я им, кто жить хочет, представляю красивейшую реанимацию, просто шикарную! Все знаменитости в коме будут наши!..

— А почему в вашей бригаде нет ни одной женщины? — перебил Клямкин артиста, грозящего в ветровое стекло кулачком.

— Нет баб? Возьмите парочку наших! — сделал широкий жест рукой Полонский. — В составе трупы театра две трети — это дамочки-самочки, и даже — в духе навязчивой установки начальства на дружбу народов — чуть было не приняли одну негрятючку-католичку из Эритреи: на счастье аборигенов, не прошла суровый испытательный срок в койках худрука и одного заезжего режиссёра из Питера — питерские у нас табунами кормятся на халтурах. Простите, я о наболевшем...

— В коллективах анестезиологов и реаниматоров нельзя допустить войны, — сказал Ямщиков. — Воюешь в таком коллективе, значит, профнепригоден. Самое опасное здесь как раз дамочки — провокаторы скандалов.

— Вы разве женоненавистник? — отпрынула Маша.

— Очень даже наоборот! — опять хихикнул Полонский. — Доктор Ямщиков — эротический тип, я убедился.

Клямкин опять включил диктофон:

— А какие сопутствующие заболевания досаждают вашему способу реанимирования больше всего?

— В отечественной медицине при любом диагнозе есть три самых тяжёлых сопутствующих заболевания: высокий чин, родство и медицинское образование больного.

— А вам всё лётчиков-испытателей подавай, — с вызовом сказала вдруг Маша в спину Клямкину. — Всё вам показывай десантников из горячих точек. Почему СМИ разработку вооружений бурно приветствуют, а систему Ямщикова замалчивают?

— «Система Ямщикова» — недурной термин, — сразу оживился Клямкин. — Употреблю — думаю, приживётся. Всё лучше «Системы коллективного врача» — от одного названия из больницы ночью по связанным простыням сбежишь.

— «Система Станиславского» хорошо прижилась, — объявил артист. — «Система Полонского» — тоже звучит, и Полливуд!..

— Из-за вас военным героям дамы в воздух чепчики бросают, а врачей... — гневно продолжила Маша. — Врач, что ли, не защищает от смерти, — только вояки у нас защитники?

— Я исправлюсь, хорошая девушка, — сказал Клямкин и внимательно посмотрел на Машу через зеркальце. — Обещаю.

— Матерью поклянитесь!

— Мать в могиле... Детми своими клянусь! Обещаю, как минимум, нейтралитет. О человеческой икре, о собаке Павлова больше писать не стану... Ну и защитники у вас, доктор Ямщиков. И вы с обоими познакомились только этой ночью? Чувствую себя в глубокой осаде...

— Да, я защитница! — не унималась Маша. — Потому что сначала Иван Николаевич стал нашим защитником. Если хотите знать, мы с ним похожи — вот так!

— Тогда пофилософствуем, — сказал Клямкин примиряющим тоном, оставив попытку переварить заявление Маши. — А как в СМИ нужно освещать вопросы жизни и смерти?

— При чём тут ваш пипл? — опять вырвался из ремней Полонский. — Для себя бы эти понятия определить!

— Понятие жизни и смерти зависит от выбранной точки координат, — начал Ямщиков с неохотой. — Зависит от времени, точки в пространстве и, конечно, от вещества и энергии. Жизни и смерти в природе, можно сказать, нет. Понятия жизни и смерти созданы человеком как удобные представления о мире природы и для регулирования отношений в обществе. Жизнь и смерть — с позиций естествознания — условность, понятия философские, выдуманные. Люди живы и мертвы одновременно.

— Шикарный сюр! — обернулся Полонский. — Выходит, можно жить вечно?

— У человека мозг может умереть, а тело — продолжать жить. Вопрос: считать такого человека живым или мёртвым? Нет ответа. В природе можно жить вечно, в обществе — только какое-то время. Мы должны торопиться и преодолевать стереотипы. Технологии развиваются быстрее, чем меняется образный строй человека. Над умирающим лебедем в театре как сто лет тому назад зритель рыдал, так рыдает и сегодня. Нельзя потрафлять умиранию в обществе индивида по старинке, надо способствовать спасению жизни в обществе по новинке.

— Какая-то доморощенная философия, — сказал Клямкин, — а перед реаниматором стоит вполне определённая цель.

— Наши больные, как правило, неизвестные нам, врачам, люди. Нужно иметь хорошую технологию, чтобы быстро сделать его знакомым и даже близким, понятным, чтобы смочь снять фильм. Линней создаёт видеотеку — для Полливуда. В ней собираются и хранятся реамофильмы для тех, кто предусмотрителен, из числа людей опасных профессий или опасного образа жизни, крупных предпринимателей и чиновников, какие опасаются покушений, горнолыжников...

— Я человек опасной профессии, — вставил, приосанившись, Полонский. — Да и образ жизни — горнолыжник!

— ...Как горнолыжник Иннокентий Маркович. Снять клип о себе, любимом, о своей сути, заранее — это гораздо дешевле, чем как мы сейчас: среди ночи сломя голову, получая отказы, рискуя собственными головами, мчимся узнавать суть личности больного и снимать об этом фильм. Я давно уже не витязь

на распутье. Я свою дорогу выбрал и по ней бегу. Освещайте мне её, журналисты, пишите о ней, драматурги, пьесы. Нет, вы, СМИ, норовите камнем из придорожных кустов швырнуть. Врач-реаниматолог не может жить как все, он ближайший к принятой границе жизни и смерти человека. Мы заложники своей профессии. Мы трижды заложниками стали, когда поняли, что способны спасать больных лучше других врачей. Детство и старость у человека проходят слишком биологично, не пафосно. У нас больницы не пафосны. А не хотят люди умирать на больничной койке без пафоса. Образы рождения тоже биологичны и быстры, куда менее волнующи, нежели образы смерти. Как много художественных произведений создано об образах смерти, и как мало — о рождении. Мы каталогизировали образы смерти — это теперь научная база Полливуда. Самые впечатляющие образы, созданные художниками мира во все времена, — это образы грядущей и наступившей смерти. Образ умирающего лебедя. Образ одного беззащитного существа, умирающего на виду и долго, — это самый трогательный образ смерти. Массовые или быстрые смерти трогают меньше. В реанимации на койках лежат как раз лебеди. Сейчас их у нас семнадцать.

— Сопереживание умирающему лебедю — критическое, я знаю, — сказал Полонский. — Как изображу невинно пострадавшего зайца, зритель жалеет, убивается.

— Люди переживают индивидуальную чужую смерть, подразумевая свою. Не смерть — образ смерти. Смерть безымянного, но очеловеченного, чёрного таракана в мультике будет восприниматься столь же сочувственно, как смерть прекрасного белого лебедя, если подать таракана сочеловеченным пафосом. Тараканы бега — тоже бег наперегонки со смертью. Лебедь — романтический образ, а к романтическому образу устремлён подсознательно человек, который страшится смерти. Типичное клише. Для египтян когда-то был священным образ скарабея, катящего шарик с овечьим дерьмом. Тогда египтяне не знали биологии жука-говноеда. Мы не можем в дело создания фильмов вмешивать свои личные вкусы, иначе трудно сохранить объективность оценок и второстепенное затмит главное. Наша цель — заглянуть в душу человека, описать её без штукатурки. Нам нужна классическая, а не романтическая интерпретация героя, поэтому мы изучили хорошо прописанных героев мировой литературы и драматургии. Их оказалось более ста

тысяч. Сколько героев — столько и фабул. Мы составили огромные типологические ряды, по типу периодической системы химических элементов Менделеева. Это колоссально облегчило нам работу. Определив ячейку, мы сразу отбрасываем многое: всё неважное, вздорное или случайное, или вовсе чужое, или приписанное.

— Значит, вы, не зная человека, сначала определяете его тип и уже в зависимости от типа назначаете процедуры?

— Именно так. Гражданский паспорт больного мало о чём нам говорит: только пол и возраст, а вот его индивидуальная ячейка в типовом ряду — обо всём. Не только диагноз больного, но и тип человека — критерий назначения реанимационных процедур.

— Я холерик, предупреждаю! — обернулся артист к Ямщикову. — Запишите, чтобы не забыть. Мне процедуры чтобы назначили — не как какому-нибудь там флегматику. А кто из героев холерик?

— Ноздрёв, Хлестаков у Гоголя, — сказала Маша.

— Д'Артаньян у Дюма-отца, — сказал Клямкин.

— Нарочно подгоняете меня в ряд к дуракам? — восстал Полонский на журналиста.

— Генералиссимус Суворов, Пушкин — сойдут? — сказал Ямщиков.

— О-у, с Пушкиным в ряду я согласен! — обрадовался артист. — А то Ноздрёв, Хлестаков... Вы бы Пушкина с пулей в животе подняли?

— Конечно подняли! — заявила Маша. — Ведь правда, Иван Николаевич?

— Я читал диагноз Пушкина, лечение. Наша бригада, без всяких сомнений, подняла бы Пушкина от земли. Сегодня это по плечу и не слишком глухой районной больнице.

— У вас литературные и драматические произведения почти приравниваются к медицинскому документу, к научному анализу, — с иронией сказал Клямкин. — По меньшей мере странно слышать.

— Странно, но факт. Наши ряды героев всё же неромантические — классические. Мы даже предпочитаем античных.

— Это когда герой готов пожрать собственных детей? — в ещё большую иронию впал журналист.

— Да, сегодня есть и будут люди, готовые в душе пожрать своих детей, и родителей, и весь белый свет. Линней уже снял

два клипа с сюжетом убийства своего нелюбимого ребёнка и один клип с убийством старухи-матери.

— Это у нас, в Самаре, есть такие люди? — уже непритворно изумился Клямкин. — Их же нужно тащить в полицию, их — на освидетельствование, их...

— Да у нас в театре полно таких! — с горячностью выступил Полонский. — У многих актёров — в воображении! — руки по локоть в крови: официально заявляю, под запись!

— Опять дилетантские рассуждения, — сказал Ямщиков, обращаясь к журналисту. — Не представляю, как вы будете освещать нашу работу. Они самые обыкновенные люди. Хотеть иногда прибить своего ребёнка — это не значит непременно убить его. Человека донимает его природа, человек устаёт работать и жить, человека обидели, человек не видит для себя перспектив, у него в какой-то момент наложилось всё одно на другое. Мало ли какие приоритеты и затмения могут из этого состояния произойти. Нам для фильма нужно выявить приоритеты, скрываемые, как правило, от общества, от самых близких людей. Мы отработали технологию — ей цены нет! У нас только нет статистики, без помощи государства технологию не обкатаешь на сотнях тысяч больных, а из бригады сегодня уже ушёл один человек. Мы можем в любой день скончаться — и годы работы насмарку!

— Они ничего не понимают! — прильнула Маша к плечу Ямщикова. — Приоритеты брата мы установили за пару часов, вот так! Я помогла! У подружки мама работает на телевидении: я попрошу — и обойдёмся без дилетантов! Все журналисты — пьянчуги и потаскуны! Дилетанты! Иван Николаевич всю ночь не спал...

— И я всю ночь не спал, — сказал Клямкин.

— И я! — сказал Полонский.

— Ну и что, что не спали! — взъерилась Маша. — Я тоже, может быть, не спала! Не спали, а толку от вас для дела — никакого! Почувствуйте, наконец, приоритеты: кто здесь есть кто!..

Машина подъезжала к воротам Центра. Светало.

— Приоритеты... — пробурчал Клямкин, вцепившись в руль и не думая тормозить перед крутым поворотом. — Сейчас увидим, кто здесь есть кто...

— Лужа! — взвизгнул Полонский, не зная, за что ухватиться.
— Фух, пронесло... Нет, почему на въезде в ворота обязательно лужа? Ехал-ехал и в самом конце — утонул. Загадка мироздания!

— Всем отдыхать три часа, — приказал Ямщиков. — В двенадцать ноль-ноль — общий сбор и мозговой штурм.

— О-у, я — пионер: всегда готов! — распетушился Полонский, молодежато выпрыгивая из машины. — Что будем штурмовать?

— Приоритеты! — одновременно сказали Маша и Ямщиков, подняли глаза на друг друга и с радостным пониманием улыбнулись.

— Что-то, доктор, я перестаю верить, — заговорщицки шепнул Полонский Ямщикову, когда они вошли в фойе Центра, — будто у вас с девой Марией «ни-ни». Это вы ей сделали предложение, а никакой не боксёр...

Глава 13 Приоритеты

— Теперь установим приоритеты в жизни больного, — обратился Ямщиков к собравшимся на съёмочной площадке.
— Текущие ключевые приоритеты. Предлагайте.

— Потерянная невеста! — выкрикнул Портос. — В смысле — Наталья. Ванька сильно переживал: я никогда его таким отухшим не видел.

— Невеста ему! — с вызовом сказала Маша, обернувшись к Портосу. — Мы, семья!

— Вряд ли семья, — спокойно возразила Панина. — Не в этом случае, Машуня. Конечно не я, но и не семья, и не друзья — деньги.

— По себе судишь! — мгновенно взъярилась Маша. — Я тебе не Машуня! Я!..

— Итак, текущий приоритет — деньги! — перебил девушку Ямщиков. — Возражения есть?

Все молчали, вздыхали, отворачивались. Саблина притянула к себе дочь и поцеловала её в машинально подставленный лоб. По лицу Клямкина прошла презрительная усмешка. Полонский, загримированный под отца Саблина, выразительно посмотрел на Ямщикова и развёл руками: чего, мол, с этой молодёжи возьмёшь!

— Больной в последнее время экономил? — обратился Ямщиков к мушкетёрам.

— Нет, — сказал Арамис. — Какой смысл: экономя в мелочах, на дом не соберёшь.

— С наших официальных зарплат копить нет смысла! — энергично выступил Коркин.

— Да, а Ваньке нужен был быстрый доход, — подхватил Портос. — Лотерея, рулетка, на крайняк — отъём наворованных денег у олигарха.

— Безопаснее жениться на дочке олигарха, — сказала Панина. — Времена беззащитных от новых Деточкиных воров давно миновали.

— Или открыть клад атамана Барбоши в Соколых горах, — пробормотал Атос больше для себя. — Мы в детстве искали, рыли лопатами, а теперь у кладоискателей хорошая техника — впопору пройти ещё раз...

— А наследство! — вскрикнул Полонский, как бы озарённый счастливой догадкой. — В пьесах наследство часто — двигатель драматического или сатирического сюжета!

— Дедушки-миллионера в Америке у нас нет, — сказала Маша. — Наследства нам ждать неоткуда. Я, если честно, вообще не знаю, откуда у людей большие деньги берутся...

— Я и говорю, — разгорячился Портос, — остаётся рисковать: быстрые большие деньги без риска не поднимешь. Пан или пропал! Рисковать ради первоначального накопления капитала — другого молодым сейчас не дано.

— А обязательно капитал поднимать с риском? — тоном уверенности в обратном спросила Панина.

— А что сидеть?! — выступил опять Коркин. — За деньгами, сидельцы, побегать надо, мощной потрясти! Вот Ванька и побежал за...

— Ты сам, как Ванька, — перебил Атос, — любишь лезть на рожон...

— Я не люблю — я не могу не лезть на рожон: характер и обстоятельства таковы! — опять в запале ответил Коркин. — Двадцать шесть лет, а три пули уже поймал! И ножевые. Давно сам с пробитой башкой мог оказаться у этих... — кивнул он на Ямщикова. — Да по всему: долго не пробегаю — как не лезть на рожон?! На орден за доблесть в горячей точке, на досрочное присвоение очередного звания — на меня вчера приказ пришёл, майора присвоили, на такие доходы дом на просеках не выстроишь. И я не знаю, как деньги без риска поднять. Ну откуда мне — по-хорошему! — взять деньги? В казённую машину свой бензин наливаю, а не налью — не на чем будет за бандитами гнаться. А чаще — и гоняюсь на своей. Да ну!..

— Значит, больной ввязался в серьёзную авантюру, — сказал Ямщиков. — Это укладывается в его фенотип.

— Не торопись, командир! — взяв себя в руки, возразил Коркин. — Связь между падением Ваньки в лестничной пролёт и возможной авантюрой пока ещё не установлена.

— Скоро прибудет полковник Бутусов, — сказал Ямщиков, — он уже доложил мне о серьёзном проступке вашего друга и везёт живое тому доказательство. Проступок был! Ещё обнаружилось: ни родственники, ни друзья не знали, что больного уволили с работы по неприятной статье.

Ямщиков открыл трудовую книжку и показал её всем.

— Не хотел, может быть, чтобы мы зря волновались, — промямлила Маша, отворачиваясь к матери. — Бывает же: погремит гроза вдалеке — и пройдёт мимо...

— Давай, Ямщик, не тяни, излагай сюжет, — сказал Морозов, возникнув на экране. — По физиономии вижу: для себя цепочку ты уже выложил.

Все обратились к Ямщикову и смолкли.

— Не под запись для СМИ, — поднял Ямщиков палец в сторону Клямкина. — У всех, напомню, подписка о неразглашении. Цепь состоит из трёх звеньев: первое — награда, второе — невеста, третье — деньги...

— И всё?! — воскликнула Маша, отрываясь от матери. — А где мы: семья, друзья — кого Ваня больше всех на свете любит?

— Семьи и друзей в текущих приоритетах больного нет, — с неудовольствием сказал Ямщиков, встретив со всех сторон недоумённые восклицания и перешёптывание. — Семьи и друзей нет, значит, с вами всё в порядке — будьте довольны. Выслушайте и обоснованно возразите. Тихо все!

В студии воцарилась тишина.

— Зачем больному всерьёз носиться с дорогушим проектом дома, если у него официальная зарплата и премии таковы, что нужной суммы и за полвека не собрать. Значит, у больного, далеко — по установленному фенотипу — не фантазёра, был вполне определённый расчёт на разовую большую сумму, а по мелочам он как все: займёт, подхалтурит, продаст машину, то-сё. Так что же для больного, по-моему, самое важное, на чём заострён текущий момент, а значит, какова должна быть логика выстраивания приоритетов? Концовка — это так называемая «сильная позиция» в любом сюжете. Начало и середину сюжета традиционно опускаем — они нам ничего не дают. Думаю, сюжет реанимирования должен строиться на трёх сценах.

Первая — награждение, слава, венец на голове, медные трубы, государственные фанфары: они устанавливают статус, искомый больным с самого детства. Вторая — это уже сто лет блестяще эксплуатируемый Голливудом архетипический шаблон: мужчина-победитель в награду получает невесту. И третья сцена — установка неофициального статуса в кругу близких людей. С первыми двумя актами всё понятно, а каковы необходимые и достаточные условия реализации третьей? Больной заострён на постройке дома. Дом приобрёл значение смысла жизни, с ним связана значительная часть статусных представлений больного: дом сегодня выше родных, выше друзей и невесты. Без дома больной не рассчитывал получить невесту, без дома падал его статус в глазах более финансово успешных друзей и знакомых. После отказа невесты у больного резко возросло чувство собственной неполноценности, а это для статусной личности чревато. Статусная роль дома взлетела: будет дом — будет всё. Для покупки участка и строительства дома нужны большие быстрые деньги. Ради их обретения нужно рискнуть добрым именем, здоровьем и даже, возможно, жизнью. Больной идёт ва-банк и проигрывает. А в нашем реанимирующем сюжете он вдруг — счастливым, надёжным, образцом — должен выиграть. Детали опустим, суть финальной сцены такая же, как мэтр Полонский описал для Элочки-людоедочки: больной под всеобщее ликование и объятия невесты получает в руки требуемую сумму. Фон: голливудский хеппи энд, шампань в потолок, бокалы о пол, больше шума и толкотни, неофициальные фанфары — от самых близких людей.

— Вы же нам говорили про стереотип геройства, — сказала, как бы очнувшись, Саблина, — он важен. Крейсер «Варяг»...

— Важен, но неправдоподобно, что подростковый мотив геройства так долго может продержаться у взрослого мужчины. От этого мотива можно оттолкнуться, чтобы разогнать сюжет паровозиком, но дальше вступает злоба дня.

— Не пойдёт, командир! — выступил Портос. — А как же мотив невесты? Наталья выкатила Ваньке гарбуза, он потом ходил петлями, спотыкался, темнее тучи был, с нами чуть не поссорился, на глазах с катушек съезжал! Я за невесту!

— И я, — сказал Коркин. — Раньше Ванька как все мы по праздникам выпивал, а после отставки стал по-настоящему пить, без нас, с хмырями какими-то.

— Любовь к женщине для больного означает не романтическое чувство, а престиж, — твёрдо возразил мушкетёрам Ямщиков. — Значит, мотив потерянной невесты, точнее мотив возврата потерянной невесты, можно первым вагончиком прицепить к сюжету как сказочно-голливудское награждение за геройство, но не более того. Дальше мотив невесты быстро меркнет, оказывается вообще замыленным текущими событиями: провалилась какая-то авантюра, с работы выгнали с «волчьим билетом», денег на покупку участка и строительство дома нет, а цель сохранилась: мечталось в доме жить с новой и старой семьёй и принимать друзей на широкую ногу. У больного ярко выраженные барские замашки, поэтому для него дом приобрёл смысл дворянской усадьбы. Дворяне, потеряв усадьбу, часто стрелялись. Усадьбы у больного нет, потому что нет денег, а шансы заработать их в ближайшее время неожиданно рухнули. Значит, сегодня ключевой для сюжета реанимации приоритет — это деньги. Главный текущий внутренний конфликт больного, который занимает все его чувства и помыслы, заключается в несоответствии запросов финансовым возможностям. Нехватка денег не просто мучила больного, как беспокоит и мучает большинство людей, а бесила, выводила из себя — как максималиста по фенотипу. «С катушек съезжал», «начал по-настоящему пить», сокрытие от близких факта увольнения — это верный диагноз текущего неустройства в жизни. Предлагаю финальную сцену в сюжете завершить вручением больному денег на постройку усадьбы. Возражения есть? Аргументированные!

Ямщиков скрестил руки на груди и обвёл присутствующих суровым взглядом. Мушкетёры и Коркин молча переглядывались. Саблины обнялись, прижались друг к другу и, опустив головы, смотрели в пол.

— Приехали, страна, — нарочито громко усмехнулся Клямкин, — деньги уже дороже отца-матери. Хорошенький бы вышел репортаж о бригаде Ямщикова: на Западе с удовольствием растиражировали...

— О-у, приехали, молодёжь! — фыркнул Полонский в сторону мушкетёров и весь обратился к Паниной. — Деньги для парня дороже невесты. И какой шикарной невесты! То-то юные девы теперь нас — настоящих мужчин! — предпочитают...

Все почему-то посмотрели на Панину, будто первый раз увидели.

— Что деньги для Ивана по ситуации окажутся важнее друзей — я раньше не могла бы это даже предположить, — сказала она. — Но сейчас я согласна с сюжетом профессора Ямщикова.

— Деньги... дороже меня, — всхлипнула Маша и ещё сильнее обняла окаменевшую от услышанного мать. — Пропади она пропадом, эта усадьба...

Возражающих не нашлось.

— Годится, — сказал Морозов. Другие люди в серо-голубых халатах на экране не возражали. — Сюжет укладывается в фенотип больного на девяносто семь процентов.

В студию вошёл полковник Бутусов. За ним, в наручниках, вихляя и таращась по сторонам, шёл скользкого вида парень. Бутусов одним движением глаз спросил Ямщикова, тот кивнул.

Полковник снял наручники с парня, вытолкал его в середину студии и доложил:

— Прошу не любить, не жаловать: напарник Ивана Саблина по аванюре со страховкой. Мелко-средний неудачливый мошенник.

— Не знала, с кем сын работал, — сказала Саблина. — Мелко-средний мошенник...

— А мне Ваня говорил, что работает в паре с... «одним хмырём», — сказала Маша. — Ой, простите! Как вас зовут?

— Я согласился поехать на ваше... — хм! — мероприятие, — сказал парень, с опаской покосившись на полковника, — только при условии, что моё участие останется в тайне, а я сам — инкогнито.

— Ну да, где страхователи, там мошенники, а где мошенники, там, само собой, инкогнито, — сказал Клямкин. — Знакомая уже четверть века картинка!

— Тогда и оставайся Хмырём, — надвинулся на парня Портос, предварительно перемигнувшись с Ямщиковым. — Выкладывай! Или на месте уроем!

Мушкетёры и Коркин плотно обступили Хмыря. Полонский всё же между ними просунулся и схватил Хмыря за грудки:

— Выкладывай про свою аферу! У нас здесь Полливуд! Страшилки по-взрослому. Полковник, давайте наручники, кляц, кандалы! Свой морг в подвале! И зароем в лесу!

— Никто здесь и не станет искать, — с величайшим спокойствием сказал Бутусов. — Хмыря из квартиры я

выдернул без свидетелей, камер на доме нет, стёкла на моей машине тонированные, номера заляпаны грязью...

— По сотовому могут отследить перемещение абонента, — сказал Коркин.

— Обижаешь старого опера, капитан. Сотовый у Хмыря я сразу отобрал, вынул симкарту и батарею, бросил в почтовый ящик. Вернётся, — если вернётся! — возьмёт. Нутром чую мошенника... Ну колись, Хмырь, о чём мне в машине не рассказал.

— Сначала доложу я! — выступил Коркин. — Ванька обратился ко мне: нужно было двух людей пробить на криминал. Они совладельцы большого завода не в нашем регионе, а в Самарской области у них только маленький филиал, цех, отдельное производство. Но почему-то они захотели застраховать завод у нас. Подозрительно, да?

— Конечно подозрительно! Мошенники! — закричали все, как прорвало. — С такими тварями страна разве когда-нибудь разбогатеет?! Ворьё! Мошенники! Твари!

— Я пробил по линиям УВД и прокуратуры: ничего подозрительного. Теперь колись, Хмырь: терпение не входит в число моих достоинств...

— Колись, Хмырь, бежать некуда! — подсунулся опять Полонский. Он приставил к виску парня свой чудовищный пистолет и выразительно посмотрел на Ямщикова. — Я, между прочим, успел перезарядить. Сейчас полбашки гаду снесу, вы меня знаете!

— Меня уже чуть-чуть не убил!.. — отпрянула к матери Маша.

И Хмырь, окружённый и толкаемый со всех сторон, начал рассказывать:

— Мы вдвоём с Иваном сначала организовали липовую оценку стоимости частного химзавода, а потом застраховали его на сильно завышенную сумму. За это нам обещали откатить тридцать миллионов рублей, но деньги отдать чуть позже, когда отмоют наличные. Как только мы застраховали, владельцы сожгли свой завод. В ночном пожаре — он случился в выходные дни — никто физически не пострадал. Мошенники получили страховку и отъехали в Израиль, оказались гражданами этой гостеприимной страны. Обещанный откат уволокли с собой. Страховая компания едва не разорилась. Меня и Ивана уволили, завели уголовное дело, так что сегодня мы оба находимся на подписке о невыезде...

— Да всё ясно! — прорычал Бутусов, махнув на Хмыря рукой, как бы затыкая. — Те два еврея хорошо подготовились, сидели тихо, чтобы не наследить. Цель: с одной мошеннической операции начать на исторической родине новую жизнь олигархов. Нашли в Самаре исполнителей-дураков и...

— Иван не дурак! — перебил Портос. — Просто неопытный, лох: первая же авантюра в его жизни.

— И вы авантюру оправдываете? — опять обратился Ямщиков к друзьям.

— По крайней мере, никого не убил, — сказал Коркин. — В первый раз рискнул перераспределить серьёзные деньги в свою пользу.

— Он же не думал, что мошенники устроят пожар на огромном заводе, — поддержал друга Портос.

— Начальник отдела кадров страховой компании сейчас подъедет, — сказал полковник. — С печатью компании. Он оказался моим старым знакомым: бывший мент на пенсии. Согласился «восстановить» больного на работе, шлёпнуть печать в трудовую. Но это за вознаграждение: с сильным негодованием относится он к больному и Хмырю — из-за них едва сам работу не потерял.

— Будет вознаграждение, — сказал Ямщиков, взглянув на мать Саблина, оседавшую на подставленный Машей стул. — Вернёмся к сюжету. Если больному сумма нечаянно свалится с неба, она не прокатит. Значит, во-первых, вручитель и мотив вручения должны быть знакомы больному, во-вторых, суммы должно хватать на возделенную усадьбу. Предлагаю: именно Хмырь должен сообщить больному, что, мол, произошла ошибка, сделка состоялась, откат пришёл, он сейчас со мной, на, получи свою долю. А начальник отдела кадров должен заявить о восстановлении больного на работе, а именно — на глазах больного сделать запись в бутафорскую трудовую книжку. Страховую премию, мол, отсудили обратно, да и завод пострадал несильно, поэтому отменяю предыдущий приказ, назначаю вице-президентом страховой компании или... — в общем, на то место, на которое метил больной. Теперь, — Ямщиков обратился к Морозову на экране, — откройте проект и смету. Кто что знает о проекте дома ещё?

— Проект Ванька присмотрел с год тому назад, — сказал Арамис. — Я говорил ему про планировку: за такие деньги

можно подобрать что-нибудь получше. Но Ваньке фасад понравился, озеленение — этого хватило для выбора...

— Давайте считать, — сказал Ямщиков. — Сколько требовалось денег на участок и дом?

— По смете... плюс инфляция... двадцать миллионов рублей, — сказал Морозов.

— А планируемый размер «отката»?

— Тридцать на двоих, делить поровну, — ответил Хмырь.

— Пятнадцати на хороший дом на просеках не хватит. Значит, больной рассчитывал как-то добрать. Ещё участок купить... Больному нужно было наскрести ещё миллионов девять-десять. Было у кого взять займы?

— Иван только у нас бы займы взял, — сказал Атос.

— Взял у четырёх друзей? — сам у себя переспросил Ямщиков. — Очень вероятно. По сколько бы вы наскребли?

— По лимону, вряд ли больше, — сказал Портос. — Я за свой лимон ручаюсь.

— Сумму нужно реальную, потому что больной знал положение ваших финансов и в уме наверняка рассчитывал на вполне определённую сумму от каждого.

— Тогда скорее... — прикинул Атос, — Коркин — пол-лимона, Портос и я — по одному, Арамис — полтора.

— Да, — сказал Арамис, — тремя-четырьмя взносами я бы до полутора смог бы сумму догнать.

— Осталось набрать пять миллионов — откуда их мог взять больной? — обратился Ямщиков ко всем. — Реальные деньги, которые больной мог бы принять с радостью. В сюжете радость нужна!

— У нас нет, — тихо сказала Маша. — Разве дачу продать? Но она столько не стоит.

— Дача ещё моей мамы, — сказала Саблина, грузно, с опущенными плечами сидя на стуле. — Развалюха, и участок так себе, но мы все привыкли, вросли...

— Продажа дачи сегодня — это серьёзная жертва для семьи Саблиных, — сказала Панина. — Иван бы такую жертву не принял. «Привычка свыше нам дана, замена счастию она».

— Не в проститутки же мне идти, чтобы заработать по-быстрому? — сказала Маша, приходя от собственных слов в ужас.

— Маша, что такое ты говоришь? — встрепенулась мать. — Можно взять кредит в банке, оформить ипотеку.

— И всю жизнь работать на банк? — перебил Коркин. — Уверен, Ванька такой вариант в голове не держал.

— Оставшиеся пять миллионов вложила бы я, — сказала Панина без пафоса, но твёрдо. — Как своему жениху.

— Твои родители гнобили-гнобили Ивана, а потом вдруг денег дадут?! — вспыхнула Маша, угрожая шагнуть к Паниной. — На свадьбу вашу долю он бы ещё мог взять, но на семейный дом, в котором твоим родителям не жить, — ни за что!

— Не жить, но в гости ходить, ребёнка нянчить, — высказала Панина как само собой разумеющееся и давно решённое. — Матушка у меня крепкая, детолюбивая, таких поискать, а мать невесты к её ребёнку всегда ближе, чем свекровь.

— Какому ребёнку? — не унималась Маша, подходя к Паниной вплотную. — Размечталась, вещая Панина! Не нужно было отвергать... Это каким же местом ты заработала пять миллионов?

— На телерекламе, — спокойно продолжила Панина. — Ни под кого, Маш, не ложась, я накопила и на свадьбу, и на машину, и на первое время. Мне у родителей денег просить нет нужды. Иван знал об этом: я посвятила его в своё материальное положение, очертила свой возможный вклад в общий кошелёк. Я, можно считать, уже взяла семейные финансовые обязательства, а все свои обязательства я привыкла выполнять от и до.

— Вы уверены, — спросил Ямщиков Наталью, — что больной взял бы деньги от вас как семейный вклад?

— Утверждаю, — с ещё большей спокойной решительностью сказала Панина, отодвигая от себя Машу одним взглядом, — он бы взял мои деньги как вклад в семейный кошелёк. Иван хотел строить не простой дом, а именно семейную усадьбу — для нас. И я подготовила взнос — пять миллионов, лежат где надо в валюте.

— Ты его рассчитывала купить! — закричала Маша. — У тебя в любви одна бухгалтерия! У невесты на уме должно...

— Мария! — повысил тон Ямщиков. — Ваш брат ждёт решений колвача, а не ваших истерик!

— Ой, я больше не буду...

— Сумма есть! — объявил Ямщиков. — Начинаем первый прогон.

— Как в театре — опять репетиция, — сделанным недовольством сказал Полонский. — На сцене и в жизни одно и то же. Ненавижу лишние репетиции...

— После парада на Красной площади, — начал Ямщиков, — министр обороны вешает больному на грудь медаль «Золотая Звезда», под гимн президент государства вручает больному букет невесты, и тот, весь в орденах, с букетом, на белом коне, со своей детской пластмассовой саблей на боку, заявляется на старую квартиру к Наталье Паниной, в которой ранее получил отставку. Невеста — уже одетая в свадебное платье — радостно встречает героя. Следует объяснение: «Я поняла — и вернулась к тебе!» Признание во взаимной любви, больной просит руку и сердце, надевают кольца, больной вручает букет невесты, невеста бросается ему на шею: «Только ты!», «Я твоя!»... Не знаю, как кидаются невесты... Наталья, пожалуйста, придумайте сцену сами.

— Постараюсь, — тихо сказала Панина, вытянув губки и словно целуя ими воздух. Она увела озадаченный взгляд в потолок и погладила пальчиками обнажённую шею. — Да легко! — тотчас доложила она, спускаясь ко всем.

— В дверях появляется толпа, — продолжил Ямщиков, отблагодарив Панину кивком. — Последовательность возникающих перед камерой персонажей: сначала мать больного и загримированный под отца заслуженный артист России, самый известный и любимый в Самаре актёр драмтеатра, Иннокентий Маркович Полонский — прошу любить и жаловать...

— Сначала у вас невеста... — с неодобрительной нотой заметила Саблина, в диссонанс с криками восхищения в адрес загримированного артиста.

— Мама, ты обещала! — обернулась к матери Маша. — Господину Полонскому на драматической сцене цены нет, все говорят!

— Дева Мария, — Полонский возложил обе ладони на область сердца, — я ваш раб! Но рано мне пока воздавать: я за справедливость в сфере вознаграждений.

— За родителями выходит на камеру дева Ма... сестра больного, — продолжил Ямщиков, поморщившись как от боли. — Далее шумной гурьбой вваливаются друзья; они наряжены мушкетёрами, размахивают пластмассовыми саблями — теми, узнаваемыми больным, из дворового детства...

— Я не размахивал, — строго сказал Атос. — Если вам нужно вызвать в зрительной памяти Ваньки достоверную сцену, то махал Портос, ну и сам Ванька, а мы с Арамисом...

— Значит, машет саблей один Портос, а более благородные мушкетёры держат руку на эфесе. Так будет узнаваемо?

— Да! — в один голос ответили мушкетёры.

— Обидно слышать... — буркнул Портос и покачал головой.

— Не знал, что числюсь в неблагородных...

— Смирись, друг, — сказал Атос. — Я тоже не самый. Первым по значимости в кадре должно появиться лицо Арамиса: его Ванька больше всех уважал как мушкетёра и советчика.

— А я думал, он больше тебя уважал, — сказал Портос.

— Оператору: камеру — сначала на благородного Арамиса, потом на махающего саблей Портоса и дальше — на погружённого в себя сдержанного Атоса. В конце сцены является Коркин в парадной капитанской... нет, в майорской... нет, в узнаваемой капитанской форме, при орденах. Затем появляется Хмырь с деньгами. Рассказывает о полученном откате, вынимает и ставит на стол перед Саблиным сумку. Вынимает из неё тридцать пачек 5-тысячных купюр: пятнадцать лимонов. Объявляет больному: «Твоя доля, как договаривались». «Не хватает девяти лимонов, — отвечает внутренний голос Саблина. — Займу у друзей». — «А мы уже собрали! Четыре друга — четыре лимона!» Включается песня «Крейсер «Варяг». Друзья по очереди подходят к Ивану, кладут свои пачки, желают счастья, обнимают! «Остались последние пять лимонов!» Их выкладывает на стол невеста: «Доля невесты и жены! Ты меня знаешь, желанный, я всегда не с пустыми руками!» Играет бравурный марш. Мушкетёры рубят саблями горлышки бутылок с шампанским, все кричат: «ура!», крик войск на параде и новогодний бой курантов дать в записи с Красной площади, Коркин даёт салют: стреляет в потолок из «макарова», как палили за Волгой на стрельбище...

— И я пальну в потолок! — Полонский выхватил бутафорский пистолет. — Обожаю палить под бой курантов: вы меня знаете! Как мы с соседом с балконов шарахали!..

— Знаем, любезный Иннокентий Маркович, но бутафория в нашем случае не годится, и по сюжету вы — отец, а тот, увы, не шарахал. Далее Хмырь на глазах у Саблина сваливает все деньги в сумку, протягивает сумку Саблину и говорит: «Бери свои деньги! Дай руку!»

— И мой названный сын протянет руку — и очнётся? — воскликнул Полонский. — И всё?!

— На это и весь расчёт, — сказал Ямщиков. — Пусть даже не сразу очнётся, а только шевельнёт пальцем. Шевельнёт — значит, мы на верном пути. Больной правша, левша? Ваш сын какой рукой протянутые ему вещи берёт? — обратился Ямщиков к матери.

— Ваня левша, но сумку может взять и правой... Не знаю я. Маша!

— Обеими мог бы взять, не знаю...

— Нужно давать в правую! — заявил Полонский, заткнув пистолет за пояс. Он шагнул вперёд и протянул к Ямщикову руку с открытой ладонью. — А левую, господа, оставить свободной — для обниманцев.

— Он Хмыря, что ли, будет вам обнимать? — возмутился Коркин.

— Я, между прочим, тоже коллективный врач, — обиделся Хмырь. — Я обеспечил самый важный приоритет в сюжете — я деньги принёс!

— Принёс он, козёл! — зашумели друзья-мушкетёры. — Ты, гад, Ваньку подставил!.. Сволочь!..

Поднялся галдёж. Мнения разделились: «Если левша, значит, брать левой!», «Но если для Ваньки очень важно предвкушение обниманцев, брать правой!»

— Наталья, скажи! — перекивая всех, взревел Портос.

Все мигом умолкли и обернулись к Паниной.

— Оценил, наконец, упущенную невесту, — усмехнулась Панина, с видимым удовольствием расправляя и сводя веера своего платья.

— Наташа, пожалуйста! — сказала Маша.

— У левши обниманцы-прижиманцы левой рукой получатся ловче и сильнее. Я разделяю мнение маэстро Полонского: сумку давать в правую руку.

— А то! — взвился Полонский. — По сценическому движению мне равных в театральной Самаре нет!

— Мороз, сумку — в правую, — сказал Ямщиков и жестом пресёк возможные возражения. — Теперь давайте решим: кого и в какой последовательности обнимать. Кто после получения денег становится у больного главным приоритетом...

— Уж теперь-то, надеюсь, родители, — встала со стула и выпрямилась мать.

— Или сестра, — сказала Маша.

— Думаю, не родные, — покачал головой Ямщиков. — Есть обоснованные предложения?

Все умолкли и опять обернулись к Паниной.

— Не родные, — сказала она. — Главными для Ивана опять становятся друзья.

— А разве не ты, — удивился Портос, — в смысле, невеста?

— Невеста уже оприходована, она в кармане, — с грустью улыбнулась Панина. — Став женой, невеста отходит на второй план.

— В один миг? — сложила руки на груди Маша. — Из невесты в жену — и в один миг?..

— Да, Машунечка: век русской невесты короток.

— Как в некрасовском стихе! — принял позу для извержения классического монолога Полонский, но с ходу не смог припомнить классика. — Как его...

— Наталья, — воскликнул Портос, — я просто кретин! Я раньше тебя недооценивал, ругал — прости! Весь сюжет похож на телерекламу — это по твоей части. Скажи, как сняла бы финальную сцену ты?

— Разрешите? — обратилась Панина к Ямщикову. Тот с готовностью кивнул. — Последние кадры сняла бы так... Хмырь... — простите, не знаю, как вас зовут, — Хмырь и друзья забрасывают пачки в сумку, Хмырь берёт её левой рукой, шагает к Ивану, протягивает ему сумку под правую руку, а в это время из-за плеч Хмыря уже возникают сияющие лица друзей. Друзья наплывают на камеру уже готовыми к привычным Ивану, ставшими уже, можно сказать, рефлексивными, пьяным обниманцам. Друзья-мушкетёры всегда так обнимаются и целуются в кабаках или у костра на берегу Волги. Вручив сумку, Хмырь сразу исчезает, испаряется, в кадре остаются лица друзей. Нужна, как я поняла, устоявшаяся в зрительной памяти Ивана картинка — вот и возьмите её в мобилах у мушкетёров. Найдёте там мегабайты таких счастливых обниманцев. Обнимаясь со мной, Иван, увы, не выглядел таким радостным и счастливым...

— Годится! — сказал Ямщиков.

— Замётано, — сказал Морозов. — Внимание, Полливуд! Второй павильон готов?.. Двойник Саблина готов?.. Белые кони?.. Приступайте к съёмке первого эпизода — парад на Красной площади. Выключаюсь...

— Записываю вас, Наталья, в нашу бригаду коллективного врача! — с пафосом объявил Полонский. Он с галантностью поцеловал отставленный мизинчик у девушки и попытался приобнять её за талию. — Беру вас в свой личный резерв!

— Чудесно! — не то серьёзно, не то с иронией ответила Панина, не без труда увёртываясь от лап артиста. — Наконец-то у меня появился веский аргумент не продавать любимое платье.

— Да, поработаете в моём Полливуде невестой! — воодушевился артист от собственных слов. — Невеста, между прочим, архетипический образ — вечный! Любой космонавт Никита Михалков знает: самые красивые девушки — в Самаре!

— Поработаю у вас невестой, а как выйду в тираж, накаю статью в глянец: «Образ востребованной обществом невесты». Оригинально. Матушка и супруг останутся предовольны...

— И ещё будете в Полливуде курировать телерекламу, — с широким жестом добавил Полонский. — Нам нужны шикарные специалистки с личным опытом. Звезда! Х-м, молоденькая совсем, а уже пять лимонов на рекламе... Упала звёздочка на мою ладонь! — Девушка от артиста попятилась. — Чур меня, не подумайте чего дурного! В Полливуде — слово Полонского! — будет самый высокий в России профессиональный стандарт! Ложиться под кого попало уж точно не обязательно, — доверительным тоном закончил он.

— А потом коллективный врач в облике господина Полонского, — съязвил Клямкин, — выдвинет архетипическую невесту на «заслуженную артистку» России. Цирк!

— Вы единственный среди присутствующих, — вскипел Полонский, — кто не годится в коллективные врачи! Братва! — вдруг обратился он к мушкетёрам. — Призываю: писаку — вон со сцены! — Полонский выхватил из-за пояса пистолет и направил его Клямкину прямо в лицо. — Ну всегда какой-нибудь скучнейший женатик норовит испортить репетицию весёлых холостяков. Застрелю!

Поднялся шум, все задвигались. Пистолет у артиста отобрали, вмешательство Ямщикова спасло Клямкина от возмездия со стороны мушкетёров: ему под нос только сунули сразу четыре больших кулака, а затем помятое тело виновника задвинули в угол: «Старпёр!», «Цирк ему!», «Твой бы сын там лежал!», «Подальше его от центра сцены!», «Чтобы этот гад не попал в кадр!», «Он не участвует в сюжете», «Нашёл цирк, продажная журналюга!»

— А планировку усадьбы хоть кто-нибудь хвалил? — спросил Ямщиков, когда возбуждённая команда вернулась в освещённый центр студии.

Все переглядывались и молчали. Бутусов и Коркин, не без короткой возни, пистолет разрядили и вернули Полонскому.

— Нужно похвалить обязательно, — продолжил Ямщиков. — Тогда, Мария, задание вам: радостно крикните: «Планировка — чудо!» — и поднесёте план коттеджа к камере, крупный план. — «И я, наконец, оценила! Чур, я буду вот в этой комнате жить!»

— Это нечестно, — потупилась Маша. — Я брату не вру никогда. Не нравится мне планировка...

— Вы при брате планировку ругали?

— Нет, что я, по-вашему, дурочка? Брат старался, а я — нос воротить?

— Значит, ваш брат, вероятно, мог ожидать от вас хвалебных слов.

— Скажет она хвалебные слова, — Саблина привлекла Машу к себе и поцеловала. — Похвалит она планировку, не грех.

— Теперь невеста... — Ямщиков обернулся к Паниной. — Наталья будет в подвенечном платье, с букетом невесты в руках... Платье невесты больной видел? Оно узнаваемо?

— Видел дважды, — сказала Панина. — Я наряжалась перед Иваном — под видом платья своей подруги, без фаты. Он меня видел, и без обычного, как мне показалось, прикола восхищался: «Какая ты у меня красивая невеста!» Платье я сшила загодя, по итальянской модели из коллекции телестудии, только вышла в нём за другого...

— Платье и букет невесты на сцену! — вскрикнул Полонский. — Обожаю на сцене играть с невестами!

— Ты же вышла замуж — и не продала? — обратился к девушке Портос.

— Платье — любимое, родное, можно сказать: родное не продаётся.

— Платье как родина, — промычал из угла Клямкин. — Приоритеты у них...

— За платьем сейчас можете мужа послать? — спросил Ямщиков.

— Он одну меня здесь не оставит.

— Не оставит?! — приблизился к девушке Коркин. — Тогда я сейчас вызову наряд и задержу твоего благоверного на предмет выяснения действительности лицензии на «беретту».

— Угрозы? — напряжённо улыбнулась Панина и приосанилась навстречу вызову. — Моя добрая воля оставаться здесь может быстро закончиться.

— Зато всегда остаётся любопытство, — твёрдо сказал Ямщиков. — А майор Коркин, как мы все понимаем, сильно погорячился. Майор!

— Да, да, прости, Наталья... Я могу съездить за платьем, не в лом. Прости! Сам бы, кажется, лёг вместо Ваньки...

— Уважаю неупрямых мужчин. — Панина взялась за сотовый. — В одном платье второй раз замуж — действительно любопытно... Сейчас распоряжусь: платье служанка отдаст вашему человеку, — взглянула она на Ямщикова. — И не забыть ему по дороге прихватить букет невесты...

— О-у! Как моя Наталья легко входит в роль! — выступил Полонский. — Будущее Полливуда обеспечено! Россия, вперёд! Никогда не репетировал в такой приятной компании! Шикарный сюжет! Шампанское в студию — для вдохновения!

— И этому для вдохновения... — тихо сказала Саблина и прижала к себе дочь.

— Всё же в сюжете ерунда какая-то! — воскликнул Портос. — Мы, друзья не-разлей-вода, Машка-сестра, ну — с натяжкой — Наталья, раскаявшаяся невеста...

— И на том, кавалер, спасибо, — усмехнулась Панина.

— ...Мы близкие люди, а этот Хмырь — первый раз видим! — сыграет главную роль?!

— Кто здесь главную?! — взвился Полонский, опять выхватывая бутафорский свой пистолет. — Я сейчас покажу главную Хмырю из ночи!

— Да, какое отношение он, случайный человек, имеет к сюжету о жизненных приоритетах Ваньки?! — возвысил голос Портос. — Ну пачка денег, ну и что? А мы с детства с ним в одной песочнице, гвардейцев кардинала с соседнего двора гоняли...

— Мы сами можем отдать Ваньке пачку бутафорских денег, — сказал Коркин, двигая плечами как грузчик, — да хоть вагон денег разгрузим к его ногам. Сам, командир, подумай: в руку Ваньке сунут ручку сумки с деньгами: «На, бери!» Ванька, почувствовав в руке сумку, очнётся...

— А как очнётся, — перебил Портос, — перед глазами Хмырь, и Ванька сразу поймёт — обман! Только хуже сделаем!

— Очнётся в сумеречном состоянии, — возразил Ямщиков.

— И не сразу поймёт обман. Сначала может подумать: это сон, а кругом родные, друзья, вернувшаяся невеста...

— И я — отец! — притиснулся Полонский. — Только грим поправить. Отца заснять с трёх камер: я поднимаю сына со смертного одра, и чтобы мне кругом искреннее ликование близких, чтобы мне кругом счастливый народ: мне ещё «народного» получать! Зачин и финал в сюжете — «сильные позиции», я сказал!

— Помилуйте, господа мои коллективные врачи, и такой примитив сработает?! — затряс толстыми щеками Клямкин, выползая в центр студии. — Сюжет — с пещерными чувствами, с показом дикарских отношений. В двадцать первом-то веке!

— Очень правильный сюжет, — с неожиданной упрямостью в голосе сказала Панина. — Тютелька в тютельку отражает реальную, скрываемую ото всех, личную жизнь. Я, если хотите, поражена, что, оказывается, можно так быстро разобраться в приоритетах, в сути внутреннего мира человека. В сюжете всё точь-в-точь, как я представляла себе личность Ивана. Даже, признаюсь, только сейчас для меня она приобрела законченный образ. Мозговой штурм колврача сработал. Такой сюжет я одобряю и готова в нём участвовать до конца.

— Ну вы, несостоявшаяся невеста, ещё не последняя инстанция... — хотел было возразить девушке Клямкин, но, увидев молчаливо-одобрительную реакцию окружающих, и в особенности невольные кивки согласия хмурой Маши с распухшим от слёз лицом, не закончил мысль.

— Инстинкты, рефлексy важнее воспитания и всего социального, — сказал Ямщиков журналисту. — Особенно у больных. Тяжелобольной организм заострён на простом выживании, а не на позиционировании себя в обществе. Инстинктивные биологические приоритеты человеку важнее социальных. Происхождение важнее воспитания, в смысле — наследственность важнее воспитания.

— И как прикажете ваш тезис подавать в СМИ? — упёр руки в боки Клямкин, приготовившись заранее «не понимать» ответ.

— Дайте для пипла доходчивый запоминающийся пример.

— К кому, по-вашему, Мэрилин Монро ближе в смысле наследственности? — обратился Ямщиков к журналисту: — К самке шимпанзе или к Кеннеди и Артуру Миллеру?

— По форме вопроса понимаю: Монро к самке шимпанзе ближе, чем к своим любовникам и мужьям. Но в это как-то не верится: женщина, женский символ Америки, ближе к обезьяне, чем к мужчине? Чепуха, лженаука! Если это вдруг так, то это... это... это же чудовищно!

— Геном человека и шимпанзе изучен, геном — это молекулы, биохимия. А химия — самая реальная из наук, ошибки быть не может. По своему геному женщина ближе к самке шимпанзе, чем к мужчине.

— Само собой! — влез Полонский. — А мужчина по геному ближе к самцу шимпанзе, чем к женщине. Я помню это ещё со школы: Линней, в смысле Дарвин!

— Кошмар! — искренне ужаснулся Клямкин. — Моя жена, значит!..

Все зашумели, напряжение спадало. Мушкетёры стали рассматривать и трогать друг друга — и сразу обнаружили очевидные обезьяньи приметы. Панина взглянула на свои ногти и с сомнением покачала головой. Она вынула из сумочки зеркальце, посмотрелась в него и, как бы отдуваясь от услышанного, вытянула трубочкой губы и подняла брови:

— М-дя, хорошо, муж не догадывается...

Ямщиков сделал успокаивающий жест и продолжил:

— Всё социальное в человеке — воспитание, образование, интеллектуальное развитие, бытовые навыки — почти не отразились на его биологии, то есть социальное — через разум — руководит работой ничтожной доли генома.

— Представляю реакцию на ваш, доктор, доходчивый пример... — всё никак не мог прийти в себя журналист. — Нет, лучше об этом молчать: впечатлительному нашему пиплу сегодня не до охоты на обезьян...

Тут полковник Бутусов, пряча сотовый в карман, подошёл к Ямщикову и шепнул ему на ухо:

— Мои люди нашли девчонку, с которой больной провёл последний вечер...

Глава 14

«Мы с тобой одной крови»

— В день падения наш больной интимных контактов не имел, хотя выпивал — есть алкоголь в крови, ещё табак на коже и в волосах, на одежде, — докладывал полковник Ямщикову, когда они садились в машину. — Я отправил фотки больного своим друзьям из безопасности, те шерстили записи телекамер у значных заведений в тот вечер и нашли таксиста: он вечером отвозил Саблина с какой-то тёлкой от кабака до подъезда. Тёлка была в странном прикиде, взъерошенная и с поцарапанной мордой, одета как жокей на выезде лошадей. Из такси вышли оба.

— Но в квартиру больного она не вошла...

— Расстались в подъезде. У нас появилась или подозреваемая, или свидетельница, — гордясь своей работой, сказал полковник и тронул машину. — Ты вздремни, до её квартиры ехать минут тридцать, если без пробок. На последней одежде Саблина я нашёл женский волос — рыжий, толстый, крашеный в зелёный цвет, и след губной помады чёрного цвета. Ещё нашёл золотистые блёстки, которыми бабы лицо обсыпают. Мой знакомый спец установил: это из коллекции декоративной косметики лесбиянок — для них теперь выпускают специальные палетки глиттеров. Точно такие же блёстки с помощью пылесоса нашли в машине того таксиста и на лестнице в подъезде. Считаю доказанным: тёлка поднималась с больным на его этаж, но в квартиру почему-то не вошла.

— И помада чёрного цвета... — отозвался Ямщиков, устраиваясь и зевая. — Думаешь, лесбиянка?

— Очень вероятно. Причём начинающая.

— Которая то с девкой, то — по старой привычке — с парнем?

— Так точно! А больной у нас — натурал. Значит...

— Познакомился только что.

— Так точно! Он, возможно, даже не успел расчухать, на кого напоролся.

— А как расчухал — уже в подъезде — так сиганул по пьяни в пролёт.

— Сам сиганул — это если только слабак...

— Или если наложилось, а недоделанная лесбиянка стала последней каплей. И дубы ломает.

— Как вариант.

— Или она его сбросила: у начинающих лесбиянок крыши едут.

— Чтобы ссыкуха-то сбросила? Маленькая, с обсыпанной блёстками мордой, с чёрной ваксой на губах — сбросила крепкого парня, с которым только что познакомилась? Не вижу физической возможности и мотива. Нет, брат, криминал в этом деле маловероятен — нутром чую. У больного была предрасположенность к самоубийству — друзья-мушкетёры и Панина на то указали чётко. Скорее, как ты говоришь, наложилось — вот он и решил для себя вопрос кардинально.

Ямщиков проглотил медиаторы, запил и устал в ветровое стекло. Он машинально высматривал дорожные ямы и о чём-то думал. Опять мимо мокрого леса ехали в город по Волжскому шоссе. Ночной шквалистый дождь сменился теперь плотной водной взвесью, не то сдутой с низких туч и обступивших ленту шоссе грязно-чёрных деревьев, не то поднятой ветром от рябых свинцовых луж и сырой земли. Небо, всё в серых клочках, летело со стороны Волги поперёк движения машин. Кое-где между несущимися над верхушками деревьев языками туч обозначалось присутствие солнца. Ветер дул, но уже без сильных порывов. Упавшие за ночь рекламные щиты ещё не подняли. В разгар дня основной поток машин нёсся, чуть-чуть превышая положенную скорость. Нередкие во все времена самарские лихачи и блатные мчались невзирая на ограничения и разверзшиеся в марте колдобины. В правом ряду ползли старики, «деревенщина» и дамочки из числа начинающих. Их машины обдавали водой все идущие на обгон. Полковник вёл

машину с превышением скорости: «Дежурит знакомая рота. Наряды мою машину знают...»

Ямщиков задремал...

Когда машина остановилась перед входом в здание, он очнулся. Бутусов доложил: сотовый той девицы заблокирован, а сведений о месте работы и регистрации пока не нашли. Зато выяснили, где трудится её муж, некто Василий Моторин, и это офис телефонной компании, где он работает руководителем среднего звена.

— Ещё заехал, как ты просил, «за коробочкой». — Бутусов положил на протянутую ладонь Ямщикова квадратную коробочку, обтянутую тёмно-синим бархатом. — Ты что ж, заказал кольцо по интернету?

— Для Марьи...

— Прогресс: теперь ты уже и имя своей невесты знаешь. А размер?

— Размер проверил с натуры.

Ямщиков поднял свой мизинец.

— Тогда молчу. Хотя... Рисковый ты, как наш больной и тот его друг, майор Коркин. Берёшь Марью, мне кажется, больше из сочувствия. Я по своим парням из горячих точек знаю: такие, как у неё, черепно-мозговые травмы потом могут аукнуться...

— Ты меня поучи насчёт рецидивов сотрясения мозга! — мгновенно раздражился Ямщиков. — Авторитет по браку выискался — с тремя-то разводами!

— Прости, друг. Я — другое дело: я из категории русских бед — «дураки и дороги».

— Пропишу и обеспечу Марье режим когнитивного отдыха — и справимся: «Нас не догонят!» На свадьбу — как штык!

— Как штык! Подарок уже в загашнике. А слаб человек...

— В смысле?

— Я, кажется, уже позавидовал на твою жену-декабристку...

Полковничье удостоверение сподобило охранника срочно вызвать Моторина. В фойе вышел прилично одетый молодой человек крайне исхудавшего вида с тёмными кругами под глазами, один глаз дёргался. На лице его отражались тревога и удивление, больше тревога. Бутусов ввёл мужа виновницы встречи в курс дела: она единственная подозреваемая, её нового знакомого сразу после их свидания нашли упавшим в лестничный пролёт, он уже неделю находится в реанимации в состоянии комы, хотя факт преступления пока не установлен. Мотив

ревности следствие не исключает, поэтому ты, Моторин, в числе подозреваемых. Сейчас нам нужно знать местонахождение твоей жены. Если вздумаешь валять дурака, немедля вызываю оперативную группу или...

— Сам тебя сейчас задержу — хотя бы для того, чтобы спасти от мести друзей потерпевшего, — добавил полковник и показал на экране своего сотового эпизод, когда мушкетёры и Коркин мяли Клямкина. — Это в студии, полтора часа тому назад, а в подворотне дождливым вечерком эти парни могут расправиться очень жёстко...

— Какая там ревность! — отшатнулся Моторин, дёрнул головой и нервно хрюкнул. — Да она давно мне никто! Когда только оставит меня. Прицепилась! Решено: свалю в Симферополь... Что знаю, всё расскажу. Можете в офис подняться, в отдел — и расспросить.

— Для начала нас интересует личность вашей жены, — сказал Ямщиков.

— Личность — ненормальная! Довела! Я до сих пор по ночам не сплю, чуть с работы не выгнали.

— Меня раз десять «чуть с работы не выгнали», — протокольным тоном сказал полковник. — Со мной, борцом с ОПГ, три жены развелись. Почему ты один раз не развёлся?

— Я развод ей давал, двух лет не прожили. Теперь купил развод за приличные деньги, в долги влез. Но здоровье дороже: похудел на десять кило, видеть баб не могу...

— Причина развода.

— Артистка она, понимаете ли! Ездил поступать во ВГИК, вернулась с побитой мордой. На экзамене крашеную собаку пыталась выдать за соболиный мех, а себя — за Марлен Дитрих. Не доверяю я ей. Взбалмошная, а ревность и месть если были, то с её стороны.

— Примеры.

— Примеры?.. Проснулась в постели со мной — и обиженно смотрит на меня, брезгливо, отстраняется, как от жабы какой. Ей, понимаете ли, приснилось, что я изменил с её подругой. Или раз — через охрану! — прорвалась сюда, в мой офис. Влетает, а я в тот момент тёр в асе со знакомым перцем — чисто производственный трёп. Спрашивает на публику — с язвой такой: «С кем, мой суженый, болтаешь?» Я: «По работе, пожалуйста, не мешай». Она втыкается в монитор, и — как

назо! — тут мне одна деваха, знакомая ещё с института, кидает письмо: «Васисуалий, когда ты меня наконец кликнешь?»

— Теперь это так называется? — больше самому себе сказал Бутусов.

— Деваха просила всех знакомых кликать на её баннер — для раскрутки нового сайта. И вот это окно вылетает посерединке экрана, на баннере заголовок с именем девушки и мордашкой. Ну смазливая она от природы, на вид шлюховатая даже, плюс макияж. Моя кобра мгновенно взрывается, шипит: «Ты на работе своих тёлок кликаешь!», смахивает монитор на пол, пинком валит блок, выдёргивает провода, грохает стеклянной дверью и уходит с криком и гордо поднятой головой. Я потом еле-еле начальство успокоил, а дома весь вечер её убеждал: что действительно базарил с кренделем, а окно выскочило — разовое: кликнул баннер — забыл. Приказал охране больше её на работу не пускать. Стала караулить меня на выходе с работы: позорить перед коллективом. Она вся буквально тряслась, когда видела, что я общаюсь с молодой женщиной. А в нашей компании восемьдесят процентов — молодые женщины, характер работы такой. Или однажды побывала у нас на корпоративе. Потом требовала, чтобы я уволился: нарочно, мол, в клумбу залез, чтобы цветочки срывать.

— Ты не уволился — и тогда?..

— Накупила тряпок, покрасила волосы — была рыжей, стала фиолетовой, сделала новую причёску и принялась напропалую кадриться с моими приятелями, с незнакомыми мужиками, чтобы, наверное, отомстить, вызвать ревность. Может быть, и спала с ними, не знаю, не следил — нет на глупости времени. В квартире баракло не от меня стало появляться, спрашиваю: «Откуда?» — «Подарок» или «Отец купил». Но я знаю: не любят её родители, выставили из дома, из Обшаровки, ещё после седьмого класса, к бабушке в Самару сбагрили, — и она своих родителей знать не желает. Она никому такая артистка не нужна! Только я нашёлся дурак... Ну и решил разводиться. Почти развёлся — дело в суде. Это не жизнь: ни работы, ни отдыха. Хорошо, детей нет: сначала она не хотела, не терпит детей, а уж потом я не захотел рисковать...

— Не ревновать можно только того, кто вам безразличен, — сказал Ямщиков. — Так что или терпеть ревность, или терпеть одиночество. Только, думаю, не в ревности дело.

— Да шлюха! — с презрительной гримасой уверенно сказал Бутусов. — Обычная тактика замужней шлюхи: прикидывается ревнивой и обвиняет мужа, чтобы отвести его подозрения и свои похождения оправдать. У неработающей молодой бабы новые вещи если не от родителей и не от мужа, значит, подарки за известные услуги. Ещё пример, — продолжил допрос полковник. — Через примеры срисуем характер.

— Я понимаю: вам нужно оценить предрасположенность к совершению уголовного преступления. Тогда зацените нашу последнюю ситуёвину: есть у меня фиолетово крашенная жена и есть очаровательная в своём белокурии секретарша у моего шефа. Девушка из сериалов: всё при ней. Со мной — никаких отношений, кроме служебных: «Привет!», «Шеф на месте?», «американская улыбка» — и всё. Но жене вдруг почудилось, что та на меня «глаз положила».

— Была бы умной или любящей женой, — обратился полковник к Ямщикову, — взяла б да осмеяла эти попытки: «Милый, ты заметил, тот белокурый оленёночек из приёмной шефа глаз на тебя положил».

— Или насмешила бы вас на эту тему, — добавил Ямщиков. — Со смешными женщинами не флиртуют.

— Или, — воодушевился на тему Бутусов: — «Дорогой, я так люблю тебя, что иной раз ревную. Даже к той секретарше — смешно, не правда ли? Я понимаю, к ней-то ревновать совсем глупо: кто она — и кто ты». Делаю рабочий вывод: баба дура и шлюха, косит под кого-то, играет чужую роль. А что переполнило чашу?

— Вступила в клуб верных жён — нашла где-то в интернете. Даже в Писании выискала и заучила: «Похоть, зачавши, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». На короткое время стала вдруг ласковой: «Кис, как я тебя люблю», тряпки новые, улыбки премиленькие. Просто ангелочек с крыльями с дореволюционной открытки. Оказалось, в клубе верных жён подучили, «как спасти мужа от разлучницы». Я удивлялся сначала: «Это ты к своему дню рождения почву готовишь? На норковую шубу рассчитываешь?» Обиделась. «Ты не Ремарк!» — кричит мне прямо в лицо. Зачем выходила замуж не за Ремарка? Услышал случайно, как по телефону с кем-то из клуба верных жён говорила: «Но я ему развода не дам... Ну тогда пусть откупается половиной имущества...»

— Возможно, переживала, — сказал Ямщиков. — Ревность может питаться одним воображением об измене. Отстроенный свой мир, может быть, так спасала.

— Да не верю я в её ревность! Больше хотела поставить меня в невыгодное положение оправдывающегося. Я ей не изменял, хотя возможности были и есть. Любой самый верный мужик обязательно заценит девушку в макияжах, эстетики ради, хотя бы взглядом проводит, но разве это повод для ссоры? Я не требовал от неё никакого растворения в муже типа чеховской Душечки, нет — у нас, я надеялся, будет союз равных. Ну пусть перерос бы он позже в спокойную, как паровое отопление, любовь-дружбу...

— Ещё пример.

— Ещё одно время намеревалась меня истощить как мужчину: «Чтобы на других женщин ничего не осталось». Всякие излишества предлагала: меняться ролями, намекала — конкретно! — на секс втроем, на какую-то групповуху на базе отдыха в их клубе верных жён — неудобно даже говорить.

— От безделья, — сказал Бутусов. — Пока ты день-ночь пашешь, насмотрелась порнухи — и потянуло на приключения. А клуб замужних б... явно сводничал: вербовал похотливых дур для уважаемых клиентов, которые не хотят опускаться до проституток. Замужние б... — это же совсем другой эмоциональный уровень, гарантия здоровья, престиж — зацени! Есть кем в сауне похвалиться перед друганами. Значит, склонность к ненормальностям проявилась ещё при семейной жизни...

— Если задатки есть, то должны были проявиться раньше, — вставил Ямщиков, — в старших классах школы.

— О её прошлом знает разве только подруга. А сегодня она что — пустилась во все тяжкие? — Моторин снова непроизвольно дёрнул головой и хрюкнул. — Раза три являлась домой побитой, в порванной одежде.

— Куда пустилась и во что вляпалась, узнаем через часик-другой, — сказал Бутусов. — Где она сейчас живёт, где работает, шарится?

— Под обещание развода я отдал ей половину стоимости квартиры, у меня расписка есть. С такими деньгами вряд ли она работает. От ревности отличное лекарство — занятость делами, но Марлен, она ни дня не работала, пинками на работу не выгонишь.

— Марлен? — ещё больше посуровел Бутусов. — Это кличка?

— Простите, она воображала себя Марлен Дитрих. Требовала, чтобы все обращались к ней Марлен, в интимные моменты — Мутти. Даже курила на манер Дитрих и пробовала петь «под Марлен». Всё как кошмарный сон... Заучила наизусть сотни максим из мемуаров Дитрих и кроет ими по любому поводу. Я — ей: «Тебя не волнует, что я опять отравился твоим ужином?», она: «Истинная женщина не волнуется — волнуется». Считала себя даже не принцессой, а королевой. А то начала ходить в какую-то студию: брать уроки по сценическому движению. Потом к нам домой из этой студии стали ходить парни из Академии культуры: сначала один, потом другой, третий, заявлялись даже целой толпой. Какие она с ними движения изучали, пока я на работе был, — вопрос.

— Скрытую камеру бы установил и узнал — делов-то, — фыркнул Бутусов.

— Не догадался. В конце концов эти парни где-то за Волгой избили её, несильно, правда, — насолела чем-то, наверное, — и пропали.

— Это как нужно было насолить, чтобы студенты-актёры из Академии культуры избили замужнюю женщину, бесплатную свою давалку!

— Наверное, так и есть — давалку... Однажды явилась ко мне в офис в гриме под старуху. Оказывается, «отрабатывала сценические движения Бабы Яги» — задание такое получила от своих наставников. Я уверен, они прикалывались, а эта — повелась: волочила ноги, позвоночник дугой, в старушечьем побитом молью платочке, с клюшкой в руке, горошина-бородавка на нос прилеплена, глаза слезятся, одышка... В другой раз припёрлась в красноармейской форме, в будёновке, топала в сапожищах, хоть бы размер её подобрали, доложила: «Мальчиш-Кибальчиш явился в отпуск после кровавого ночного боя!» Потом весь офис насмеялся: «От Моторина по ночам жена сбегает на «кровавые бои» — теперь это так называется...» Да ну! Квартиру захлмила: присесть негде, дышать нечем. «Ах, дышать нечем? — говорит. — А ты дом на просеках купи». Красных платьев нашла себе штук пять: как же, ведь незнакомые мужчины всегда интересуются: «А кто эта девушка в красном платье?» Целую коллекцию старых пластинок с песнями Дитрих завела — мне в сумасшедшие деньги влетело.

Готовит плохо: что от её рук ни съешь — тошнит. Жарит на бараньем сале, как в деревне с детства привыкла, — вонища в квартире! Поджарит яичницу — мне плохо, в унитаз кишки вырывает, желудок не удерживает столько жира. Сама этого не ест, а надо мной будто эксперименты ставит. Зато развесила по всей квартире фотографии: она, вся из себя вдохновлённая, у плиты, с винтажной сковородой, с чугуном, в расшитом кренделями переднике — «хозяйюшка»! Я даже согласен был: иди ко мне в офис работать, иди, — следила бы за мной вблизи и успокоилась. Она — ни в какую: «Я с «инязом» — и в простые операторы связи?» Живёт, наверное, у своей бабушки, а шарится... Один мой друг видел её на днях у кабака. Перекрасила волосы из фиолетового в зелёный цвет, губы чёрные, прикид мужской — страшное дело, он её еле узнал. Достала! Наша фирма открывает новый офис в Симферополе — убегу на время туда...

Бутусов выспросил у Моторина, где тот находился в момент совершения возможного преступления, записал адреса, телефоны, вероятные места встречи с бывшей женой.

Выйдя из вестибюля, полковник позвонил бабушке Марлен и смог старушку разговорить. Та рассказала: дня три тому назад внучка вызвала такси и уехала в косметический салон, после которого собиралась, как она сказала, «на свидание». С тех пор не возвращалась, не звонила. Она и раньше по несколько дней пропадала. Подруга есть: Лора, мастер-косметолог, внучка как раз с ней по телефону договорилась. Эта Лора — такая оторва! Конечно, не замужем — кто возьмёт! Всё делает из внучки ряженую куклу, подбивает на сомнительные приключения...

Напав на свежий след, Бутусов преобразился: задышал шумно, заблестели глаза ищeyки. «Погнали в салон!»

Пока ехали, припоминали — кто что знал — о Марлен Дитрих. Что может стоять за маниакальным подражанием заурядной сельской девицы из Обшаровки знаменитости Марлен Дитрих? Ямщиков открыл ноутбук, вошёл в интернет, набрал «характер Марлен Дитрих» и стал читать вслух, перекидываясь репликами с полковником. Кинозвезда середины прошлого века была замужем за кинопродюсером Рудольфом Зибером и никогда не разводилась с ним. Факт замужества помогал женщине-вамп тихо-мирно завершать романы: «Я не могу сделать больно Руди...» Дитрих имела просто скандальные толпы любовников и любовниц. Самым известным её

любовником был писатель Эрих Мария Ремарк. «Мария» в имени мужика? Странно... Он сам выдумал себе женское имя, ведь по метрике писателя звать Эрих Пауль Ремарк. Дитрих тоже себе выдумала новое имя, от рождения она звалась Мария Магдалина фон Лош. В первом же разговоре с кинозвездой Ремарк ляпнул: «Должен сказать вам, я — импотент». «Прекрасно, — ответила Дитрих. — Мы сможем просто лежать и разговаривать». Дитрих напропалую изменяла Ремарку с мужчинами и женщинами. При этом она обожала таскать его в те места, где обретались её новые возлюбленные, чтобы на фоне известного в Европе Ремарка привлечь внимание последних к своей персоне. Самовлюблённая шлюха! Суффражистка, пренебрегающая собственной дочерью, за что последняя потом отомстит матери: напишет о ней весьма нелицеприятные вещи, развенчивающие безупречный образ в массовой памяти. Сама Дитрих ревновала Ремарка к бывшей жене и его любовницам, которых писатель заводил назло Дитрих. Это была ревность не любящей женщины, а ревность самолюбивой собственницы, ревность «второго сорта». В конце концов, Марлен Дитрих стала для Ремарка гремучей смесью ангела с дьяволом. В «Триумфальной арке» с неё списана Жоан Маду — законченная стерва, в которой переплелись в один клубок любовь, предательство, равнодушие и ненависть. Как и с другими мужчинами, Дитрих не хотела иметь с Ремарком никаких серьёзных отношений, но стремилась цепко держать любовника в своих руках. В конце концов, он сбежал — от неё и от своих опасных чувств — в Нью-Йорк. И бедняга Моторин от своей Марлен сбегает в Симферополь. Сходство есть. Но у «нашей Марлен» нет опоры — ни материальной, ни верного друга, ни у самой — таланта актрисы...

Косметолог Лора на «оторву» никак не тянула. Живая, улыбчивая, с приподнятыми как бы в лёгком удивлении бровями, она в кабинете отточенными движениями прибирала рабочее место после очередной клиентки. Вошедших мужчин встретила спокойно, лишь расширив глаза и ещё чуть-чуть приподняв брови:

— Вы из полиции? Ищете Марлен?

Бутусов и Ямщиков представились.

— Дела дрянь, если девушку ищут известный в городе врач-реаниматор и полковник полиции в отставке...

Они вышли из кабинета в пустой уютный общий зал с окнами на улицу и расселись в клиентских креслах перед зеркалами. Бутусов ввёл Лору в курс дела и сразу накатило: если подруга не хочет стать фигуранткой уголовного дела, что будет означать конец её косметологического бизнеса, она должна...

— Должна так должна. У самой наболело.

Лора подтвердила: Марлен покрасила волосы в зелёный цвет, стала красить губы чёрной помадой, обсыпаться блёстками.

— Теперь она если и Марлен Дитрих, то из ночного кошмара Ремарка, — заключил полковник. — Расскажи о последней встрече с Марлен.

С неделю тому назад Лора в общем зале обслуживала одну даму, самую крутую свою клиентку, когда Марлен приехала к ней немного раньше назначенного времени. Марлен ждала подругу, а клиентка через зеркало смотрела на зелёноволосую Марлен и шепотком спросила о ней. Ну Лора и рассказала: называет себя Марлен Дитрих, фактически развелась, живёт с бабушкой, родители — в деревне и в город глаз не кажут, находится в поиске... не пойми кого. Не работает...

— Ну одним местом все девушки работают...

— Она в мужчинах, похоже, разочаровалась. Даже мне делала намёки по части интима. Не хочет нового мужика: то ли боится новой измены, то ли свою психику так бережёт, то ли сменила ориентацию — пока не знаю, я не всегда её понимаю. Она сама себя вряд ли понимает. А что вас заинтересовало?

— Работу, может быть, ей предложу. Мордашка интересная... кого-то напоминает. Кисти, щиколотки... Передок слабый, задок плоский, талии нет... — тип мелкого пацана, но к такой куколке есть интерес...

— Она «иняз» закончила: романо-германскую группу.

— Тем более: с иностранцами на туристических кораблях — в эскорте.

— Я же говорю: разонравились ей мужики.

— Юношоподобные девушки нравятся не обязательно мужикам.

— Ей работа не нужна: она в счёт развода цену хорошей полквартиры взяла. Раньше ко мне в салон редко ходила, а теперь — не реже вас: денежки завелись...

— Зачем же ты постороннему человеку рассказала о деньгах подруги? — перебил очень строго Бутусов. — Теперь

по уголовному делу пойдёшь не свидетелем, а подозреваемой — наводчицей.

— Я — наводчицей?! — Лора от страха схватилась за живот. От приветливого спокойствия на её лице не осталось и следа. — По уголовному делу?! С Марлен что-то случилось? Я не... Да я со всеми так болтаю! Профессиональная этика позволяет, даже требует: все мастера треплются с клиентами, салон — это дамский клуб, руки и язык — это наши доходы... Проболталась о деньгах — ну бывает! — не нарочно же! Я даже не знаю, чем та клиентка занимается.

— Ты у меня под наивную не коси! — заорал полковник. Он вскочил и, нарочито громко топя и шевеля плечами, надвинулся на Лору и склонился над ней. — Если вербует для работы в эскорте, значит, «мамка», «хозяйка» или «госпожа». «Задок», «передок», «куколка» — домохозяйка такими словами разве оценивает незнакомую девушку? Выкладывай или вызываю наряд; задержим как вероятную соучастницу похищения или разбоя!

— Я — разбоя?! — Лора опять схватилась за живот, нагнула голову и вжалась в кресло. — Марлен... она в салон приехала марафетиться — для кабака. Я согласилась сходить в ресторан с Марлен за её счёт — скорее для подстраховки, но сидеть не до ночи. А за несколько дней до этого она пришла с поцарапанным лицом, с вырванным клоком волос — видно, сошлась с девушкой и что-то не поделили...

— Знаю, что не парни царапают. Дальше! Я записываю допрос! Чтобы не врать у меня!

— Я её как могла залатала. Я ей и психотерапевт, и хирург... Марлен плакалась: нет жизни — ни с мужчинами, ни с женщинами ничего у неё не выходит, «проживу старой девой». Ага, старой девой: даёт с пятнадцати лет, между ног — проходной двор. Полшколы там побывало: давала и всем пацанам «по первому требованию», и физруку, и кавказцам, всегда и везде, чтобы только не ушли от неё к другой давалке. Собственница она: нужны любые знаки внимания от мужчин. Ради символической популярности готова на всё. Однажды подговаривала меня ночью пойти к проходной в воинскую часть...

— Зачем? — спросил Ямщиков.

Ответил Бутусов, возвращаясь в своё кресло:

— У воинских частей иногда складываются своеобразные сообщества тёлоч-нимфоманок или случайных искательниц

приключений. Дежурный на КПП пропускает «желающих» в служебное помещение. Между ними даже вспыхивают заочные соревнования: какая за ночь больше солдат обслужит.

— Марлен, наверное, была в победительницах, — продолжала Лора, немного оправившись от испуга. — Гордой ходила, к нам, нормальным девчонкам, выказывала пренебрежение. Она упорная: если что втемяшится...

— Зарабатывала «одним местом»? — спросил Бутусов.

— В школьные годы — вряд ли. Она в восьмой класс к нам пришла, а я училась уже в выпускном — в то время мы подружками не были. Знаю только: подарки принимала охотно, билеты брала на концерты и в театр, халявные застолья не пропускала, обносками не брезговала, приворовывала по мелочам, «крутилась», бегала за богатыми пацанами, но без особых успехов. Ни красоты у неё, ни тряпок, ни талантов — только «одним местом» восполняла недостаток внимания. Летом компании местных парней возили её на теплоходе, жадные кавказцы — на лодках за Волгу. Её, рассказывали, ещё в школе профессиональный сутенёр пытался прибрать — к делу приставить, но компания дармоедов отстояла.

— А муж про «ошибки молодости» знал?

— Откуда! Они познакомились уже после окончания универа. Студенткой она дважды лечилась от какой-то заразы, та долго не проходила. Марлен тогда испугалась сильно: уколов она боится, от вида иглы в обморок падает. Я раз маникюрными ножницами уколола в палец — ну бывает! — так она прохныкала весь сеанс, как ребёнок капризный. Но, говорю, если в чём-то упрётся — не сдвинешь, хоть убей.

— А сама убить может? — Бутусов взял со столика маникюрные ножницы, ввёл два пальца в ушки и сделал устрашающее движение остриём себе в шею. — Схватить ножичек — и воткнуть.

— Вот уж нет: стала бы я с ней водиться...

— Дура?

— При мне — нет: хладнокровная, расчётливая, совсем не дура.

— И не психопатка?

— Если куражится, то не верьте — это напояк: артистка всё-таки, они все со странностями. Марионетка она.

— И мании есть? — спросил Ямщиков.

— Полно! Есть мания скорой смерти — думает о похоронах, даже как-то разыгрывала свои похороны, меня заставляла участвовать. Да, очень любила расписывать собственные похороны. Как побьют — случайные мужики её, бывало, били, — так сразу о похоронах. Заказчиком и распорядителем похорон должен был выступать муж, Моторин. А вот реальных знакомых людей для специального траурного церемониала всегда не хватало.

— И в чём заключалась его специальность? — заинтересовался Ямщиков и обратился к Бутусову. — Улавливаешь сходство с нашим больным? Оба молодые совсем...

— А то! — воскликнул Бутусов. — Довели либералы: молодые думают о собственной смерти и похоронах. Ещё!

— Есть у неё пристрастие носить чужие имена, чужие платья, косить под чужой стиль, присваивать чужой стиль себе.

— Стиль Марлен Дитрих?

— Это в последние годы — Дитрих. А в школе позиционировала себя Лолитой: требовала, чтобы пацаны её так звали: «наша Лолита», «моя Лолита»... А на Дитрих переключилась уже в универе, случайно: на первом курсе сломала щиколотку левой ноги, лежала в больнице одна, никто не навещал, передач не носил, набрала в интернете «сломанная левая нога», выпала Марлен Дитрих — и понеслось.

— Удачно копировала Дитрих? — оставив протокольный тон, спросил Бутусов.

— Куда там! Мне кажется, Марлен женские персонажи как-то неправильно понимает. Дитрих же тоже для всех — персонаж: жила в строго отведённом ей Голливудом стиле, как марионетка...

— Поясни, — перебил Бутусов, — о персонаже. Доктор Ямщиков собирает и систематизирует фенотипы больных, а у нас это называется «картотекой преступников».

Как оказалось, Лора, чтобы стабильно зарабатывать на Моториной, основательно изучила материалы по Дитрих. Когда артистка заявила в Голливуд на съёмки фильма «Марокко», американские спецы произвели серьёзную коррекцию её внешности. Из пухленькой немочки с заурядной внешностью Дитрих преобразовали в таинственную утончённую «зовущую» женщину-вамп. Новый облик актрисы поразил даже тех, кто хорошо знал её прежде. Тонкие дуги взметнувшихся бровей, впалые — благодаря наложению теней — щёки,

мерцающие глаза и крашенные под медь волосы придавали лицу Дитрих выражение загадочного и несколько скорбного любопытства. Получился новый для массового искусства образ хрупкой роковой женщины, страдающей от любви и заставляющей страдать других. Подруга Лоры считала, что образ Дитрих не исчерпал себя, а стиль её одежды может послужить и в двадцать первом веке.

— Какой именно стиль?

— Во-первых, мужской костюм. Во времена ранней Дитрих заявиться в мужской одежде было вызовом, жестом эмансипации...

— Ну как сегодня девицы «Фемен» заявляются в церковь с голыми сиськами.

— Сначала стилем Дитрих была жёсть: фрак, шёлковый цилиндр и мужские туфли. Позже Дитрих отошла от жёсткого мужского стиля, но строгость линий в её манере одеваться сохранилась: костюмы застёгнуты на все пуговицы, без женских украшений. Во все времена — никаких открытых плеч, вырезов. Во-вторых, сигарета. На фотографиях Дитрих сигарета — обязательная деталь. Артистке совсем не обязательно курить: сигарета выглядит столь выразительно, будто продолжает саму Дитрих. Очень удачный вызывающий образ! Он смущал зрителя двадцатого века своей двусмысленностью: женщина-вамп во фраке и с сигаретой. В-третьих, как писали раньше, «идеальная симметрия». Дитрих почти не снимали в профиль: у неё был немного вздёрнутый нос. Анфас она безупречна, её лицо выглядит абсолютно симметрично, а это не правило, а исключение.

А благодаря открытому «зовущему» взгляду создавалось впечатление вовлечённости и скорой близости. Все в один голос трубили: в откровенности лица Дитрих на фотоснимках отсутствует дистанция, и это притягивает зрителя. Лицо Дитрих на фото скульптурно — это стоило больших трудов многим людям. Лицо получилось будто выточенным из слоновой кости, без малейшего изъяна, идеально правильным. Марлен Дитрих можно считать воплощённым в реальность искусством: физическое лицо абсолютно слилось с артистическим образом, и современники не могли разобрать, где заканчивается женщина и начинается образ. Моторина западала на факт, что многие черты артистического образа Дитрих стали знаковыми — они и сегодня безошибочно ассоциируются всеми только с нею.

Гитлер потребовал, чтобы Дитрих стала «лицом Третьего рейха», но та из Германии сбежала, приняла американское гражданство. Моторина хотела стать «лицом России»: лезла ко всем, предлагала себя в рекламе, но везде получала отказы.

— Сигарета в зубах, «симметрия», сексуальный вызов всему, что шевелится, особенные тряпки... — сказал Бутусов, ни к кому не адресуясь. — Я курящих баб терпеть не могу. Сигарета, мужское тряпье — и весь стиль?

— Стиль денди в женской одежде. Дендизм в современной моде уверенно держится в коллекциях Вивьен Вествуд и Нины Риччи.

— Таксист и показал: смахивает на хилого паренька, на школьника, подрабатывающего официантом. Ладно, стиль денди не исчерпал себя и...

Тогда продолжим его совершенствовать, охотно поддержала подругу Лора. Она отоварилась косметикой, которой пользовалась Дитрих, краской для волос и прочим. А сколько со времён Дитрих появилось новых материалов! Лора выдвинула ящик стола и достала три одинаковых по форме флакона с ароматами. Коллекция «Памяти Марлен Дитрих». «Моя Мечта», «Моя жизнь» и «Моё призвание». Три аромата от парфюмерного дома Gres. Марлен утверждала: эксцентричность и элегантность Дитрих, великой женщины, до сих пор вдохновляют парфюмеров.

— Запах запоминающийся, — сказал Бутусов, обнюхав все три одинаковых по форме флакона. — А из какого флакона ты душила Марлен в последний раз?

Лора, оседлав любимого конька, окончательно успокоившись, указала на аромат «Моя мечта» и с видимым удовольствием принялась комментировать: благородный классический аромат в традициях парижской «высокой парфюмерии». Девиз аромата — «Умение быть личностью».

— Забираю пузырь как вещдок, — сказал Бутусов, упрятывая флакон сначала в полиэтиленовый мешочек, потом — в карман куртки. — Придётся, может быть, розыскной собаке дать понюхать...

— А почему вы настаиваете, что Марлен — марионетка? — обратился к Лоре Ямщиков. — Хотела присвоить чужой образ и прожить чужой жизнью?

Девушка бросилась в свой кабинет и мигом вернулась с куклой в руках, протянула её почему-то Бутусову:

— Вот это кто, по-вашему?

— Индианка или цыганка, — взяв и повертев куклу, сказал полковник. — Шоколадного цвета кожа, черноволосая, чернобровая, серебряные монеты в волосах, густо накрашенные яркие алые губы, вульгарная одежда из разноцветных лоскутов... Цыганка!

— Марлен Дитрих! — торжествуя сказала Лора и победно расправила плечи. — Фликерская кукла! Подарок Марлен мне на день рождения — «от сердца оторвала».

— Эта кукла — Дитрих?! — Полковник даже качнулся вперёд, отвёл руку с куклой подальше от глаз, повертел так-сяк в сером свете от большого окна. — Ну в глазах, допустим, сходство ещё какое-то есть. А где алебастровая блондинка, тонкие бровки, впалость щёк, стиль денди... — вся пурга, которую ты нам сейчас несла?

Лора впервые, с удовлетворением, улыбнулась и принялась объяснять. Джозеф Штернберг, создатель образа Марлен Дитрих, нисколько не ценил аутентичность актёра и никогда не пытался сделать из актёра что-то «настоящее». Он придавал Марлен Дитрих форму «в плавильном цехе своей фантазии». Эта стилевая форма, кажущаяся такой ледяной, совершенной и завершённой, на самом деле для зрителя лишь драпирует чужие женские профили и отражает войну света и тени. Такова Дитрих по Штернбергу: лучисто серебряная или вручную заштрихованная тенями, перьями, ветвями, жалюзи, часто почти скульптурная, обездвиженная. Не случайно «в рукаве» Дитрих прячутся две куклы: японка и негритянка. Их актриса привезла из Берлина и таскала с собой, никогда не расставаясь. Дитрих брала кукол на все съёмки, превратила их в собственные копии — в маленьких актрисок и требовала снимать их в кино. Они обретаются в комнате Ами Джоли, героини «Марокко», и тем как бы окукливают живых героев. Куклы Дитрих — это удвоение её образа, маски тела, марионетки. Сама Дитрих отлично разбиралась в механизме проецирования и писала в своих мемуарах: «Штернберг мог всё — сделать лицо прекрасным или деформировать его, он грезил превратить меня в идеальную марионетку». Уже в Голивуде один фотограф подхватил начинание: первым стал моделировать голову актрисы при помощи умелого освещения. Скульптурность лица и ног Дитрих скоро становится почти трёхмерной — нет ни малейшего изъяна. Потом Макс Фактор визуально увеличил ей глаза

с помощью тёмных теней, подчеркнул скулы, выделил губы и добавил блеска волосам с помощью золотой пыли. В конце концов Дитрих распадётся на два образа: будет сверхбелой на фотоснимках, на концертах, в тусовках и суперчёрной — в двух фильмах других режиссёров, разоблачителей тайн фликерских мистерий. Именно в «Свидетеле обвинения» и «Печати зла» Дитрих предстаёт грошовой чернавкой, цыганкой, фокусницей. Сивиллой, на которую страшно смотреть...

— Неплохо излагаете, очень неплохо, — сказал оценочным тоном Ямщиков. — Сивиллой, хм...

— По первому образованию я культуролог.

Лора встала и сделала перед мужчинами изящный книксен.

— Вы, наверное, ещё и костюмерша? — совсем уже заинтересовался Ямщиков, оглядывая Лору с головы до ног на запоминание. — Сами костюмировали подругу?

— Давай, Сивилла, про одежду подруги, — сказал Бутусов.

Лора рассказала, в какой одежде видела Марлен в последний раз.

— Вы считаете, Моторина не походит на образ Дитрих? — спросил Ямщиков.

— Дитрих — марионетка у кинобизнеса, Моторина — марионетка у собственных маний. Она обожала играть роль роковой обольстительницы: в ресторанах, на спортивных площадках, на посиделках за Волгой — везде. «Откуда это у тебя?» — спрашиваю. Отвечает цитатой из мемуаров Дитрих: «Каждый, кто был соблазнён, хочет соблазнить сам». А её, она так считает, соблазнил в восьмом классе школьный физрук.

— Кончит под мостом, под рогожей с туберкулёзными цыганами люли, — сказал Бутусов. — Если сейчас жива.

— «Если жива»... — вызывающе усмехнулась Лора. — А не нужно было на рожон лезть, к мужикам незнакомым в машину садится, за Волгу мотаться с кавказцами — море ей, вишь, по колено. После двух венерических вроде бы как отрезало: до самой свадьбы присмирела — жених и клюнул на «скромную». А с прошлого года опять понеслось: принялась таскать меня по кабакам, по базам отдыха, квартирам — в качестве «компаньонки».

— Почему не подруги? — спросил Бутусов.

— Ей подруга без надобности, никогда подруг не держала.

И друзья — случайные мужики. С кошельками все, правда, но уж очень грубые...

— Скорей брала тебя для страховки, — сказал Бутусов. — У нас не Европа: б... опасно колбаситься в одиночку.

— Но в ответственный момент, — сказал Ямщиков, — настоящая женщина-вамп действует в одиночку. Кандидатки в вампириши должны учиться действовать так же.

— Да какая она вамп! — рассердилась Лора. — Разыгрывает из себя роковую женщину, я её знаю! Неприятно с ней стало общаться, репутацию мне, считай, подмочила — в салоне косятся. Я не раз собиралась с ней порвать, но... клиентками не разбрасываются, а теперь и платит вроде исправно. Разве что сама скоро отцепится...

— Хватит! — прорычал Бутусов и уже протокольным тоном продолжил. — Уколы эффективно применяются в пытках. Ты рассказала той мадам о боязни уколов у Марлен?

— Нет-нет, не рассказывала! И мадам просила меня не проболтаться Марлен о нашем разговоре.

— Как мадам звать? На какой машине приезжает?

Мадам приезжает на чёрном джипе. За рулём охранник. В тот вечер, а было это три дня тому назад, Лора с Марлен ходили в кабак. А в салоне Марлен попросила Лору придать ей «боевой окрас», потому что ей «кое с кем нужно серьёзно поговорить». Лоре завтра вставать на работу, она из ресторана ушла рано, Марлен осталась. Лоре показалось, что какая-то девушка за ними наблюдала. Когда Лора уходила, Марлен тронулась в туалет, та девица встала и направилась за ней. Наутро Лора звонила Марлен: телефон отключен. «Ладно, объявится, мне работать надо...» Лора не знала наверное имени «мадам». Та явно нерусская, скорее с Кавказа, представлялась то Русланой, то Мадиной — забывала, наверное, как назвалась раньше. Она записана на приём через два дня, приходите, узнайте сами.

— Нет у нас двух дней и даже двух часов, — отрезал Бутусов. — Вспоминай весь свой трёп с мадам — он мог стоить жизни подруге!

— Весь... Да! Однажды, во время сеанса, она говорила по сотовому, скорее ругалась — она лаетя! — и я слышала, как мужской голос в трубке назвал её Ритой.

— Рита? — Теперь Бутусов стал вспоминать. — В каком-то уголовном деле мелькала эта нерусская Рита... Да, в деле с исчезновением человека. Дело закрыли...

Глава 15 Наложилось

Выспросив у Лоры всё и предупредив о неразглашении, мужчины направились в ресторан.

— Почему начинающая лесбиянка выбрала именно тот кабак? — задался вопросом Бутусов и сам стал отвечать. — Сделан в духе старого кабака...

— А кабаке, — развил мысль Ямщиков, — как тип заведения, славится обманчивой, оболстительной, импровизационной атмосферой: она таит в себе опасности и болезненное предчувствие скорого краха иллюзий.

— Что Моториной сегодня и нужно — как заказывали!

— Марлен Дитрих — тип кастрирующей роковой женщины. В нашей картотеке фенотипов парочка-тройка таких фенотипов уже есть. Они пугают мужчину своими туалетами, светской опытностью, эротической ненасытностью — в значительной степени напускной, конечно. Они упорно выставляют свою эротичность напоказ, но при этом живут исключительно для себя. Такой «фабрике грёз» наш больной нужен как отставной козы барабанщик. Вот они в первый же вечер и разбежались. А покушаться на его убийство ей нет резона: рисковать ослепительным будущим...

— Сколько, однако, хлопот о себе! Чем люди заняты! А ведь живём с Моториной в одном мире: земляки, можно сказать. Бедные мои жёны...

— Ключевые определения образа Дитрих из литературы: женщина-вамп, ангел, отличная хозяйка, алкоголичка, жадина, бисексуалка, свой парень, кулинарка, распутница, величайшая актриса, полная бездарность.

— Вот это разброс! Анкету на преступника хрен составишь.

— Я думаю, в зрительских массах образ Дитрих сформировался из видеоряда, с экрана, со сцены. Кто знал её ближе, те в конечном счёте начинали презирать её. Она это знала, поэтому часто меняла мужчин и не жила с мужем и дочкой. Моторина тоже не желала жить с мужем, но не хотела и разводиться, пока не найдёт новой кормушки.

— Ты, по ходу дела, набрал материал для воскрешения Моториной. Уже прикинул сюжет?

— Охотиться на образы больных вошло в привычку.

— Как у меня — охотиться на преступников. Приехали...

Через несколько минут они уже смотрели записи с камер наблюдения. Охранник, бывший оперативник, сразу вспомнил зеленуюволосую Моторину и джип, на котором её из кабака увезли. Просмотр записей выявлял такую хронологию событий. В вечер своего исчезновения Моторина пришла в ресторан с Лорой. Ничего особенного не происходило, через какое-то время Лора ушла. К Моториной тут же подошла девица, явно лесбиянка. «Это Штурман Жорж — кликуха у шалавы такая», — прокомментировал охранник. Когда Моторина отвернулась, Штурман Жорж что-то подсыпала ей в бокал. Приём коктейлей быстро поднял градус разговора за столиком.

— Неужели сцепятся? — сказал Ямщиков. — Весовые категории разные.

— В зале не сцепятся, — с готовностью ответил охранник, — у нас строго: до малой крови драться ходят в сортир, до большой — в скверик напротив входа. В женском сортире тоже камера есть. О! Нарисовалась хозяйка джипа...

На экране возникла высокая грузная дама кавказской внешности, с усиками. Она прошла от входа и уселась за заказанным столиком. С ней была девушка — сурового вида, плечистая, сильная, бритая, вся в татушках, подпоясанная ржавой лодочной цепью.

— Ещё одна Штурман Жорж? — прорычал Бутусов. — Не много ли на одну Самару? Увеличь изображение... Нет, это скорее рабыня при хозяйке, но тоже боец. Похоже, культуролог Лора всё же наводчица: смылась из кабака — «завтра на работу вставать», — и тут же явилась мадам. Мадам Рита расположилась рядом со столиком Моториной и принялась ей кивать и улыбаться. Рабыня отправилась к барной стойке и вскоре вернулась с одним коктейлем. Мадам кивнула ей на Моторину. Та вела себя беспокойно: ёрзала, сжималась, а потом вдруг

вскочила и, раздвигая танцующих, ринулась в сторону туалетов. Штурман Жорж немедленно проследовала за ней. Около мужского туалета Моторина поймала за руку выходящего мужчину, прижалась к нему низом и что-то сказала. Тут подлетела Штурман Жорж, схватила девушку за волосы и потащила в женский туалет. Там, легко преодолев сопротивление, принялась её избивать.

— «Боевой окрас» артистке не помог, — усмехнулся Бутусов. — Бьёт в щадящем режиме.

— И вы не вмешиваетесь? — обратился к охраннику Ямщиков.

— Они же не портят имущество — только морды друг у друга. Как в зоопарке мартышки — смотреть смешно. Лесбиянки, в отличие от пацанов, хорошо себя контролируют: знают черту, за которую в данном месте и в данное время переступать нельзя. Для серьёзной разборки они выходят на улицу, в скверик — вот там, бывает, устраивают мочилово. Дуры устраивают междусобойчики, а умные разбираются по-другому: нанимают «бойца».

— А за что Штурман Жорж могла побить новоиспечённую? — спросил Ямщиков.

— Новые тёлки, пока вписываются в среду лесбиянок, часто совершают ошибки. В их сообществе есть своя структура, своя иерархия, правила, как у мафии. Зелёная, скорее всего, нарушила правила, и её «заказали». И тогда Штурман Жорж её спровоцировала.

— Мафия лесбиянок — это звучит, — усмехнулся Бутусов. — Ещё не хватало Самаре такого... Значит, чтобы оправдать мочилово, «заказанную» нужно было спровоцировать на очевидное всем преступление против сообщества. Штурман Жорж якобы приревновала Моторину к Лоре. Потом сыпанула порошок — скорее всего, возбудитель. Зелёная пристала к парню у мужского туалета, а такое деяние у лесбиянок — более чем достаточный повод для мочилова. Заказчик и все лесбиянки в кабаке, конечно, видели, какое наказание ожидает изменниц.

— За измену лесбиянки бьют жёстко, как в армии, — сказал охранник. — Для разборок часто нанимают Штурман Жорж. Она «боец» в их сообществе. Вряд ли она сама лесбиянка — только косит.

Они прошли в туалет и там сцепились. Вослед Моториной и Штурман Жорж мадам Рита послала рабыню. Та, зайдя

в туалет, сдёрнула с пояса цепь и, потрясая ею, сунула под нос Штурманше свой кулак. Этого жеста оказалось достаточно, чтобы та ретировалась в кабинку. С камеры, установленной на входе в кабак, было отчётливо видно, как рабыня усадила Моторину в джип — без всякого сопротивления со стороны той, позвонила по сотовому: из кабака сразу вышла мадам, села в джип, и он уехал.

— Если бы зелёную не увезли, Штурман Жорж наваляла бы ей в скверике. Кстате, с неделю тому назад — я грузил «перебравших» в такси — видел, как в скверике Штурман Жорж таскает вашу зелёную по клумбе, прямо по собачьему дерьму на ледяной корке.

— А разнимать, конечно, не стал: имущество же не пострадало, — хохотнул Бутусов.

— Серьёзных драк охрана не допускает, а то нас потом самих затаскают — как свидетелей. А в тот раз их разнял один парень: вышел из кабака, увидел — и бегом к ним. Штурманше приёмом заломил руку за спину и отшвырнул. Та отлетела, начала грозиться, но парень слушать не стал: поднял зелёную, отряхнул и усадил в очередное такси — я как раз вызвал сразу несколько машин для отгрузки компании с дня рождения, и они отбыли. Парень вёл себя по-гусарски: ну просто кавалер со своей дамой возвращается с приёма в высшем обществе, хотя зелёная была одета как... подрабатывающий официантом школьник.

— Этот? — Бутусов протянул охраннику гаджет с фотографиями Ивана Саблина.

— Он! Залётный: первый раз у нас был.

— А зелёная уже начала превращаться в завсегдатая, — вслух принялся размышлять Бутусов. — Вывод: больной не мог быть старым её кавалером — познакомились только что. Наш больной, похоже, даже не впёр, что Моторина — лесбиянка.

— Какой больной? — встревожился охранник. — Вы расследуете покушение на убийство?

— Скорее на самоубийство. Давай посмотрим тот вечер с мочиловом в скверике...

Когда охранник вывел картинку того вечера, Бутусов, многозначительно взглянув на Ямщикова, сказал:

— Вечер, когда больного нашли в подъезде. Значит, между падением больного и пропажей Моториной прошло четыре дня. Смотрим и записываем время поминутно...

— О! Явился ваш больной, — охранник ткнул пальцем в экран.

В зал вошли Иван Саблин и Хмырь. Свободных мест за столиками не было; они сели у барной стойки и под явно неприятный для обоих разговор принялись выпивать. Вскоре Хмырь ушёл, на прощанье они не пожали друг другу руки. Саблин заказал ещё водки и огляделся. Девушек и женщин в зале было много. Видимо, дождавшись начала мелодии, он направился к столику, за которым сидели одни дамы, приглашать на танец. Приглашал одну, другую — и ото всех получил отказ. Вернулся к стойке, выпил ещё. На следующей мелодии история с приглашениями повторилась. Саблин сильно занервничал, выпил ещё. Он резко двигался, мотал опущенной головой, стучал кулаком по стойке.

— Он точно не соображает, куда попал, — уверенно сказал Бутусов. — На каждую нормальную тёлку — две лесбиянки, танцуют только друг с другом, целуются, глядят — чего непонятно?

Освободились два соседних столика, и Саблина официант усадил за один из них, а к другому привёл вновь пришедших Моторину и Штурман Жорж. Те заказали себе коктейли, тянули из соломинок и, склонившись друг к другу головами, спокойно беседовали. Потом Штурман Жорж ушла из зала. «Пошла в курилку — травкой побаловаться», — сказал охранник. Саблин сидел напротив Моториной в трёх шагах. На увеличенной картинке стало видно: он в упор смотрел на девушку, а та «не замечала» его: «слушала музыку», копалась в сумочке, отворачивалась... Наконец Саблин резко встал, подошёл к Моториной, взял её за руку, пригласил, видимо, на танец, несильно потянул к себе. Она вырвала руку, отстранилась, что-то ему сказала.

— Послала, — хмыкнул Бутусов. — Ну, доктор, на какой вариант ставишь?

— Попробует силой вытащить.

— Я ставлю: будет разбираться, как с отказницей Паниной — напором, криком, опрокинет стул, не исключая даже битьё бокалов.

— Панина — статусная невеста: с нею у больного слишком много связано — и непосредственно, и через друзей. А эта — чужая, непонятная, зелёные волосы, чёрные губы, мужской

чёрный пиджак, галстук-бабочка, плоская как доска... — чучело огородное...

— И я говорю: ни сиси, ни писи! — энергично поддакнул охранник. — В лесбиянки идут одни уродины. О! Штурман Жорж возвращается...

— Вот сейчас он и созрел, — сказал Бутусов, обращаясь к Ямщикову. — Вот твоё «наложилось». Теперь он в режиме «или — или».

Ямщиков напряжённо смотрел на экран. Там Саблин, прижав руки к сердцу, склонился над Моториной и, тряся головой, что-то ей говорил, потом опять взял за руку и попытался уже с силой поднять её со стула.

— Да, начался абсурд, — сказал Ямщиков. — Когда «или — или», случайный чужой человек может стать «своим». Пойдёт с ним Моторина или...

В этот момент подлетела Штурман Жорж и принялась оттирать Саблина от столика. Тот отмахнулся, потом ещё минутку-другую подёргался между дамами и вернулся на своё место. Штурман Жорж начала кричать на Моторину, потом ударила её по руке, по плечу, метила уже и в голову. Та уклонялась от ударов, отбивалась, потом вдруг резко встала и, подхватив сумочку, пересела за столик Саблина. Штурман Жорж кинулась к Моториной, но путь ей преградил Саблин. Нападающая отступила на шаг и что-то говорила им. Саблин полез в карман, вынул деньги.

— Наверное, потребовала расплатиться за коктейли, — сказал Бутусов.

— Любовь любовью, а денежки врозь, — с ненавистью сказал охранник. — Посидят час, даже меньше, а потом четверть часа расплачиваются — каждая за себя: припоминают, спорят, кто что и сколько выпил, съел... Крохоборы!

Когда через полчаса Саблин ушёл в туалет, Штурман Жорж метнулась к Моториной; они встали над столиком нос к носу, как петухи, и приготовились вцепиться друг в друга.

— Помню я сценку, — сказал охранник, пальцем указывая на экран. — Вон, видите, я из-за стойки нарисовался. Штурман Жорж, наверное, увидела меня — и дала задний ход. Я парочку раз уже выставлял её за дверь — дебош в зале хозяину не нужен.

Как только охранник исчез с экрана, Штурман Жорж схватила висящую на спинке стула сумочку Моториной

и кинулась к выходу. Моторина — вслед за ней. Через несколько минут вернулся Саблин. Сначала крутил головой, потом обошёл часть зала, двинулся в курилку, подходил к дамам, наверное, выспрашивал и вдруг кинулся в зал, быстро расплатился и, как ледокол раздвигая плечом танцующих, устремился к выходу. Через десять минут в зал вернулась Штурман Жорж. А через сорок три минуты пришла и Моторина — уже со свежими следами побоев на лице.

— Поздним вечером от кабака до подъезда Саблина на «моторе» минут двенадцать хода, — принялся считать Бутусов. — Туда-обратно — двадцать четыре, плюс минут десять, допустим, ждать «мотор» на обратную дорогу, значит, вся коллизия у подъезда и в подъезде заняла не больше девяти минут. Моторина вернулась в кабак выяснять отношения со Штурман Жорж. Не допив даже одного коктейля, пьяной быть она не могла.

Тут из зала в помещение зашёл второй охранник. Узнав, в чём дело, сообщил: с час тому назад о том джипе уже спрашивали четыре парня решительного вида. Они, как показалось охраннику, были в бронежилетах, знали номер машины и хорошо себе представляли, где её нужно искать...

— У нас помощники, — сказал Ямщиков, направляясь к машине. — Не придётся ОМОН вызывать. Нужно им позвонить...

— Мушкетёры, думаю, начали самостоятельную операцию, — возразил Бутусов. Он уселся за руль и завозился с навигатором. — Панина нас предупреждала: у мушкетёров схрон в Сокольных горах. Подняли из схрона оружие и, когда взяли след, отключили сотовые. Поступят, как в АТО на Кавказе: окружат, предложат сдать, а нет — дымовые гранаты и штурм. Опыт есть, двое — спецназовцы. В распоряжении Коркина все записи уличных телекамер. Час — это много: парни на взводе, могут девку не довести до кутузки — прикончат на месте как террористку... Нужно успеть.

Бутусов резко тронул машину.

— А куда? — шатнулся Ямщиков, не успев пристегнуться.

— Найдём мстителей по их тачкам, — полковник кивнул на монитор. — На их машины я установил маячки — вчера ночью, на стоянке у Центра. Вот они, родные, на двух машинах — стоят на просеках у берега Волги. Знаю я те места: в девяностые накрывал там притоны и подпольное казино.

Съезжались туда из других городов, но в основном — из-за рубежа: поиграть в картишки, в рулетку. Летом арендовали яхту или катера — и на острова. Простор! И самые красивые девушки России у ног...

Пока спускались к Волге, Бутусов размышлял вслух. В борделе наверняка охрана с оружием, его крышуют, вполне можем встретиться там со «своими», даже в форме. Мадам Рита скорее всего садистка, со своим пыточным подземельем. Тёрки на берегу Волги всегда чреватые: вывезут на фарватер реки человечка в мешке с двумя кирпичами и сбросят — останки всплывут через несколько лет где-нибудь у Балаковской плотины. Обшаровская Марлен сейчас беззащитна: родители прокляли, от мужа ушла, новых друзей не обрела, все нещадно бьют, единственная подруга — и та сдала «мамке» в рабство. Ушлые люди быстро подбирают незащищённого человека, если его можно использовать как товар. Особенно зверствуют кавказцы. Накачают наркотиками и увезут в южные страны — продадут в проститутки, в рабы на плантацию, в «солдаты удачи», в моряки незарегистрированного торгового флота, в шахтёры, в мойщики золота... Унавоживают неприкаянными русскими людьми свои бесплодные горы и пустыни. В любом городе сотни вражеских глаз отслеживают неблагополучных людей: оценивают их на предмет возможности бесплатной эксплуатации, отъёма имущества и свободы...

— Системы в государстве нет, — заключил Бутусов свои размышления. — Защита и спасение людей в России лежит на плечах энтузиастов: на тебе, на мне, на бригаде, которая ночью, в шторм, встала и помчалась спасать, на Коркине...

— «Мы с тобой одной крови». — Ямщиков с чувством пожал протянутую Бутусовым руку. — Ещё побегаем!

— Перед сотней прицелов долго не пробегашь.

— Но стараться надо.

— Надо!

Скоро Бутусов отыскал замаскированные машины. Мушкетёры обложили имение — большой трёхэтажный дом и постройки, расположенное на склоне в первой линии от кромки воды. Коркин в бронежилете, с биноклем и ручным громкоговорителем в руках доложил обстановку: два вооружённых охранника, в конюшне ещё один мужик, на вид — без оружия, наверное, конюх. Три камеры наблюдения, смотрят в сторону Волги и на единственную прибрежную

дорогу, но на территорию усадьбы незамеченными можно спуститься с горы — там камеры нет. Собак тоже нет: уверенность в безнаказанности налицо. От подножия горы, на которой стоит усадьба, к воде пробит тоннель. В этом проходе к Волге мушкетёры затопили лежавшую на берегу гребную «Казанку-6»: так что, если у осаждённых в пещере горы на случай шухера стоят эвакуационные катера, они не смогут выйти в реку.

— А теперь: как вы нас нашли? — с нервностью в голосе Коркин обратился к Бутусову.

Тот снял маячки с машин мушкетёров.

— Не доверяете?! — закипел Портос. — Следили?! А мы уже считали вас почти своими.

— Я поставил маяки и на машину доктора Ямщикова, и на Панину... в общем на тачки всех заинтересованных в спасении больного лиц, — спокойно сказал Бутусов. — Это обычная процедура в случаях, когда все ищут одного человека, — вы должны понимать. Пока вы были мне не нужны, я не следил. Слово офицера: место вашего оружейного схрона в Соколых горах я не знаю. Теперь без обид?

— Без обид.

Договорились о времени начала штурма и разделились: мушкетёры блокировали имение, а Бутусов и Ямщиков залезли на гору и оттуда — по наклоненному дереву — спрыгнули на задний двор. Решили, что пленница скорее всего должна быть в подвале дома. У подвала были окна с колодцами. Вместо железных решёток на окнах стояли внешние железные жалюзи, они оказались распахнутыми. Пробрались ближе. Вдруг одно из окон распахнулось.

— И остальные открой! — сказал властный женский голос с кавказским акцентом. Бутусов молниеносно вытащил из внутреннего кармана дистанционный микрофон и направил его в оконный колодец. — Запашок! В общественных сортирах так уже не воняет! Включи вытяжку. Шланг возьми, обмой кобылу. Ещё не в стойле, а уже обоссалась, тварь. От страха, что ли? Бздишь?! Зауважала свою госпожу?! Хватит лить: весь пол залила, дурища! Потом обе вылижете пол досуха. Языками погаными — досуха! Даю тебе, Чмоня, полчаса: доложишь наверх.

— А как, госпожа, вылижем, готовить её к процедуре? — сказал молодой женский голос.

— А то ты не знаешь! Позовёшь остальных — и закрепите кобылу в станке. Через час приедет инженер, я вызвала. Инженер будет ставить ей клеймо на жопе и на груди, как тебе. Клеймо для кобылы готово — кузнец привёз. Нет, какая из зассыхи кобыла. Пони! Для начала, тварь, послужишь мне в качестве пони! Сделаем моей пони модельную стрижку. По бокам головы — вот так — волосы выбреем начисто, оставим только по центру ирокез: будет гривой. Грива зелёная... Нет, слишком легкомысленный цвет. Гости у нас — серьёзные господа из Европы. Немецкий язык знаешь? Чудесно: будешь ржать по-немецки! Что мотаешь башкой?! Немецкая артистка должна уметь ржать по-немецки! Артистка-лошадка — а ты можешь сделать завидную карьеру в евроборделе. Отработаешь, заслужишь — я тебя в Европу продам, в Нидерланды. Голландцы провинившихся русских шлюх топят в каналах обезглавленными — и без всяких мешков. Как бы ей ещё вытянуть морду лица... Сделать лошадиную улыбку, ноздри расширить, поставить уши торчком... Отстаёт наука от запросов общества: я бы прямо сейчас заказала пластическому хирургу сделать из позорной зассыхи премиленькую человеко-лошадку, чтобы жевала в своё удовольствие сено в яслях, овёс из мешка и кивала в знак благодарности за поднесённое яблочко, за морковку... Открой пасть! Вырвать ей всю эту мелочь и вставить настоящие лошадиные зубы!

— Мне уже вырвали четыре нижних зуба, — раздался испуганный женский голос.

— Зачем?

— Чтобы удлинить лицо и достичь впалости щёк, как у...

— Заткнись! Удлинить лицо... как у лошадки? Ты что, была уже в рабстве?!

— Нет.

— Заткнись! Разговаривать запрещено! В последний раз повторяю: лошади могут только ржать и кивать головой, если понимают, о чём их спрашивают и что приказывают. Если я разрешу тебе говорить, другое дело. А без разрешения — никаких разговоров: только ржать, мотать головой и хвостом и стучать копытами — всё! Если ещё раз услышу человеческую речь из поганого рта, отрежу язык. Будешь служить мне как пони. Мне и любому гостю, кого я прикажу тебе катать. Инженер подберёт тебе сбрую, уздечку и шоры. Запряжём в повозку или будешь катать гостей на спине. Сёдла у нас

импортные, дорогие — глаз не оторвёшь. Сама будешь голой: в конюшне тепло, а зимой накроём попоной. Не ссы: в манеже под мужиком в шесть пудов не замёрзнешь. На ногах и руках будешь носить специальные ботинки, на вид они — копыта лошадок. Как клеймо заживёт, начнёшь таскать железо в спортзале — нужно поднакачаться, а то через месяц сдохнешь от нагрузок и пойдёшь у меня в расход. Сбежать отсюда даже не думай! Родные и близкие тебя искать не будут — справки я навела. Сама, коза, виновата: допрыгалась — ты теперь никому не нужна, кроме меня. На ночь крепко привяжем; конюшня снаружи запирается на замок — выбраться из неё невозможно. Теперь — вылизать пол насухо!

Послышались удаляющиеся шаги, грохнула массивная дверь.

— Да не дрожи ты так! Привыкнешь. Главное, перестань сопротивляться, а то покалечат или... даже убьют.

— Ты что говоришь!

— Волга в тридцати шагах. На лодке ночью на фарватер выплывут и утопят. Или продадут в турецкий бордель. Лижи!

— Каменный пол?!

— Лижи, а то обеих побьют. В любой миг мадам камеры включит и увидит, что мы болтаем.

Бутусов вынул зеркальце с ручкой, нагнулся и направил его в окно. Потом кивнул Ямщикову и прошептал:

— Вверх не смотрят.

Они заглянули в окно. В хорошо освещённом подвальном помещении две голые девушки, выставив зады, ползали на коленях и вылизывали пол. Помещение представляло собой нечто среднее между сельской кузней, пыточной у папских инквизиторов и лабораторией средневекового алхимика. Посреди стоял деревянный станок устрашающего вида — с отверстиями для головы, рук и ног, со свисающими кожаными ремнями и пеньковыми верёвками. Рядом — большой стол, покрытый листом железа и заваленный современными пыточными аксессуарами. Здесь были ремни, наручники, воронки, тазики и сосуды, железные и кожаные маски, искусственные фаллосы разных размеров и форм, комплекты крючков и иголок, стальные алигаторы, клипсы, грузы. На стенах в декоративном порядке висели цепи, канаты, верёвки, хлысты разного размера, кучерский кнут и красивая семихвостая плеть. На небольшом столике подле станка находились аптечки, пузырьки, бинты, стеклянные сосуды

с разноцветными жидкостями, воронки, шланги, наборы скальпелей, зажимов и пинцетов. Рядом стоял штатив с огромной резиновой грелкой и шлангами. К ножке стола прижимался мусорный бак, из которого свисали концы запачканных кровью и зелёной бинтов. В одном из углов стояла наковальня и печь с инструментом: молотом, молотками, щипцами, у самого зева печи лежали цепи, проволока разного сечения, листовое железо, арматура... Рядом стояла газовая горелка. В другом углу располагались осветительные приборы, используемые при фото- и телесъёмках.

— С моего последнего визита в подобный вертеп арсенал значительно увеличился, — прошептал Бутусов. — Совершенствуется не только вооружение российской армии...

— Да, по оснащённости — конкурент нашего Центра, — прошептал Ямщиков, разглядывая обстановку подвала. — Садизм стал почтенным занятием, отраслью науки — есть чему посвятить свою жизнь. Маркиз де Сад тоже учёный был, но сильно устарел...

— Не скучают имущие европейцы. А народишку русского для их развлечения хватит...

Одна девушка была наголо бритой, другая — с зелёной гривой. Бутусов вынул фотокарточку Марлен и кивнул на неё Ямщикову:

— Та — без клейма на заднице — наша. Две камеры: у станка — для подробностей «клубнички» и на стене — для общего плана. Снимают «кино» и продают...

— А клеймо ставить — больно? — спросила Марлен, оторвавшись от пола.

— Запах своей шкуры запомнишь надолго. Будет небольшой ожог. Одно клеймо — на грудь, как у меня, смотри...

Девушка выпрямилась на коленях и выставила грудь вперёд. На левой груди обозначилось чёрное клеймо в форме круга, в центре красовалась готические буквы MR, а вокруг была надпись: «Рабыня навек».

— Когда будут прижигать, ты, главное, не дёргайся, а то клеймо смажется и придётся его ставить на новом месте.

— А что значат буквы?

— Мадам Рита.

— Посажу гадину, — прошептал Бутусов. Он взглянул на часы, убрал свою технику и стал примеряться, как спрыгнуть в подвал. — Сейчас начнут...

В тот же миг раздался в мегафон голос:

— Я майор полиции Коркин! Пацаны, сдавайтесь! Отход на катере закрыт! Попытайтесь выскочить на машинах через ворота, получите гранату. Вы видите наше вооружение? Можете нечаянно пострадать! К вам может прилететь «Муха».

— Я уже прицеливаюсь! — крикнул Портос.

— Коркин, капитан! — раздался голос у ворот. — Я тебя узнал! Встречались в командировке на Кавказ. Ты же мент, служишь: какая может быть «Муха»?

— Я майор со вчерашнего дня!

— Зауважал! Что надо, майор?

— Одна из шлюх покушалась на нашего друга. Он в реанимации, уже неделю в отключке! Шансов выжить немного! Мы сильно обиделись! Отсюда и прилетит «Муха»!

— Понял! Шлюха или рабыня могла покушаться только по приказу. Вам скорее нужна хозяйка.

— Если вы не замешаны в крови, сдавайтесь!

— Охрана в крови не замешана: наше дело — периметр, нас даже в дом не пускают. В крови — инженер, но его сейчас здесь нет. Сдаёмся! Дайте нам уйти!

— Вяжите хозяйку, шлюх, всех — и дадим уйти! Приказ понятен?

— Так точно, майор! Пять минут!

— Пять! Потом без разговоров — гранаты и штурм!

— Да какой штурм, товарищ майор! — раздался у ворот другой мужской голос. — Мы вам ещё ящик водки поставим, что закончили наш позор! Мы здесь служим всего месяц — а тошнит! Открываю: вместе шлюх повяжем. Давайте быстрее: наверняка мадам сейчас вызывает «крышу» — через двадцать минут бригада будет здесь...

Раздался шум открывающихся ворот.

— Тоже вышло, как в «Маугли», — улыбнулся Ямщиков. — «Мы с тобой одной крови»... Ну, штурм?

Они спрыгнули в подвал и схватили визжащих девиц. Потом, уже во дворе усадьбы, Бутусов, давя авторитетом, убедил Коркина и мушкетёров, что будет лучше, если именно он и Ямщиков допросят Моторину. Мушкетёры, с трудом выходя из предбоевого напряжения, согласились. Они заткнули кричащую и грозящую мадам Риту, отпустили охранников. Четырём рабыням, пожелавшим покинуть бордель, Арамис дал карманных денег и на пролетавшем мимо катере из бригады

«полянских калымщиков» отправил к пристани. Не все пожелали покинуть бордель. Три очень красивые студентки, проституцией зарабатывающие себе на обучение в вузе и на жизнь, заявили: наше место здесь. У них контракт, они не рабыни, а вольнонаёмные, претензий к мадам Рите не имеют, а если их сейчас заметут, то они ничего не видели, ничего не знают, наркоту не принимали, отдыхали в гостях...

Когда мушкетёры закинули бронежилеты и оружие в багажник и Портос отбыл с «железом», Коркин включил телефон и вызвал опергруппу и следователя.

Одетая в чужие тряпки Марлен заходила в истерику, отказывалась садиться в машину Бутусова и ехать в судмедэкспертизу — фиксировать побои. Удостоверения полицейских её не успокоили.

— Ты хочешь оказаться в тюрьме? — попытался зайти с другой стороны Ямщиков. — Тебе устроят фотосессию в судмедэкспертизе, фотки приложат к уголовному делу. А ещё раньше набегут корреспонденты — они уже едут! От телецентра на Советской Армии сюда десять минут ходу — снимут тебя во всём великолепии. Хочешь сейчас фотосессию от репортёров? Через пятнадцать минут выложат в интернете. Давай, ещё мы тебя к сессии подготовим, хочешь? В подвале перебинтуем тебе грудь, как затягивалась Дитрих перед выступлением, вызовем тебе рвоту, как практиковала Дитрих после еды, лошадиные зубы вставим, обреем. Хочешь увидеть себя такой: перебинтованной грязными бинтами, обоссанной, в блевотине, с ирокезом зелёным?

— Я должна быть всегда совершенной! У меня харизма!

— С такой харизмой на морде, — загремел Бутусов, крепко держа Марлен за руку, — с пирсингом на сосках, на пупке и внизу о карьере актрисы можешь забыть!

— Много вы понимаете в карьере современной актрисы!

— Разве порядочной девушке ради карьеры легко вот так сразу стать публичной девкой? — попробовал взять наставительный тон Бутусов. — Были и порядочные актрисы: популярна не только твоя Дитрих. Людмила Гурченко...

— Ага, шесть раз замуж успела сбежать ваша «порядочная». Из любой внешности можно создать шикарный стиль — найти только мастера. У меня задатки лучше, чем у Дитрих! Если есть оригинальный стиль, не важно, как ты поёшь и танцуешь. Я тоже так могу! Меня здесь били, клеймо хотели поставить,

меня калёным железом жгли, как коня. Я Рите такой иск вчиню, всю жизнь будет расплачиваться. У меня свидетели есть...

— Вот дурища-то! — закричал Бутусов и пригнул Моторину к земле. — Кто твои свидетели?! Конченные проститутки? Их отсюда калёным железом не выгонишь. Они хозяйку не сдадут, иначе — знают — покровители их накажут. Мешок с двумя кирпичами и в воду — это в Самаре уже ритуал для непослушных проститутток. А не захотят «мочить», так тебя саму обвинят в ста смертных грехах. Объявят тебя воровкой, наркоманкой, содержательницей притона, торговкой человеческими органами, самой выставят встречные гражданские иски! Рита уже успела позвонить своей «крыше». Бойцы прилетят раньше наших полицаев, и эти бойцы — не Штурман Жорж: не успеешь добежать до канадской границы. Теперь ты под прицелом!

— Границ теперь нет: куда хочу, туда и убегу от вас всех. Я из семьи, у меня муж есть! А рабыни все — бывшие детдомовские: куда им бежать?

— Остальные детдомовские?

— Рита директрисам детдомов заказывает девушек-выпускниц. Хорошая такая директриса говорит своей выпускнице: хочешь, милая, работу с хорошей зарплатой? Кто не хочет! Все себя продают, как могут. А чего не продаться? Рабство похоже на игру для взрослых. Я читала «Хижину дяди Тома»: в Америке большинство негров на плантациях не хотели отмены рабства — привыкли, что ими командуют. И вообще не в каждом борделе есть своя конюшня на пять лошадей. Я рассчитывала здесь научиться ездить верхом: гарцевать в униформе с хлыстом — это так элегантно...

— На конюшне тебя истязали, а не учили гарцевать! — заорал Бутусов на вжатую в плечи зелёную голову. — Реальная, биологическая Дитрих никому была не нужна: все искали только созданный Голливудом образ. Марлен Дитрих — секс-идол, а секс-идол не имеет права на жизнь обыкновенной женщины.

— А я и не хочу жизни обыкновенной женщины. Я хочу, как Марлен Дитрих, иметь яркую сексуальность, но не иметь пола. Мне нужен всего один успешный фильм — и я на коне...

— Ты, Моторина, просто не доживёшь до секс-идола — это тебе полковник милиции говорит! Я на своём веку десятки таких фантазёрш перевидал — в городском морге. Тебе разве мало: уже угодила в бордель!

— Страна без борделей — что дом без ванной комнаты.
— Самара — не Голливуд, — сказал Ямщиков, закончив телефонный разговор с Центром реанимации. — В городе нет для тебя Пигмалиона-продюсера.

— У меня муж есть! И подруга! Я...

— Не сочиняй! — опять закричал Бутусов, ещё ниже пригибая Марлен к земле. — С мужем ты развелась, взяла с него отступные, так что о муже забудь: он удирает от тебя в Симферополь. А подруга тебя продала: видела счёт в своей книжке?

— В какой книжке?

— Ещё не показали? На проданную в рабство проститутку хозяйка заводит расчётную книжку. В неё заносятся все расходы на приобретение и содержание: комиссионные — Лоре, которая навела на тебя «мамку» Риту; родителям и прочей родне — чтобы не искали; амортизация катеров, аренда яхты, твоё гарцевание на лошади, секс-игрушки, вагинальные кремы, анальные свечи, тряпки, ржавая цепь на поясе, жратва с выпивкой — накачивать будут до беспамятства, еженедельные медосмотры, «учебные фильмы», наркота, электроэнергия, бензин, газ... — всё! До старости пришлось бы ноги раздвигать, а вот пенсия проституткам не положена.

— Лора... гадина — я с ней посчитаюсь. А вас я сюда не вызывала!

— Ты только концерт нам не устраивай! Позировать и раздавать автографы здесь некому!..

Моторина ещё с минуту препиралась, и даже уже в конце с капризными нотками в голосе — что «не одета, надо привести себя в порядок, где моя сумочка...», — и наконец — в чувствительных толчках Бутусова — позволила усадить себя на заднее сиденье машины.

Когда тронулись со двора, Ямщиков обернулся к девушке:

— Вы знали Ивана Саблина?

— Нет. Кто это?

— Тот молодой человек, который отбил вас у Штурман Жорж в скверике у ресторана.

— А-а-а... Я даже имени его не помню... С какой стати! За эти дни столько всего произошло!..

— Давай рассказывай! — перебил Бутусов. — Иначе вместо судмедэксперта отвезу тебя в каталажку — из одной тюрьмы попадёшь в другую. Что произошло между вами в подъезде?

— В подъезде? Что произошло в подъезде... Я хотела поскорей вернуться в кабак — задать Штурман Жорж хорошую трёпку...

— Отвечай под запись! — закричал Бутусов, приостанавливая машину. — Соврёшь — сядешь в тюрьму! Ну! Или надеваю наручники и везу в женскую колонию! Там таких Рит — толпы: ждут свежих актрисок в безвозмездное пользование!

— Не надо в колонию! Сейчас... Что там, в подъезде... Коктейли плохо на меня действуют... Правда, лучше пить водку: Дитрих водочку уважала...

Бутусов остановил машину и тоже обернулся к Моториной.

С большим трудом из неё вытянули следующее. Она не хотела идти в квартиру Саблина. Но тот силком потащил её вверх по лестнице. Он был возбуждён, пьян и не слушал её возражений. Наконец, очутившись на лестничной площадке перед дверью квартиры, Иван вдруг сказал: если пойдёшь со мной, женюсь, а сейчас представляю родителям и сестре как невесту.

— Ну я и сказала ему: ага, невеста — поцарапанная морда и брюки в собачьем дерьме! Не нужен ты мне, сказала. Лесбиянка я, не понял, что ли? Замужем я! Да, вышло как-то глупо: лесбиянка — и замужем... Он не ожидал, отпрянул, я вырвалась и побежала вниз.

— Ещё что?

— Ещё оглянулась раз, крикнула: «Пропадите вы все пропадом, суки и кобели!» Потом только бежала.

— Лесбиянка — и замужем, — зарычал Бутусов, шевеля желваками. — От такого крышу могло снести... А что он?

— Ключами в дверях, кажется, стал ковырять. Потом орал в пролёт: «Стой! Не выходи из подъезда! Не выходи!» Ага, не выходи! Догонит и стукнет чем-нибудь, бешеный! Мало мне от Штурман Жорж в тот вечер досталось: половину волос вырвала.

— Он гнался за тобой?

— Откуда я знаю! Бежала вниз сломя голову — в ушах стучало. Он вроде кричал: «Не выходи! Не выходи, сказал!»

— Ты выбежала из подъезда, а он?

— Что он! Успокоился, наверное. Какое мне дело?! Думает, если спас от пары царапин, то может увезти на квартиру и пользоваться? А может, у него в квартире целая команда: пьют, смотрят футбол и ждут с улицы дуру. Школьницей доводилось так попадать — с меня хватит. Из подъезда он не выходил — я

одним глазом следила. А минут через десять поймала «мотор» и вернулась в кабак.

— В подъезде ещё кто-нибудь был?

— Никого. Там и спрятаться негде, свет горел, был бы кто — я б заметила. Осмотрела специально: думала сначала — полезет трахать в подъезде.

Ямщиков и Бутусов одновременно выдохнули и, опустив плечи, молча глядели друг на друга. Моторина сразу успокоилась. Она вся зашевелилась, стала прихорашиваться и, наконец, приняв позу, навела на лицо выражение под образ фатальной женщины — неприступной, страстной и аморальной.

— Включился мотив падающего парня с той картины в комнате больного, — сказал, появившись на экране монитора, Кусков. — Слишком часто, наверное, больной на эту картинку смотрел — образ падающего с небоскрёба парня устойчиво зафиксировался, а когда наложилось, тот мотив первым и всплыл.

— Падающего?! — расплылась в самодовольной улыбке Моторина. — Это ваш, как его, Шпагин, что ли, упал? В лестничный пролёт? Это он меня так догонял?! Разбился не насмерть?

— Если выживет, останется инвалидом, — тихо сказал Ямщиков и взглянул на ручные часы. — Многое решится через десять минут...

— Да, скоро начнём, — сказал Кусков. — Линней вернулся из Новосибирска, одобрил наше кино и взял руководство на себя.

— Вау, супер! Молодой инвалид в колясочке! Буду его всем показывать: мой отчаявшийся поклонник! Часок всего поматросила — и бросила, а эффект — полюбуйтесь и рукоплещите! — Голос Марлен превратился в оружие соблазнения: одну фразу она произносила с нежностью, другую — хрипло, третью — громко и резко, с обрывом в конце. — Зря вы, строгий полковник, говорите, что я ничего не стою. У меня гипнотический дар привораживать к себе поклонников обоих полов. Через маску неприступности из меня лавой течёт обольстительность и сексуальность. Я скоро стану в Самаре самым стильным мужчиной! Все мужчины и женщины, все геи и лесбиянки будут мои! Вы оба будете бегать за мной, автографы брать! Вам — дам, я благодарная личность. Убедились — женщины умнее мужчин? Вряд ли найдётся женщина, которая

была бы без ума от мужчины только из-за его красивых ног. Отказала дать — и поклонник сиганул в пролёт! А были знакомы всего час-полтора. И в каких неподходящих обстоятельствах!

— В тот вечер, — начал Ямщиков глухо, — так сложилось, вы были ему очень нужны. Вы оказались единственной, кто ещё мог...

— Конечно, единственной! Ну засадил бы своей единственной прямо в подъезде! По-быстрому я бы, может быть, и дала. Нет, вы, господа, не думайте: я не шлюха, я совершенная личность! Но всё совершенство моё только для человека, в которого сама я влюблена. Просто в тот вечер мне нужно было вернуться скорее в кабак, чтобы Штурман Жорж не ушла от возмездия.

— Вы не допускаете, что в эти полтора неподходящих часа он мог в вас влюбиться? — сказал Ямщиков ещё глуше. — Такое случается со спасателями и спасёнными...

— Ещё как случается! Я тоже часто влюбляюсь: в мужчину, в женщину, в собачку, в песню, в стиль, даже в костёр на волжском берегу — влюбляюсь с одинаковой силой. Настоящая любовь — это прекрасно! Не нужно только становиться рабой любви. Полюбил-разлюбил — это естественно. Любовь к другому — чувство временное, а в первую очередь нужно любить себя — постоянно. Если я сказала, что небо зелёное, то так оно и есть! Ну, чем я ни Мутти Вторая? Спеть вам «Приди ко мне» на немецком? Курить есть?

— Замолчи: от тебя пахнет мочой...

Зазвонил телефон Бутусова. Тот включил громкую связь и кивнул Ямщикову: «Коркин».

— Нас, можно сказать, повязали, — доложил Коркин. — Свои. Хорошо, успели скинуть железо...

— Меня за время службы раз двадцать вязали — и тоже свои, — спокойно, с профессиональным любопытством, ответил Бутусов. — Что предьявляют?

— Нарушение неприкосновенных прав частной собственности: не имели права без разрешения собственника проникать на территорию.

— Ты же был при исполнении.

— Увы, я сегодня в отгуле. И всего лишь майор. «Крыша» оказалась повыше.

— Сейчас молчите, а как привезут, скажешь: «Специоперация ФСБ» и больше ни слова. Пусть звонят в «контору». Через час за вами приедут, освободят. Я тоже буду.

— Понял. А что Ванькина тёлка?
— Криминала нет.
— А что есть?
— Есть местная Марлен Дитрих с неизлечимой этической глухотой, — сказал Ямщиков. — Но не миледи де Винтер.
— Понял: Атос без работы. Конец связи.
— Заткнись! — крикнул Бутусов в лицо Марлен, намеревавшейся возразить на «этическую глухоту». — Значит, сейчас уголовного дела не будет... Ладно, отставим на время... Тогда что нам теперь делать с этой?
— Вы не имеете права меня задерживать! Вы не при исполнении! Чем вы лучше мадам Риты? Отпустите меня! Хотите, я паду пред вами на колени?
— Беги, — сказал Бутусов и отжал кнопку открывания на двери, у которой сидела Марлен. — Теперь ты, дурочка, под прицелом: мадам Рита будет тебя искать на предмет — что ты нам успела рассказать о борделе. Рекомендую скрыться из города, а лучше из страны — границ же нет. Бегом марш!
— Я пахну мочой — отвезите хотя бы к бабке. Куда я такая — в транспорт. Вы же настоящий полковник!
— Бегом марш или...
Бутусов открыл дверь с явным намерением вышвырнуть Марлен из машины. Та не стала ждать: с проклятьями и угрозами вылезла и поспешила прочь.
На экране компьютера возникла фигура Кускова. Он сорвал хирургическую маску с сияющего лица:
— Ямщик, процедура...
— Что?!
— Больной вышел из комы! Динамика положительная! Отчёт заброшу через полчаса. Мои поздравляемсы! Чудо-Мария ищет тебя: готовься принимать благодарность. Свидетель благодарности нужен?
— И ты позавидовал?
Ямщиков блаженно отвалился на спинку сиденья. Он вынул из кармана коробочку с кольцом, открыл, примерил кольцо на мизинец.
— Я сильно позавидовал на Панину, — сказал Кусков.
— Незрелая ты личность! — засмеялся Бутусов. — Нам всем нужны жёны-декабристки — только они не сбегут. Мне, что ли, поискать и жениться — в последний раз. И вообще пора

на покой: на седьмом десятке не угнаться мне за Ритами и Марленами.

— Вчера Кольчѐв заявил об уходе, сегодня — ты, — покачал головой Ямщиков. — Так расстроился, что на мадам Риту не выгорело уголовное дело?

— К расстройствам я привычный. А на моё место возьми Коркина: он одной с тобой крови. Хватит ему под пулями бегать — охранять доходы олигархов. У него уже три ранения: в самое пекло лезет. Такие до полковника не доживают, надо парня спасать.

— Решил за свой счёт спасти? А сам?

— Я рядом с Центром реанимации поставлю баню из осины: буду хорошенько парить вас под жигулѐвское пиво и рассказы о своём фенотипе...

Глава 16

Четыре в одной

Когда в номере отеля Ямщиков обнажённым вышел из ванной комнаты и направился к сидящей на кровати Маше, она уставилась на его пах и вдруг, выбросив руку с указательным пальцем, прошептала:

— Ой, он шевелится...

Ямщиков подошёл к девушке вплотную, и та отёрнула руку. Он сел рядом, обнял Машу за плечи, потом уложил на спину, сам притёрся справа от девушки, прижал к себе и зашептал:

— Целуй! Целуй, обнимай, трогай. Касаний мне всегда доставало. Толкай, наваливайся, висни, гладь, шевели, тормоши, запрыгивай на меня...

— Я с удовольствием... — с некоторой даже угрозой прошептала Маша, разворачиваясь и с силой обхватывая Ямщикова за шею и спину.

— ...Чтобы я не любил тебя «в себе», а всё время физически чувствовал тебя рядом. Говори о чём хочешь — о детстве своём, о юности, про мамочку. Твой голос меня вдохновляет. Бери уроки вокала, научись играть на фортепиано...

— А я умею: в музыкальной школе даже хвалили. На фортепиано... — это ладно, а ещё чего от меня нужно? Говорите: я запомню, потом запишу. Я без всяких уроков пою. Занимаюсь бегом. Ещё бываю очень игривой, мне даже мамочка выговаривала: «Вымахала, дитятко, а всё играешь!» А я никакая не дитятко: я, между прочим, ко всему такому уже давно готова, честно!

— Я знаю.

— И по хозяйству могу. Огурчики солить умею, украинский борщ варить. А солянку — пальчики оближешь, все говорят! Когда вы простудитесь, молоком с малиной на ночь буду поить. Я тоже мудрая женщина, не одна ваша Панина.

— Женщина?

Спросив это с игривой строгостью, Ямщиков протянул руку. Маша навстречу ей судорожно развела бёдра, согнув ноги в коленях.

— Я честная девушка, можете не проверять.

— Я не проверяю: хочу ласкать...

— Вашу нетронутую ягоду-ежевичку из морфопортрета? — попыталась улыбнуться Маша, сглотнула и облизала пересохшие от волнения губы. — Деликатничаете вы со мной. Другие, говорят, сразу набрасываются, одежду рвут. Ой, я же всё снимала... Вы передумали или растягиваете удовольствие?

— Растягиваю...

— Я поняла: ягодка же целая только один раз... И чтобы не так больно было, да? А сейчас вы что делаете?

— Ласкаю.

— Мамочка родная: я от страха гусиной кожей покрылась... прям как тогда — в вашей квартире. Так разве ласкают?

— Да. Помолчи.

— Только не надо меня описывать, как в тот раз.

— И в мыслях не было.

Маша тяжело, прерывисто, с присвистом дышала. Она попыталась надавить на руку Ямщикова, но тот не позволил.

— Я вам не мешаю? — с нервным смешком сказала Маша и приподняла таз навстречу ласкающей руке Ямщикова.

Ямщиков смотрел на девушку в упор. Маша запрокинула голову и судорожно дышала полуоткрытым ртом, как дышит на приёме больной для доктора со стетоскопом. Она облизывала пересохшие губы и издавала невнятные звуки.левой рукой держалась за правую руку Ямщикова, уже не давила, но и не препятствовала ей.

— Вы меня любите? — прошептала Маша.

— Люблю больше своей жизни.

— Честно? Вы в бригаде обманщики все.

— Честно. Те обманы — ненастоящие, ради дела: производственная необходимость. А сейчас у нас с тобой мотива для нечестности нет. Целуй.

— Со всей силы, всосос?

— Да.

— Как врасос целовать? Я не умею, в кино только видела.

— Целуй так, чтобы мы стукались зубами.

— Ах, зубами...

Она прильнула ко рту Ямщикова и сильно надавила.

— Вы мой язык не пускаете, — отстранившись, с тревогой прошептала Маша.

— Я так не хочу.

— Я запомню, потом запишу. А почему: не гигиенично? Я зубы чистила.

— В интимных отношениях необязательно всё вслух объяснять. Возможно, у меня сложился такой стереотип.

— Представляю, какой после детдома может сложиться стереотип... Я на домашний стереотип вас перевоспитаю.

— Начинай перевоспитывать.

— Вы у меня будете как турецкий падишах: я вам целый гарем заменю! Ой, у вас разве был целый гарем?!

Маша, испуганная произнесённой мыслью, отстранилась.

— Не было гарема. Помолчи. Целуй крепче... Целуй, только не задуши: я тебе ещё пригожусь.

— Нет, вы меня нарочно смешите! Хотя... мне самой смешно — видеть вас под собой. И делай с вами что хочешь... Смешно — честно! — такого большого мужчину... знаменитого... видеть вас под собой. Нет, лучше вы меня как следует придавите! Панина считает меня мазохисткой. И говорите что-нибудь, говорите.

— Я...

— Нет-нет, не за себя — за меня говорите.

— За тебя?..

— Вы как будто убеждаете сам себя, что поступаете правильно.

— В чём правильно?

— Вот так, до свадьбы, отдаться, вопреки наказу от мамочки. Я не хочу... просто так. Это для меня не просто так, честно!

— Переселение душ... Сейчас попробую...

— Я не раз думала, что буду говорить в первую брачную ночь... У нас же первая брачная ночь?

— Первая брачная ночь.

— Представляла себе, что надо говорить, а сейчас вдруг всё вылетело... Скажите вы за меня: мы же с вами похожи.

— Да, мы похожи...

Ямщиков замедлился, почти остановился и уже совсем другим тембром — более высоким и с колеблющимися интонациями — заговорил:

— Меня ласкает мой милый друг... В юности я мечтала о прекрасном серебряном принце на белом жеребце...

— На белом коне.

— ...Мечтала о прекрасном серебряном принце на белом коне. Девочкой я грезилась о мальчике, девушкой — о принце.

— А потом вдруг...

— ...Поняла: серебряный принц — не воин, не щит, не опора. Принц — слащавый сказочный персонаж, мираж. Он рассеется в любой миг. Мы с ним ничем не связаны, ничем не близки. Он исчезнет, и расстаться мне с ним будет не жаль. Расстаёшься с юностью — расстаёшься с грёзами. Зачем сказочный принц — повеса и бродяга, для жизни мне нужен муж — хозяин и воин. Я нашла своего хозяина, он и полюбит, и обогреет, и защитит меня. Я отдам ему всю себя целиком, я вручу ему все свои надежды, и мечты, и свои нерастраченные чувства, и своё прекрасное тело, подготовленное к любви и...

— Слиянию...

— ...И своё ревниво подготовленное к первому слиянию тело, и всё, что он захочет. Так бери меня...

— Берите. Ладно, бери...

— ...Так бери меня и неси меня, мой суровый чёрный рыцарь на вороном коне, скачи во весь дух, неси, люби меня, ласкай меня, сжимай меня неистово, трясина меня, как грушу, — и в первый раз, и во второй раз, и без конца, и до последних дней наших не отпускай меня...

— Да-да, чёрный рыцарь: не отпускай меня!

— ...Мы не будем думать о смерти, мы будем жить и умножать жизнь, будем охранять наши жизни и жизни наших детей...

— Да-да, я хочу наших детей! Давайте скорее! Скорей!..

Когда они отдышались, Маша, пошатываясь, встала с постели. Она повернулась лицом к Ямщикову и ощупывала себя. На груди и бёдрах девушки расплзались красные пятна, теряя очертания пальцев.

— Коса растрепалась... Арвать одежду совсем и необязательно... Как приятно болит всё... Наверное, и правда я мазохистка. Брутальному любовнику это должно нравиться.

— Мне нравится.

— Но я вам отдалась не просто так: я отдалась раз и навсегда. Я должна быть у вас последней женщиной. Согласны?

Ямщиков обтёр пот, закрыл покрасневшие глаза и кивнул несколько раз:

— Да, должна быть последней.

Маша, шевеля рукой, стала разглядывать на безымянном пальце кольцо с бриллиантом. Счастливая безмятежность отразилась на её лице.

— Мой первый брюлик... Похващаются они теперь у меня... Я хочу, Иван Николаевич, чтобы у нас было лучше, чем у всех: у подруг моих, у Паниной... — у всех! Чтобы я на вас не жаловалась.

— Не жаловалась? — приподнялся Ямщиков. — Кому?

— Мамочке чтобы не жаловалась, подругам. Все жалуются, а я не хочу!

— И на что жалуются?

— Кто на что. Подруги на своих жалуются. Один ласковых слов не говорит. Другой на днях закатил Светке пощёчину, скорее даже ударил по лицу — спяну, наверное, кровь из носа пошла. Третий жадный — подарка желанного на день рождения не дождёшься.

— Страшное дело...

— Все на своих жалуются, а я не хочу. Я должна вами хвастаться.

— Постараюсь соответствовать ожиданиям.

— Только не рассказывайте мне о своих «бывших», даже если сама попрошу. Я такая — смиритесь!

— Дома я на удивление смирный, честно.

— Я к вам по обстоятельствам только пришла, а нашла вас — по сердцу. Ну так получилось — случайно. Это мамочка пусть считает себе, что я — по обстоятельствам: она сейчас сама не своя, а позже успокоится и поймёт, мы ей докажем. Она уже меня к вам отпустила, на радостях. Я не по обстоятельствам, а по выбору сердца и разума! Я вас люблю скоро, я себя знаю. Люблю прямо сейчас, честно!

— Я тоже прямо сейчас тебя полюбил. Пришла — по обстоятельствам, нашла — по сердцу. Опять изъясняешься определениями. Выйду на пенсию — станем в соавторстве книжки писать...

— Какую пенсию — я серьёзно! Искала взрослого мужчину — и выбрала. Чтобы сразу замуж и ребёнок, без всякого там баловства с молокососами.

— Интересно знать — для общего развития, — по каким критериям выбирала мужчину?

— Чтобы добрый был, умный, волевой, работающий, а на внешность — высокий, атлетичный, благородного вида, прилично одетый...

— Но не мушкетёр.

— В мушкетёре полно показухи. А мне — чтобы с гармонией интеллектуального, эстетического и физического развития.

— Над гармонией придётся ещё поработать...

Ямщиков опустил ноги на пол и попробовал схватить Машу за бёдра, но та зажалась и отшатнулась с испуганным визгом:

— Руки! Ой, теперь же можно: птичка вылетела из гнезда... Ловите свою Марию Сергеевну.

И она, выпятив грудь вперёд, шагнула к Ямщикову. Он обхватил девушку ниже талии и, разведя свои ноги, прижал её к себе.

— У вас лицо не мушкетёра, а гладиатора: шрамы, взгляд суровый, складки, щетина. — Маша, стоя, сверху вниз рассматривала закинутое лицо Ямщикова и гладила его по голове.

— Я тоже, кажется, всю жизнь вас искала. Волосы мокрые... Я ещё не так вас утомлю: мне только освоиться... Искала взрослого завидного мужчину, не бедного, влиятельного, и чтобы мной руководил, вёл по жизни... Ой! — Девушка, будто вдруг что-то вспомнив, освободилась и отступила на шаг от Ямщикова, расставила ноги и по-хозяйски упёрла руки в боки. — Если мамочка спросит, вы же не бедный? А то квартирка ваша какая-то...

— Средний класс. Гонорары за операции, за переводы трёх книг, подвизаюсь профессором в двух местах, провожу мастер-классы за рубежом — не часто...

— Подхалтуриваете? Ура-а-а! Вы как папа: он тоже называет себя «спецом-многостаночником».

— Мне бы не хотелось свою работу ассоциировать со словом «халтура», — строго сказал Ямщиков. — Бегать по халтурам — только изнашивать свой организм, а я собираюсь дожить до внуков, понянчиться. Мамочке скажешь: он не бедный — уж скромный особнячок на просеках выстроить в состоянии.

А до сих пор лишние в домохозяйстве деньги отдаю в Фонд Аршинова — на детдомовцев.

— Теперь домохозяйство — на мне. Да, я буду вашей Музой, любовницей, хозяйкой и мамочкой наших детей: четыре в одной, вот так!

— «Дом за спиной»...

— Ой, как всё счастливо сложилось! И брат поправляется!..

Выпалив это, Маша взвизгнула, запрыгнула на колени Ямщикову и тесно прижалась к нему.

— Обнимите меня крепче, Иваникола, крепче, крепче, ещё! И не отпускайте от себя никогда, ни на шаг. Чтобы шли рука об руку, шли через жизнь и потом умерли так вместе! Как «старосветские помещики» — вместе! И зачем эта смерть: жили бы себе все потихонечку...

Слёзы вдруг хлынули на плечо Ямщикова. Он напрягся и замер, только машинально гладил одной рукой мокрые волосы Маши и что-то утешающее бормотал, почти баюкал. Так прошло несколько минут. Наконец, бросив через плечо девушки взгляд на свой сотовый, мерцавший на пододвинутом к кровати журнальном столике, прошептал:

— Мы ещё поживём, побегает — хотя бы и под прицелом...

— Да, жизнь только начинается... Я могу так уснуть на вашем плече...

— Хорошо, — прошептал ей в самое ухо Ямщиков и дунул.

— Ой, щекотно! А хорошо на вас так повисеть... Давно на папе так не висела...

— Повиси. У нас всё теперь замечательно.

— Я «это» не так себе представляла... Быстро всё кончилось...

— Отдохнёшь — и повторим. Хочешь?

— Конечно, хочу: столько прождать. Ко мне сколько раз подкатывали, некоторые даже внаглую лезли. Смешно, дураки. Вам теперь за всех отдаваться. Запросите у меня пощады. Я, может, ещё и садистка!

— Ах, угрозы!..

Ямщиков повалился на спину, увлекая за собой девушку.

— Он опять шевелится... — шепнул он Маше в самое ухо.

— Не смешите меня! Я думала, вы серьёзный мужчина, профессор, по струнке всё. Ой, правда, шевелится!

Ямщиков вслух рассмеялся. Он смеялся громко и долго, пока не закашлялся.

— Первый раз слышу, как вы смеётесь, — улыбаясь во весь рот, сказала Маша. — Да ну вас смешить, начинайте скорей: дело серьёзное. Думаете, вот так смешили-смешили меня, и я — бац! — сразу родила вам мальчиша?

— Бац — и сразу!

— А, может, он уже там сидит? — озарённая новой мыслью, Маша отпрянула от Ямщикова и в упор смотрела на него. — Вы же врач!

— Скоро узнаем.

— Мамочка скажет: «Допрыгалась, коза!» Смешно: я же действительно прыгала...

— Кольцо сними: исполосовала меня как хирург-стажёр на операционном столе.

— Ой, а я не заметила. Красивое! Так это в первую нашу встречу вы определяли размер? А я-то, дура, подумала: сейчас моё колечко в оплату возьмёт, крохобор оказался. Вы уже тогда жениться решили?

— Ложись.

— Теперь я приехала отдаваться не в благодарность, а по любви!

— По любви. Ложись на спину и молчи.

— Вы меня всё время подгоняете. У нас же первая брачная ночь...

Когда Маша с расчёсанными волосами вышла из ванной комнаты и с почти закрытыми глазами, как сомнамбула, шла к Ямщикову, тот, сидя на кровати, закончил разговор по сотовому и протянул руки навстречу девушке.

— Грудь опустилась, мягкой стала... — сказала Маша спокойно и присела рядом.

— Да, грудь хрустит...

— Вы размяли: я лапать себя никому не давала. Завтра мамочка голову мне будет мыть — сразу заметит... Синяки, царапина откуда-то взялась, всё болит... Ой, я не жалуюсь!

— Царапина — ты и себя брюликом полоснула.

— И хорошо полоснула: шрам любовный остался.

— Да, утром увидишь, потрогаешь — вспомнишь.

— Уже вспоминаю... Да, у нас хорошо получилось... Как не со мной... А Наташка со своим мужем разве смогли бы так?

— Да куда им до нас: там больше понтов, а не чувств.

— Вот именно! Кошка Наташка гуляет по крышам сама по себе. Замужем который месяц, а как холостая: родить, сами видели, даже не собирается. Из-за неё всё с Ваней случилось.

Пусть теперь платит налог за бездетность. А я так старалась для вас... Она бледная тень от меня, ведь да?

— Наверное, да... Да!

— Там, где Марья гнётся, Иван ломается. Я сильная, просто сил нет...

— Ложись, любимая, спи... четыре часа. Скоро наступит твоя очередь быть у больного.

— А вы? Мы же будем спать в одной кровати?

— В одной. Мне ещё раз нужно связаться с бригадой...

— Предупреждаю: у меня сон беспокойный.

— Я в курсе: после коммоции мозга засыпание всегда затруднено, сон поверхностный, наплывы образных воспоминаний...

— Да, кошмары снятся, но теперь меньше.

— А головокружения есть — с тошнотой, рвотой?

— Вы как мой врач. Реже теперь. Не бойтесь, Иваникола: кровоизлияния в мозг ведь не было.

— Я знаю: смотрел карту.

— Проверяли мою медицинскую карту? Да, это честно...

— Смотрел по необходимости, чтобы не навредить — так принято по методике колврача. А тебе — свою покажу.

— Мне-то зачем: я здорового мужчину от больного на глаз отличу. Цифры только плохо запоминаю, зрение немного упало, да и сама иногда на ровном месте падаю. Не бойтесь: на нашем ребёнке это не должно отразиться, все говорят.

— Знаю и не боюсь, честно. Ложись, любимая.

— Я — любимая... Допрыгалась... Как хорошо... Целуйте... целуй.

Ямщиков поцеловал девушку в машинально подставленный лоб, выключил весь свет, кроме лампы, стоящей на низеньком столике у кровати, вышел в прихожую, прикрыв за собой дверь, достал из сумки гаджеты и связался по видеосвязи с бригадой. Он смотрел на экран, слушал, бросал реплики:

— Больной в режиме сна... Я с его сестрой приеду в пять. Выяснили: покушение на самоубийство. Да, Полонский — красавец! Я сам от них такой прыти не ожидал. Мушкетёры... Панина... Да, опять молодые утёрли старичкам, легко колврачом становятся. Клямкин обиделся? А как увидел результат, отошёл? Это наша победа. Запиши журналиста на подень: я обещал ему экскурсию по палатам. Теперь оставляй дежурную бригаду, остальных — по домам. Спасибо, брат, выручил. Пойдёшь

в свидетели? Да, у нас всё решилось. Ну и пусть запрягли, только я по-щенячьи счастлив: хвостом мету и даже вот вслух рассмеялся. Ты помнишь такое? Я тоже...

Когда он вернулся в комнату, Маша засыпала. Она лежала обнажённой поверх белой простыни. Ямщиков сел у ног девушки. Подушки были выложены ступеньками одна на другую, поверх них расстелено большое белое полотенце. Маша лежала на спине, веером аккуратно уложив расчёсанные волосы на верхние подушки. Уголки губ девушки чуть-чуть приподнимались, она будто улыбалась, но при каждом судорожном выдохе тихонько стонала. Белки неплотно закрытых глаз поблёскивали в свете настольной лампы. Руки лежали под грудью. Тёмные пятна на шее, на груди и бёдрах девушки расплылись, но ещё не сошли.

Ямщиков, поражённый картиной, встал на постель в ногах девушки и на всю её фигуру сверху вниз смотрел на запоминание. На светлом фоне белья густые тёмные волосы Маши будто неведомая сила поставила дыбом, и они, сильно удлинняя фигуру девушки, ломали пропорции, и этот слом контрастировал с остальными спокойными линиями, особенно с мягкими руками, по-матерински сложенными на животе.

Ямщиков осторожно лёг рядом с девушкой. Он склонился над её лицом и опять смотрел, как движутся её глазные яблоки под веками, и дрожат ресницы, и шевелятся губы, и как она вдруг судорожно со всхлипом вздыхает и тихонечко выдыхает, и как, погружаясь в беспокойный сон, сначала дёргает пальцами рук, затем — поочерёдно — ногами... Наконец он тихо-тихо обнял девушку всем своим телом, даже ступни прижал к её пяткам:

— Побежим теперь в паре...

Лихачев Сергей Сергеевич
НАПЕРЕГОНКИ СО СМЕРТЬЮ

Роман

Издание второе, переработанное



Роман издан в авторской редакции на средства автора.

По вопросам книготорговли и переиздания романа
обращаться к автору по адресу:

Likhachev007@gmail.com

На указанную почту можно отправить отзыв о романе

Дизайн и подготовка макета: П. Шумков

Подписано в печать 30.12.2020 г. Заказ №34, Тираж 100 экз.

Формат 60х90/16. Печать офсетная. Бумага офсетная. Усл. печ. л. 16.

Отпечатано в типографии ООО «Принт-ру» по адресу:

443070, Самарская область, г. Самара, ул. Верхне-Карьерная, За, оф. 1.